

**ИГОРЬ  
ЕФИМОВ**



**НЕВЕРНАЯ**

АЗБУКА-КЛАССИКА

# Игорь Маркович Ефимов

## Неверная

A\_Ch

[http://www.litres.ru/pages/biblio\\_book/?art=158583](http://www.litres.ru/pages/biblio_book/?art=158583)

Ефимов И. Неверная: ИД «Азбука-классика»; СПб.; 2007

ISBN 5-91181-015-8

### Аннотация

Умение Игоря Ефимова сплести лиризм и философичность повествования с напряженным сюжетом (читатели помнят такие его книги, как «Седьмая жена», «Суд да дело», «Новгородский толмач», «Пелагий Британец», «Архивы Страшного суда») проявилось в романе «Неверная» с новой силой.

Героиня этого романа с юных лет не способна сохранять верность в любви. Когда очередная влюбленность втягивает ее в неразрешимую драму, только преданно любящий друг находит способ спасти героиню от смертельной опасности.

# Содержание

1. ПРИЗНАНИЕ	8
ПИШУ ПАНАЕВОЙ-НЕКРАСОВОЙ	19
2. ПАВЕЛ ПАХОМОВИЧ	41
3. РОДИТЕЛИ	49
ПИШУ ГЕРЦЕНУ	58
4. ДОДИК	84
5. СЫН	94
ПИШУ ТЮТЧЕВОЙ-ДЕНИСЬЕВОЙ	107
6. ГЛЕБ	136
7. ДИПЛОМНИЦА ЛАРИСА	155
ПИШУ ТУРГЕНЕВУ	177
8. ИСХОД	224
9. ПОТЕМКИ ЧУЖОЙ ДУШИ	243
ПИШУ ДМИТРИЮ АЛЕКСАНДРОВИЧУ БЛОКУ	260
10. ОСАДА	303
11. АРЕСТ	319
ПИШУ БУНИНУ И ДРУГИМ ОБИТАТЕЛЯМ ЕГО ГРАССКОГО ПРИСТАНИЩА	332
12. ЗАГОНЩИК	370
13. ТРИ ПАТРОНА	385
ПИШУ МАЯКОВСКОМУ	402
14. ПОХИЩЕНИЕ	446

ПИШУ СОБСТВЕННОМУ МУЖУ

464

15. АВАРИЯ

469

16. РЫЦАРЬ БЕЗОРУЖНЫЙ

480

# Игорь Ефимов

## Неверная

*Автор заверяет читателя, что все персонажи этого романа вымышлены, все совпадения сюжетных и жизненных ситуаций – случайны, всякое сходство характеров – непреднамеренно.*

*Он также считает своим долгом предупредить, что в тексте будут встречаться цитаты или заимствования из произведений других авторов, не выходящие – как он надеется – за рамки принятых в литературе правил и приличий.*

*В скрытом и явном виде цитируются:*

Аркадий Ваксберг. «Лиля Брик. Жизнь и судьба» (М.: Олимп, 1998).

Стихи Яны Джин из сборников «Неизбежное» и «Неприкаянность» в переводах Нодара Джина (Yana Djin. *Inevitable*. Moscow: Podkova, 2000; *Realm of Doubts*. Moscow: OGI, 2002).

Елена Игнатова. «Записки о Петербурге» (СПб.: Амфора, 2003).

Соломон Иоффе. «Тайнопись Булгакова» (рукопись).

Стихи Десанки Максимович из сборника «Запах земли» (М.: Худлит, 1960).

Поль Моран. «Я жгу Москву» (в переводе Владимира Ма-

рамзина, рукопись).

Документальный фильм Петра Мостового «Взгляните на лицо» (1966).

Анатолий Найман. «О поэзии трубадуров». Предисловие к книге «Песни трубадуров» (М.: Наука, 1979, перевод А. Г. Наймана).

Бенгт Янгфельд. «Любовь – это сердце всего. Переписка В. В. Маяковского и Л. Ю. Брик. 1915—1930» (М.: Книга, 1991).

David P. Barash, Judith Eve Lipton. *The Myth of Monogamy. Fidelity and Infidelity in Animals and People* (New York: W. H. Freeman and C°, 2001).

Warren Faidley. *Storm Chaser* (Atlanta, GA: The Weather Channel, 1996).

Linden Gross. *Surviving a Stalker* (New York: Marlowe & C°, 2000).

Ronald Markman, Ron LaBrecque. *Obsessed. The Stalking of Theresa Saldana* (New York: William Morrow and C°, 1994).

Thomas Gaiton Marullo. *Ivan Bunin. From the other shore, 1920-1933* (Chicago: Ivan R. Dee, 1993).

Mike Proctor. *How to Stop a Stalker* (Amherst, NY: Prometheus Books, 2003).

Film *Shoot the Moon* by Alan Parker (1982).

*А также десятки книг и статей о Блоке, Бунине, Герцене,*

*Маяковском, Некрасове, Панаевой, Тургеневе, Тютчеве.*

# 1. ПРИЗНАНИЕ

Я прожила свою жизнь в страхе.

Нет, неправда.

Я прожила счастливую жизнь.

Но я прожила ее – затаясь.

Вечный беглец, вечно под маской, быстрая смена ролей и обличий, вечное притворство. Я сжилась с ним.

Не помню, когда я впервые осознала свой недуг, свой позор, свое уродство. А осознав, стала молчаливой, загадочно печальной, уклончивой, вечно убегала куда-то, заныривала. Да, срочно вызвали к заболевшей тетушке, да, я обещала вернуться домой к семи, а сейчас уже начало восьмого, постараюсь завтра, но точно обещать не могу, так много всяких хлопот, а тут еще экзамены, занятия, курсовая... Порой уставала, порой готова была махнуть рукой, выбросить белый флаг, сдаться, сознаться. Но в другие минуты вдруг накатывало радостное осознание своей особенности, непохожести на других, чуть ли не избранничества. И в такие минуты я ощущала себя счастливой.

Впрочем, откуда мне знать? Может быть, нормальные люди счастливее меня в десять раз. Сравнивать-то мне не с чем.

Когда приоткрылось? Думаю, в девятом классе, на новогоднем вечере. Музыка, прожектора, танцы, вспотевшие ладони. И Боря Некипелов – о Боря! о мечта всего девятого



«Б»! – третий раз приглашает не меня, а эту противную Римму К. И подруга Валя шепчет мне:

– Как ты терпишь?!

– А что я могу сделать?

– О, я бы! Я бы!..

– Выцарапала глаза? Плеснула серной кислотой?

– Не кислотой, но хотя бы томатным соком на блузку. Хочешь, вот сейчас – пройду мимо, задену будто случайно, буду дико извиняться, вытирать пятна...

– Зачем? Что это изменит? Он все равно остался, остается, останется таким же прекрасным.

– Но уже не твоим!

– Какая разница? – неосторожно говорю я.

И подруга Валя подносит к голове пистолет из двух пальцев и начинает ввинчивать его в висок, словно штопор.

А потом был институт. И начались настоящие романы. С поцелуями в темном промерзшем парадном. С его горячими пальцами, рвущимися в твоих лямках и бретельках, как рыбы в сетях. С паровозным стуком в груди, с кружением колес в голове, пар изо рта – это точно, и кажется, что и глаза должны загораться в темноте, как фары, для полноты картины. И иногда, если повезет, если мать работает в вечернюю смену или подруга уехала в дом отдыха и оставила ключ – о, тогда пропадай все на свете! Тогда летит и кружится перед глазами темный небосвод комнаты, мелькают фонари за окном, разлетаются в стороны рубашки и простыни, постуки-

вают пружины матраса. Да, милый, да, уже близко! И вот – наконец – поезд врывается на станцию назначения и испускает торжествующий вопль-гудок.

Но потом начинается трудное. Начинаются разговоры о любви. О верности. «Да, да, конечно, – бормочу я. – И я, и я тоже... Завтра?.. Нет, завтра никак не могу... У нас вечером семинар по Державину, невозможно пропустить. Я позвоню тебе в воскресенье, хорошо?.. Или в понедельник... И мы поедем кататься на коньках, на лыжах, на санках, на качелях... Так будет славно!»

Увернуться, ускользнуть. Вырваться из словесной паутины обещаний, оставить лазейку, недоговоренность. Удрать с бала, пока часы не пробили заветную полночь и карета не превратилась обратно в тыкву. «Ты все перепутал! Я говорила в восемь вечера в среду, а не в четверг. Прождала тебя на морозе!...» О, это была целая наука, богатейший набор приемов. Невидимое – всегда наготове – женское недомогание. Мать послала за лекарством на другой конец города. Внезапно приехал дядя Миша («Ну, ты помнишь, я тебе рассказывала о нем, капитан дальнего плавания, я не могла с ним не повидаться, ему сегодня опять в плавание, опять не видется полгода!»).

Верность. Все книги, все песни, все фильмы прославляли ее, возводили на пьедестал, требовали, грозили позором за нарушение. Как я могла сознаться, что не способна на нее? Что неделю назад я делала это с аспирантом-лингвистом, а

завтра у меня не семинар по Державину, а свидание с курсантом-артиллеристом? Что на предстоящем дне рождения лучшей подруги ее муж опять будет гладить мне колени под скатертью и я не смогу – не захочу – оттолкнуть его руку?

Да, я уже знала все клеймящие, раскаленные слова, которые поджидали меня, если откроется. «Шлюха», «подстилка», «слаба на передок», «поблядушка», «давалка», «потаскуха»... Я боялась момента разоблачения, пряталась за ненужными мне очками, за немодной стрижкой, за темными жакетами. Но стыдилась ли в душе своей одержимости, пыталась ли одолеть? Если и пыталась, то как-то вяло, неискренне.

«Ты можешь делать это только с одним, только с любимым!» – строго говорили мне романы и романсы, родители и родственники, актеры с экрана и лекторы с кафедры. И я не смела им возражать. Я только ощупью искала, как мне ужиться с недугом, который был сильнее меня, но у которого не было названия.

Возлюбленный, любовь?

Разве я посмела бы назвать любовью то, что происходило со мной? Конечно, я уже безошибочно узнавала момент, когда это начиналось. Будто холодный сквознячок врывался в горло и пробовал издать жалобный звук, предвестие всех этих «отвори поскорее калитку», «мой милый, что тебе я сделала?», «как ты красив, проклятый!». Будто невидимые струны натягивались из солнечного сплетения по всему те-

лу – до кончиков пальцев, до ушей, до глаз – и производили солнечное затмение для меня одной. Будто километры пространства, отделяющие каждого человека от всех других, начинали стремительно таять между нами двумя, утекать, испаряться, и вот мы уже улыбаемся совсем-совсем рядом – только руку протянуть.

Не всегда сквознячок начинал дуть при первой же встрече, от одного внешнего облика (так созвучно «облаку»!). Иногда проходили недели и месяцы приветливого равнодушия, случайных, ничего не значащих улыбок, и вдруг – небрежно оброненная фраза, затянувшаяся пауза, долгий взгляд рождали во мне тот волшебный ветерок, ради которого только и стоило жить на свете.

Если бы катод и анод были живые, какими словами описали бы они нам момент сближения друг с другом? Это невидимое напряжение магнитного поля, в котором бумажные полоски вздымаются, как волосы от испуга. Эти железные опилки, трепетно слетающие в узор, как кордебалет на сцене. Это искрение крохотных молний, эти разряды, это потрескивание в ушах – как шепот грома.

О, как я стыдилась поначалу упоенного «да! да! да!», беззвучно клокотавшего в моем горле в такие минуты. Где же стихи и цветы, где вздохи под балконом и письма с золотым локоном, где девичья гордость, где лунные прогулки и гитарные романсы? Лишь годы спустя до меня понемногу стало доходить, что моя торопливость – как у бегущего через реку

по плывущим бревнам. Скок, скок, скок – скорее! скорее! – пока он не открыл рот, не сказал пошлость, недохнул табаком и луком, не утопил высоковольтную дугу.

Однажды попались стихи сербской поэтессы, переведенные Ахматовой:

О, не приближайся! Только издалека  
Хочется любить мне блеск очей твоих.  
Счастье в ожиданье дивно и высоко,  
Если есть намеки, счастье только в них.

Стихотворение называлось «Страх». Я заучила его наизусть и часто бормотала строчки себе под нос. Как мне был понятен сербский испуг! Приблизится – и все разрушит. Но уже знала, что «издалека» – не для меня. Я уж лучше буду прыгать – как через костер. Мой избранник часто не понимал, чего я боюсь, изумлялся бесстыжей торопливости, с которой я стягивала с него рубашку. Не знал, то ли гордиться ему, то ли оскорбляться. «Тебя, милый, твоей словесной неуклюжести боюсь! – хотелось мне крикнуть ему. – Порвешь сверкающую дугу – и даже не заметишь». Но молчала.

Пещера сладострастия – нет, мне было не выбраться из нее, если не светила сверху хоть крошечная лампадка, свечка любви. Успеть добежать до выхода из пещеры, пока не догорела эта маленькая свеча, не увял аленький цветочек ее огонька, пока ты еще светел передо мной, красив, неопознан.

Но как быстро они выгорали! Как мал был запас воска – масла – огня – у моих возлюбленных. Потому я и спешила, потому и не могла утолиться одним. Тот «в сердце луч золотой», о котором поют в старинных романсах, был у меня всегда таким мимолетным!

Когда перестала стыдиться? Конечно знаю: после покушения. Сергачев был очень хороший мальчик, с исторического, – добрый, вдумчивый, начитанный. Мне нравилось с ним гулять, мы ходили в театры и музеи – золотой дождь льется в лоно Данаи, старцы подглядывают за Сусанной в бассейне, Диана купается в ручье. Он очень интересно рассказывал о далеких временах и легко отыскивал там свое любимое – что люди всегда были людьми и всем их делам и поступкам можно и нужно находить разумные объяснения.

Мама обожала его, мечтала, чтобы я сдалась наконец и вышла за него замуж. Но что я могла поделать, если волшебный ветерок не залетал мне от него в горло, искрящаяся дуга не возникала? Я старалась быть с ним доброй, приветливой, но ни о каких поцелуях не могло быть и речи.

Он пытался быть терпеливым. Но друзья доносили, что уныние гложет его все сильнее. Те же самые друзья, которые потом нашептывали ему: «А вчера ее видели с этим! Да-да, это точно... Подонок или нет, но, как грится, любовь зла – полюбит и – кого?»

Он пытался спрашивать меня, «разумно выяснять отношения». Расспросы переходили в допросы. Я отказыва-

лась отвечать, смеялась ему в лицо, убегала. Так тянулось год или больше. А потом он не выдержал – взял и неразумно зарезал меня. Нет, не фигурально – без ножа, а именно что ножом. Всадил с полной силой. Он ведь не мог знать, что я перед экзаменом спрятала под жакетом толстый блокнот с конспектами. «Попытка убийства, гражданин судья, иначе не назовешь».

Помню, как он шел ко мне по коридору. Сиял. Будто нес в подарок какой-то счастливый сюрприз. Девочки расступались, улыбаясь, давали ему дорогу. Он подошел близко-близко и, не говоря ни слова, ударил. Я смотрела ему в лицо и не видела, что у него в руке. Почувствовала сильный толчок, отступила, потом начала падать. Меня подхватили.

Все же кончик ножа пробил сто спасительных страниц и картонную обложку, достал. В больнице я сквозь туман слышала крики: «На стол! Немедленно!» Хирург потом объяснял мне, что рана оказалась неглубокой, сантиметра два. «Но, знаете, порой и одного сантиметра бывает довольно. Заденет артерию – и все».

Я пролежала неделю как принцесса, принимала посетитель. Вдруг явилась незнакомая старуха в седых кудряшках, села, не спросив, на стул и сказала укоризненно:

– Ну что, допрыгалась?

– А вы кто?

– Да бабка я ему, родная бабка. Сергачеву. Мать-то его все больше по лагерям и ссылкам, происхождение у нее по

отцу классово неправильное, так я его и растила, солнышко мое родное. Ты зачем же его так извела-довела?

– Я не нарочно.

– То-то что не нарочно. А на суде что скажешь?

– Что ж я могу сказать? Ведь он меня убить хотел. Это все видели.

– Хотел бы убить, ты бы уже не в кровати, а на два метра под землей лежала. Он ведь у меня спортсмен, специально обученный фехтовальщик. А мог бы и в темном парадном подстеречь, так чтоб никто не узнал. Нет, у него другое было на уме.

– Что же?

– Породниться с тобой хотел. Не вышло любовью, так хотя бы кровью. Это и в книжках сто раз описано. Я, когда с ним уроки готовила, много книжек прочла. Помнишь небось, как Алеко свою Земфиру аккуратно порешил? И Рогожин этот. И у Толстого про то же самое есть. Уж так он вкусно описал, с каким звуком кинжал корсет жены пробивает, что сразу видно: много раз он к своей Софье Андреевне примерялся. Себя, себя он в этом Позднякове изобразил.

– В Позднышеве.

– Позднышев, говоришь? А мне как-то привычнее Поздняков. Память уже не та. Ну, да все равно. Не в этом дело. Знаешь, смотрю я на тебя и понять не могу – чем ты его так приворожила? Ни виду в тебе, ни блеску.

– Я и сама не знаю. Но, клянусь вам, я с самого начала ему



говорила, что только дружить будем. Ничем не обманывала, не завлекала.

– Что ж это получается? С остальными – нате пожалуйста, любиться до конца, а с ним – только дружить? Почему? И каково это мужчине стерпеть? Ты уж войди в его душу, пожалей соколика моего. Скажи судье, что это он только пугал тебя, да немного не рассчитал.

– А разве поможет?

– Еще как! Если сам порезанный зла не держит, это ох как помогает!

Я заверила старушку, что выполню ее просьбу. Она ушла успокоенная. Но в дверях задержалась, тряхнула кудряшками и спросила через плечо:

– А может быть, все же передумаешь и пойдешь за него? Вы ведь теперь кровью повязаны. А это такое дело – прочнее не бывает.

Я только покачала головой. Она ушла.

На суде я исполнила свое обещание. Сказала, что Сергачев добрый, заботливый, внимательный, умный. И что его поступок – результат минутного помешательства, иначе объяснить себе не могу. Его чуть подлечить, и он станет полезным членом общества. А про блокнот не созналась. Ему дали год условно, плюс лечение в психдиспансере. Но из института на всякий случай исключили.

Больше я его не видела. Знаю, что он окончил вечернее отделение, женился, родил двух детей, жил тихо-спокойно.

А потом вдруг подрядился работать в северную экспедицию, уехал сначала на полгода, да так и застрял там, растворился в северном сиянии, исчез из виду. Жалко. В глубине души я была благодарна ему. Ведь, сам того не зная, он донес до меня тот счастливый сюрприз. Избавление от чувства вины. Его ножик сработал, как шприц с обезболивающим, как скальпель. Удаление опухоли стыда. Мертвые сраму не имут. Да и с раненых тоже спрос невелик. Так мне казалось тогда.

Однако настоящее облегчение – избавление – лучик надежды – примирение с собой, какая ни есть, – возникло только на третьем курсе. Когда я писала для зачета статью «Судьба русской женщины в поэзии Некрасова». И впервые услышала – прочла – запомнила – имя: Авдотья Яковлевна Панаева, в девичестве – Брянская, по второму мужу – Головачева. За статью получила пятерку. А Авдотье Яковлевне написала большое-большое письмо, которое невозможно было показать никому-никому. Храню его до сих пор.

# ПИШУ ПАНАЕВОЙ- НЕКРАСОВОЙ

Милая, милая Авдотья Яковлевна!

Вы вошли в мою жизнь так внезапно, таким живым, близким и нужным мне человеком, что я не испытываю никакой неловкости, обращаясь к Вам с этим заведомо безответным письмом.

Как мы узнаём родную, похожую душу, которая отделена от нас доброй сотней лет? Только вглядываясь в далекую чужую жизнь, вслушиваясь во вздохи и шепоты, всхлипы и стоны, пронесенные сквозь годы бумажными крылышками старинных книг. Читая Ваши «Воспоминания», я много раз хотела воскликнуть: «И я, и я поступила бы так же! Сказала бы те же слова, так же простила бы обидчика, отшатнулась бы от тех же людей, тех же – полюбила бы».

Хотела бы я Вашей судьбы?

Наверное, нет. Но о чем бы мечтала: с таким же достоинством пронести сквозь всю жизнь крест нашего общего недуга. Недуга столь скрытого, что у него до сих пор нет названия. Человека, не слышащего звуков, мы называем глухим. Не отличающего свет от тьмы – слепым. Не отличающего одну краску от другой – дальтоником. А как назвать человека,

не испытывающего ревности? Порченным? Выродком?

Да, как Вы были правы, не поддаваясь, не уступая целых пять лет ухаживаниям Некрасова! Вы, видимо, угадывали, предчувствовали, что для него ревность – чуть ли не главная пьянящая добавка к вину любви. Сколько раз это слово мелькает в его стихах и письмах. Корней Чуковский в своей статье о Вас вывалил целую корзинку отысканных им примеров: «ревнивое слово», «ревнивые мечты», «ревнивая боязнь», «ревнивая печаль», «ревнивая тревога», «ревнивая мука», «ревнивая злоба». «Он был словно создан для ревности: замкнутый, угрюмый, таящийся».

Но с другой стороны, как же этот ревнивец принял ситуацию вашей жизни втроем? В одной квартире, увлеченно занятые общим делом – созданием «Современника». Ведь Панаев продолжал любить Вас до самой смерти. И Вы испытывали к нему самые теплые чувства. Те страницы, где Вы описываете, как он звал Вас уехать с ним в деревню, – не могу их забыть. И мог ли Некрасов, уезжая по делам, засиживаясь в клубе за картами, быть абсолютно уверен, что...

А вдруг, думала я, Иван Иванович Панаев был такой же, как Вы и я? Вдруг он тоже не имел, не знал, не понимал, что это такое – верность-неверность? Ведь он заводил романы на стороне много раз уже в первые годы брачной жизни с Вами, но любить не переставал – и Вы все прощали ему. Быть вместе с любимым, совсем-совсем вместе, так чтобы ни тесемки, ни ленточки, ни сорочки не осталось разделять нас, – мы

понимаем, какая это радость, какое счастье. Но какой ущерб понесет наша радость, если мы узнаем, что наш возлюбленный вчера пережил, испытал нечто похожее с другой? С другим? Этого мы понять не в силах.

А ревнивец понимает. Или делает вид. Он заявляет, что ему непереносима даже мысль об «измене». Алеко достает нож, Арбенин подсыпает яд в мороженое, Позднышев сжимает рукоятку кинжала (при том, что жену не любит, почти ненавидит), Отелло проверяет, прочитаны ли Дездемоной вечерние молитвы. И знаете, именно здесь, именно когда я вчитывалась, вглядывалась в судьбу вашего треугольника, меня пронзила кощунственная догадка: *а вдруг ревнивцы притворяются ?*

Нет, конечно, их боль и горечь неподдельны. Но не может ли быть, что эта боль и горечь вырастают просто из черной зависти? К чему? К нашей способности любить! Да-да – вдруг не мы обделены ревностью, а они обделены любовью? Их крохотное «люблю» легко вытесняется жирным «владею». И возмущаются они не ущербом, нанесенным их чувствам, а ущербом, нанесенным правам собственника. Это они, обуреваемые жадой господства, жадой мести за свою обездоленность, выстроили тюрьму принудительного монопольного брака, они раздувают ужас перед «изменой», они выжигают красную букву позора на наших лбах.

Мы-то знаем, что завоевать любовь легче всего любовью же. А что делать человеку, если у него сердце пусто, как кар-

ман бедняка, и платить нечем? Ему ничего не остается, как предъявлять ту валюту, какая есть: страдания ревности. О, это нынче ходкий товар! Страдания ревности автоматически вызывают *сострадание*. А здесь уже спрятано первое зернышко любви. Недаром у русского простонародья «люблю» и «жалею» порой используются как синонимы. «Полюби – пожалей!»

Страдания ревности окружены почетом. Адвокат убийцы выложит их на суде – и присяжные купятся на приманку, уронят слезу, вынесут оправдательный приговор. «Ах, это так понятно, так по-человечески! И любой другой прирезал бы изменницу на его месте». «Да, ревность – неотъемлемая часть любви, поэтому люди и клянутся у алтаря быть верными друг другу до гроба». «Да, ты не должна никого больше любить, а то твой супруг будет мучиться ревностью».

Я бросилась перечитывать Ваши воспоминания. Но Вы так сдержанны в описании чувств – своих и чужих. Мне приходилось составлять картину из обрывков, из случайных штрихов, складывать, как кусочки головоломки.

Ваше детство в актерской семье.

Уже в семь-восемь лет Вы видели кружение любовных интриг за кулисами Александрийского театра, слышали жаркие сплетни, обсуждали петербургских щеголей, бродивших под окнами театрального училища. И сам император не раз удостоивал репетиции своим посещением, взглядом знатока перебирал очаровательные ножки, открытые плечи, на-

дутые губки – примеривался, делал зарубки, кивал головой адъютанту. Где уж тут девочке было усвоить строгие моральные правила, исполнения которых требуют от нас всегдашних публичных домов?

А родители? Судя по всему, они оба были неплохими актерами. Публика ценила их, молодые таланты рады были поучиться лицедейскому мастерству. И этот эпизод, когда Ваш отец во время наводнения и бури прыгнул в лодку и уплыл спасать утопающих, а мать всю ночь умирала от страха за него. Не от него ли унаследовали Вы свою смелость?

Яков Брянский. Я знаю, что крестившимся евреям для паспорта часто придумывали фамилию, образованную от названия их родного города. Отсюда и появилось так много Варшавских, Минских, Львовых, Бакинских, Берлинов, Винницких, Белоцерковских. А Вы? Судя по портретам, в Вас должна была быть примесь еврейской крови.

Конечно, прочитав Вашу повесть «Семейство Тальниковых», я поняла, узнала, каким на самом деле кошмаром было Ваше детство. Маменька, равнодушная к болезням и смертям собственных детей, проводящая ночи за картами, нагоняющая страх на весь дом. Отец, нежно ухаживающий за пернатыми любимцами («чистил ноги своим жаворонкам...»), но в порыве бешенства способный пороть детей арапником до крови. Теснота и грязь в детской, мухи и тараканы в качестве главных игрушек, свары тетюшек и прислуги. И наказания, наказания, наказания за любую провин-

ность и без всякой вины: голодом, холодом, розгой, стоянием на коленях. Не в этой ли школе научились Вы так ценить каждую каплю доброты, посылаемую Вам судьбой? И когда возник в Вашей жизни добрейший Панаев – богатый, дворянин – и разглядел и оценил в девочке-подростке Ваш талант любви, – как Вы должны были потянуться к нему! Ведь это про Ваш роман, про Ваши чувства в конце повести?

«А почему могу я знать, что я его люблю?.. Может быть, ничего еще не значит, что время без него мне кажется длинным, что я не могу ни о чем думать, кроме него, не хочу ни на кого смотреть, кроме него?..»

Напротив, заслышав его голос, я вся встрепенусь, сердце забьется, время быстро мчится, и я так добра, что готова подать руку даже своему врагу, Степаниде Петровне. Мне грустно с ним прощаться, когда я знаю, что завтра не увижу его. Что же будет со мной тогда, когда я совсем не буду его видеть?»

Все же мне хотелось бы больше знать про вашу жизнь с Панаевым до появления в ней Некрасова. Говорят, он был влюбчив, часто увлекался другими (ненавижу слово «изменял»). Но вы оба так немногословны на этот счет в своих воспоминаниях. Судя по всему, он по доброте страдал, когда доводилось огорчать других. В любой ссоре был готов обвинять в первую очередь самого себя. Тяжело переживал раздоры друзей, прощал обиды и подвохи, клеветы не сеял, зла не держал. Собирался описать в мемуарах Достоевского,



Тургенева, Толстого, но все они к тому времени порвали с «Современником» – и глава осталась ненаписанной. «Ведь я человек со вздохом», – комически говорил он, оправдываясь перед друзьями за очередное проявление мягкотелости.

Правда, издателя «Отечественных записок» Краевского вывел в презлом фельетоне, обозвал «литературным промышленником». Но несправедливо. Все же этот человек в 1840-е годы, в труднейших цензурных условиях, вел лучший русский журнал, печатал Лермонтова и Некрасова, Герцена и Огарёва, открыл публике Тургенева и Достоевского, Грановского и Григоровича, взял на жалованье неблагонадежного Белинского. Ох, как легко мы в России забываем заслуги «промышленников», как долго не прощаем им то, чем не обладаем сами, – умение аккуратно вести бухгалтерские книги.

Вы были рады, что Вам не пришлось жить в поместье, доставшемся Панаеву в наследство, видеть страдания крепостных. Сцена дележа имений между наследниками воссоздана Вами душераздирающе. Я имею в виду то место, где описан раздел дворовых.

«Разделенные части должны были доставаться наследникам по жребию. При вынимании билетов на имение было ужасно смотреть на наследников: все стояли бледные, дрожащие, шептали молитвы, глаза их сверкали, следя за рукой дворового мальчика, который, обливаясь горькими слезами от испуга, вынимал билеты...

Но самое потрясающее впечатление произвел на меня раздел дворовых.

Посредник сначала хотел разделить дворовых по семьям; но все наследники восстали против этого.

– Помилуйте, – кричал один, – мне достанутся старики да малые дети!

Другой возражал:

– Благодарю покорно, у Маланьи пять дочерей и ни одного сына, нет-с, это неправильно, вдруг мне выпадет жребий на Маланью.

Порешили разделить по равной части сперва молодых дворовых мужского пола, затем взрослых девушек и, наконец, стариков и детей.

Когда настало время вынимать жребий, то вся дворня окружила барский дом, и огромная передняя переполнилась стенаниями».

О Вас в воспоминаниях Панаева, кажется, единственное место: «Моя жена очень дружила с женой Грановского». У Вас про него – гораздо больше и с настоящей теплотой. Особенно тот разговор, который произошел у Вас с ним незадолго до его смерти. Он звал Вас пожить с ним в деревне, обещал, «что ты не увидишь во мне прежних моих слабостей, за которые я так жестоко поплатился. Я сам себе был злейшим врагом и сам испортил свою жизнь... Только тогда, когда мне пришлось пережить страшную нравственную пытку, я понял, кто бескорыстно желал сделать мне хорошее и кто

вред».

Значит, была «нравственная пытка»? Значит, нелегко давался ему ваш семейный треугольник? Не в наказание ли себе он смирился с ним, не принял ли как возмездие за свои романы и вертопрахство? А ядовитый Писемский при этом печатает в своей «Библиотеке для чтения»: «Интересно знать, не опишет ли г. Панаев тот краеугольный камень, на котором основалась его замечательная в высшей степени дружба с г. Некрасовым?»

И несмотря на все это, Панаев изыскивал деньги на издание «Современника», поддерживал его всеми силами, замещал Некрасова на посту редактора, когда тот разъезжал с Вами по границам. Правда, о Некрасове в его воспоминаниях тоже очень мало. Может быть, злых слов писать не хотел, а других – не находил?

Знаете ли Вы, что о Вашей красоте ходили легенды? Вы могли видеть только тех, кто ухаживал за Вами в открытую. Но за Вашей спиной Вас восхваляли такие ценители, как граф Соллогуб, Афанасий Фет, Павел Ковалевский, Александр Дюма, Николай Чернышевский. Молодой Достоевский писал брату, что влюблен в Вас. Судя по всему, и Белинский не остался равнодушным к Вашим чарам, и Герцен, и многие, многие другие.

Влюбленный Некрасов посвятил Вам десятки стихов.

Прошедшее! Его волшебной власти

Покорствуя, переживаю вновь  
И первое движенье страсти,  
Так бурно взволновавшей кровь,  
И долгую борьбу с самим собою,  
И не убитую борьбою,  
Но с каждым днем сильней кипевшую любовь.  
Как долго ты была сурова,  
Как ты хотела верить мне,  
И как и верила, и колебалась снова,  
И как поверила вполне!  
(Счастливым день! Его я отличаю  
В семье обыкновенных дней;  
С него я жизнь мою считаю,  
Я праздную его в душе моей!)

Но судьба безжалостна к вам обоим: в тот же 1848 год, который должен был быть таким счастливым, умирает ваш первый – и единственный – ребенок.

Поражена потерей невозвратной,  
Душа моя уныла и слаба:  
Ни гордости, ни веры благодатной —  
Постыдное бессилие раба!

Ей все равно – холодный сумрак гроба,  
Позор ли, слава, ненависть, любовь, —  
Погасла и спасительная злоба,  
Что долго так разогревала кровь.

Я жду... но ночь не близится к рассвету,  
И мертвый мрак кругом... и та,  
Которая воззвать могла бы к свету —  
Как будто смерть сковала ей уста!

Лицо без мысли, полное смятенья,  
Сухие, напряженные глаза —  
И, кажется, зарею обновленья  
В них никогда не заблестит слеза.

Да, похоже, слезы Вам давались нелегко. А чего стоит этот отчаянный оксюморон: «спасительная злоба, что долго так разогревала кровь»! Не боялся признаваться – смело, смело.

Но какой же страшный это был для вас обоих год! Не только смерть ребенка, но и все остальное. Арестован и приговорен к расстрелу Достоевский. Из-за французской революции цензура свирепствует так, что хоть выпускай «Современник» с пустыми страницами. Друзья мечутся в панике. Боткин требует вернуть ему все письма, чтобы немедленно сжечь их. Мало ли в чем ошалевшая полиция найдет крамолу!

Мне кажется, что очень скоро Некрасов попытался поменять ваши роли, начал поучать, вести куда-то, к дорогим ему видениям светлого будущего, просвещать ум и сердце. И сердился, когда Вы не поддавались.

Я не люблю иронии твоей.

Оставь ее отжившим и не жившим,  
А нам с тобой, так горячо любившим,  
Еще остаток чувства сохранившим, —  
Нам рано предаваться ей!

Но ирония была одним из прятных цветков в букете Вашего очарования! Как пронизаны ею Ваши пикировки с Герценом, с Дюма, как безжалостно остроумны описания Тургенева, Достоевского, Решетникова. И порой Некрасов поддавался, даже заражался ею.

Разве не забавно описал он крушение своих просветительских усилий?

Я читал ей Гегеля, Жан-Поля,  
Демосфена, Галича, Руссо,  
Глинку, Ричардсона, Декандоля,  
Волтера, Шекспира, Шамиссо,  
Байрона, Мильтона, Соутэя,  
Шеллинга, Клопштока, Дидеро...  
В ком жила великая идея,  
Кто любил науку и добро;  
Всех она, казалось, понимала,  
Слушала без скуки и тоски  
И сама уж на ночь начинала  
Тацита читать, надев очки.

И к чему же все пришло?! Увы...

Тут предстала страшная картина...  
Разом столько горя и тоски!  
Растерзав на клочья Ламартина,  
На бумагу клала пирожки  
И сажала в печь моя невеста!!  
Я смотреть без ужаса не мог,  
Как она рукой месила тесто,  
Как потом отведала пирог.  
Я не верил зрению и слуху,  
Думал я, не перестать ли жить?  
А у ней еще достало духу  
Мне пирог проклятый предложить.  
Вот они – великие идеи!  
Вот они – развития плоды!  
Где же вы, поэзии затеи?  
Что из вас, усилья и труды?  
Я рыдал...

Да, пирожки... Многим Вы запомнились хлопочущей у печи, накрывающей на стол, разливающей чай, отправляющей слуг за провизией. То заработавшийся Белинский шлет Вам в полночь записку, умоляя покормить; то Тургенев просит присылать ему обеды в тюрьму, потому что тюремного есть не может; то Панаев бежит к Вам в панике: «Дюма нагрянул на дачу с целой свитой – чем кормить?!» Да и Некрасов, наверное, не раз подкреплялся пирожками, не спрашивая, в чьи страницы они были завернуты.

Но кажется, что за иронией он прячет одно горькое разо-

чарование: возлюбленная равнодушна к его стихам. И похоже – вообще к поэзии. В Ваших воспоминаниях не процитирована ни одна стихотворная строчка, не описано ни одно сильное переживание, связанное с кумирами ваших дней – Пушкиным, Лермонтовым, Жуковским.

Зато Вы так чувствительны к *красоте душевных движений*. А если видите что-то уродливо-постыдное, умеете поддеть это на копьё иронии. Ваш сарказм – бедный Тургенев! – убийствен, Ваши упреки больно попадают в цель. И уж он отплатил Вам, в письмах и разговорах не щадил. Из его письма к Марии Николаевне Толстой (1857):

«Я Некрасова проводил до Берлина; он уже должен быть теперь в Петербурге. Он уехал с госпожею Панаевой, к которой он до сих пор привязан – и которая мучит его самым отличным манером. Это грубое, неумное, злое, капризное, лишенное всякой женственности, но не без дюжего кокетства существо... владеет им как своим крепостным человеком. И хоть бы он был ослеплен на ее счет! А то – нет... Тут никто ничего не разберет, а кто попался – отдувайся, да еще чего доброго, не кряхти».

И Некрасов «отдувается», оправдывается, прячется от Ваших обвинений за смертельно опасную болезнь, «кряхтит» стихами:

Тяжелый год – сломил меня недуг,  
Беда застигла, – счастье изменило, —



И не щадит меня ни враг, ни друг,  
И даже ты не пощадила!  
Истерзана, озлоблена борьбой  
С своими кровными врагами,  
Страдалица! стоишь ты предо мной  
Прекрасным призраком с безумными глазами!  
Упали волосы до плеч,  
Уста горят, румянцем рдеют щеки,  
И необузданная речь  
Сливается в ужасные упреки,  
Жестокие, неправые... Постой!  
Не я обрек твои молодые годы  
На жизнь без счастья и свободы,  
Я друг, я не губитель твой!  
Но ты не слушаешь...

«Не щадит меня ни враг, ни друг...» – о чем это? «Озлоблена борьбой с своими кровными врагами» – о ком здесь идет речь? Не о той ли истории с «огарёвскими деньгами», которая мучила вас обоих многие годы, растекалась злой молвой, чернящими слухами?

Я честно пыталась разобраться, кто там был прав, кто виноват. Рылась в архивах, перечитывала пожелтевшие письма, расписки, векселя, закладные. Картина постепенно проступала, но все контуры и силуэты оставались размытыми. Поняла, что Вы дружили с первой женой Огарёва, Марьей Львовной. И когда она разошлась с мужем, вы пытались помочь ей обеспечить финансовую сторону развода. Уехав за

границу в 1847 году, та оставила Вам доверенность на ведение ее дел. С этого все и началось – не так ли?

Марья Львовна очень ценила Вашу поддержку. Вам было бы интересно узнать, как в одном письме к родным она попыталась сравнить Ваш душевный склад со своим:

«Евдокия – практический характер, противоположный моему, но приносящий мне благодетельное действие... я с ним твердею... Он благоразумен, храбр, последователен... Таковым представляется он мне – слабой, чувствительной... Мы любим в человеке противоположный нам нрав, потому что устаем от зеркала, повторяющего нашу слабость... В ней твердость есть произведение ее натуры, здоровой, цветущей, оконченной... Не люблю я слабости, а сама не родилась для твердой воли и обдуманых действий».

Люди безвольные часто выставляют свою слабость в утрированном виде, чтобы получить побольше помощи от окружающих. Мне кажется, Вы слишком увлеклись своей ролью помощницы и спасительницы и не в силах были отказаться от нее, даже когда Вам стало ясно, что Марья Львовна вполне способна с диким упрямством преследовать свои корыстные цели. Как Вы уговаривали ее дать, наконец, развод несчастному Огарёву! Но она уперлась как пень. Ее вполне устраивало, чтобы он исправно выплачивал ей восемнадцать тысяч в год, а она бы на эти деньги жила в Париже со своим любовником – художником Воробьевым. Многие друзья, включая Герцена, взывали к ней, пытались объяснить, что выпла-

ты будут продолжаться в соответствии с подписанными Огарёвым обязательствами. Взбалмошная женщина оставалась непреклонной, до тех пор пока не вмешался арбитр, с которым не поспоришь, – смерть. В 1853 году Марья Львовна умирает, и вся драма вокруг денег вступает во вторую фазу – еще более запутанную.

Правда ли, что Вы так полностью доверились ловкому финансисту Шаншиеву, что поручили ему распоряжаться капиталом и имением, с которого выплачивалось содержание покойной? Как я поняла, этот изворотливый делец успел заложить имение, а деньги пустить в оборот. Извлечь их так быстро для возврата Огарёву было невозможно. Отсюда и поползла молва, будто Вы с Некрасовым присвоили деньги. Даже тот факт, что при первой возможности, в 1857 году, Вы – без всякого суда – вернули Огарёву сорок тысяч рублей, ничего изменить не мог. Злая сплетня не остывала. Герцен до конца жизни поносил Некрасова последними словами, считал его виноватым и отказался принять его в Лондоне и выслушать его оправдания. (Не про это ли строчка – «не щадит меня ни враг, ни друг»?)

В общем, у меня сложилось впечатление, что обвинить Вас можно было только в преувеличенном представлении о собственных деловых способностях и о честности российских дельцов. Ловкий Шаншиев легко манипулировал Вами, представляя свои ходы законными и безопасными. Вы нарушили собственный совет-увещание, данный в свое время в

письме Марье Львовне: «Теперь скажи мне, серьезно ли ты хочешь купить землю в Риме для дохода? Если это так, то я удивляюсь тебе, как можно быть такой дитей в твои лета. Где нам справляться с собственностью, когда мы и с собой не умеем сладить».

Еще одно Ваше пленительное свойство приоткрылось мне: Вы всегда умели (чуть не добавила «как и я») самозабвенно радоваться своим возлюбленным, как будто видели их в первый раз. Они могли куролесить на стороне, обижать Вас, надолго исчезать без предупреждения. Но появляться вновь – и Вы летите им навстречу, радостная улыбка на лице. Никаких попыток предъявить счета обид, никаких ползновений превратить их чувство вины в удобную цепочку, хомут, вожжи.

«Я и не думал и не ожидал, – писал Некрасов в интимном письме, – чтобы кто-нибудь мог мне так радоваться, как обрадовал я эту женщину своим появлением. Она теперь поет и попрыгивает, как птица». И в другом: «Я очень обрадовал Авдотью Яковлевну, которая, кажется, догадывалась, что я хотел от нее удрать... Но что мне делать из себя, куда, кому я нужен? Хорошо и то, что хоть для нее нужен».

Иногда мне приходило в голову: а не пытался ли Некрасов своими эскападами пробудить в Вас ревность? Не был ли он в плену их старинной формулы: «не ревнует – значит, не любит»? Ведь, кроме Вас, никаких серьезных и длительных увлечений в его жизни не было.

Но снова и снова: при такой способности радоваться – почему Вам приходилось так много отмалчиваться? Многие отмечали Вашу замкнутость, неучастие в шумной литературной беседе.

«Я заметил, что вы ни с кем не разговаривали весь обед», – замечает Добролюбов при вашей первой встрече.

«Я так давно знаю всех обедавших, что мне не о чем с ними разговаривать», – отвечает Вы.

Не знаю, поверил ли Добролюбов, но я не верю. Мы знаем, что старинные друзья могут болтать часами и даже прощать друг другу повторение историй, шуток, анекдотов. Мы умолкаем обычно тогда, когда теряем надежду быть услышанными. Когда наш восторг объявят неразборчивостью. Высказанное неодобрение назовут злословием. Когда в ответ на вырвавшуюся шутку мы слышим «я не люблю иронии твоей».

Правда, бывает еще одна причина нашей молчаливости. Мы устаем от грехов и слабостей наших возлюбленных, но мы так же устаем от их достоинств. Достоинства давят, заставляют сравнивать возлюбленного с собой, выпячивают наши слабости, несовершенство. О, пусть бы кто-нибудь вслух сказал, что это нам нормально – уставать друг от друга! Пусть бы перестали взваливать на нас эту непосильную ношу – требование вечной и неизменной и неослабной любви! Обделенные, безлюбые, завидующие – это они отыскивали способ унижать и разрушать невыполнимыми требованиями

доставшийся нам дар любви невечной. Но если они победили – не значит ли это, что их больше, чем нас?

Еще одна обида должна была точить Вам сердце. Ваш литературный дар был отодвинут окружающими «Современник» литераторами на задний план, словно мебель, отслужившая свой срок, словно кадка с запылившейся пальмой. А ведь Вы написали несколько романов совместно с Некрасовым, Ваше «Семейство Тальниковых» хвалил сам Белинский.

И было за что!

Какие типажи проходят в этой повести, какие гоголевские персонажи! Не забуду рыжую гувернантку, мечтавшую о женихе, заставлявшую Вас затягивать ей корсет так, что лицо раздувалось от прилива крови. А этот дядюшка, облюбовавший только две темы для разговора: как знатно он порол сегодня несчастного племянника, порученного его просветительным заботам, и какой виноград он едал однажды в Курске. А дед, читавший только календарь с гороскопами и изводивший всех почерпнутой оттуда премудростью на каждый месяц: «в сентябре тебе будет счастье во всем, октябрь для тебя не хорош, в феврале можешь делать покупки, продажи...»

Если бы эта повесть была напечатана сразу по написании в 1847 году, она оказалась бы хронологически первой в ряду знаменитых русских повестей о детстве: Льва Толстого, Сергея Аксакова, Гарина-Михайловского, Горького. Считается,

что ей просто не повезло: грянула февральская революция в Париже, и российская цензура взбесилась, готова была за-прещать биржевые новости. Но я не верю. В повести есть такая прямота и ясность взгляда на жизнь и людей, что охранитель и лицемер должен был вознегодовать на нее в любую эпоху. То, что цензор Бутурлин писал на полях рукописи – «цинично, безнравственно, неправдоподобно, не позволю за безнравственность и подрыв родительской власти», – будет kloкотать в сердцах родителей-тиранов при всяком правлении – до, во время и после любых революций.

И теперь – о Добролюбове. Мне так интересно! Ведь к моменту встречи с ним Вы, судя по всему, разочаровались в прекраснодушных болтунах и краснобаях. Тургенев, Толстой, Достоевский порвали с «Современником», оставшиеся сменяли друг друга и мельчали с каждым днем. Серьезность Добролюбова должна была Вас пленить так же, как размашистая непредсказуемость Базарова пленила Одинцову в тургеневском романе. Слишком много в Ваших воспоминаниях рассыпано примет, по которым видно, что вас связывало нечто большее, чем дружба.

Вот он поселяется в вашей квартире на Литейном проспекте. (Теперь вас уже четверо?) Привозит своих младших братьев, в которых Вы принимаете такое горячее участие. Заботливо кормите его, защищаете от нападков. А это его письмо к Вам за границу, с просьбой-мольбой приехать как

можно скорее. И Вы немедленно все бросаете и летите на его зов. И потом долго ухаживаете за умирающим. А когда выходит посмертно первый том его собрания сочинений, Вы с изумлением обнаруживаете в нем посвящение: «Авдотье Яковлевне Панаевой». И хотя в тексте автор посвящения – Чернышевский – пользуется только словами «дружба», «сестра», мне так хотелось бы верить, что Вашему дару любить и здесь дано было вспыхнуть и отгореть ярким светом.

Сколько же дорогих людей довелось Вам оплакать? Белинский, собственный сын, Добролюбов, Панаев, Некрасов... И как я была счастлива за Вас, когда узнала, что уже на закате женской судьбы, в последнем супружестве, Вам дано было родить дочку, которая выросла здоровой и украшала и освещала последние годы Вашей жизни.

Сподобились Вы и другой милости небес: Ваш литературный дар не ослаб, не оставил Вас и дал сил на семидесятом году – пусть в бедности, пусть ради заработка – создать произведение, которое навсегда включено теперь в скрижали русской литературы.

Прощайте, милая А. Я. (только сейчас заметила, что Ваши инициалы символично открывают и закрывают русский алфавит), и примите мою благодарность за то, что не скрыли свой путь, судьбу, сердце и дали мне пережить это счастливейшее чувство: Я НЕ ОДНА ТАКАЯ!



## 2. ПАВЕЛ ПАХОМОВИЧ

Вчера повезла за город Пал Пахомыча, устроила ему пикник на берегу озера. Он по-прежнему любит все, что ему нельзя после операции: сардины в масле, копченую колбасу, темное пиво. Я потакаю, езжу за деликатесами для него к черту на рога. Нога, из которой брали вену для устройства обводного туннеля вокруг сердца, заживает плохо. Больно было смотреть, как он бредет от машины к столику, отгаливающая асфальт суковатой палкой. Но, усевшись на скамейку и отдышавшись, он просиял, благодарно погладил меня по плечу. Потом обвел ладонью далекий сосняк, кувшинки на воде, первые желтые листочки на кустах и сказал:

– Как Он это все умеет... Сколько раз ни гляди – все равно дух захватывает... Никогда не скучно...

Мы не виделись больше месяца. Мне не терпелось рассказать ему о последней выходке Глеба. Который заявил, что, если я не уйду от мужа, он явится к нему сам и все расскажет. Что мне делать? Я Додика ни за что не брошу и все сделаю, чтобы его оградить-защитить. Он и так со мной за двадцать пять лет всякого натерпелся. Он добрый и лучше всех. Но и Глеба просто прогнать – нету сил. Как услышу его голос в телефоне – сквозняк поднимается в горле такой, что слова выговорить не могу. Что делать?

– Ты говорила, он сам женат, трое детей.

– Обещает, что сразу уйдет. Одно мое слово – и подает на развод.

– На сколько он тебя моложе?

– На двенадцать лет! Слыханное ли дело? «Зачем тебе такая старуха?» – говорю ему. И слышу в ответ: «Не кокетничай. Прекрасно знаешь – зачем. Чтобы выжить. Да-да: физически остаться в живых». Прямо шантаж какой-то.

Пал Пахомыч – мой единственный наперсник. Только с ним могу высунуться из своего вечного маскировочного окопа. «Вы моя лучшая, моя любимая подруга», – говорю ему, когда расчувствуюсь. Он живет один. Жена отказалась ехать с ним в Америку, осталась с детьми в Ленинграде. Он работал в документальном кино, много лет тайно собирал кадры для фильма об отравлении русских рек и озер. Хотел открыть миру глаза. Все бросил, уехал, вывез свой фильм. Но оказалось, что здесь и своих отравленных вод хватает, чужими не удивишь, не взволнуешь.

Дальше – обычная эмигрантская судьба. Случайные заработки там и здесь, съемка свадеб, рекламные ролики про русские рестораны и лавки. Газеты не платят, телестудии закрываются. Непризнание, одиночество, старость, болезни. У себя в университете я устроила ему несколько выступлений, показ фильма. Но с тех пор как Россия перестала быть грозной тайной для всего мира, интерес к ней падает, как проколотый дирижабль. У меня и самой студентов едва набралось на два курса, работаю только три дня в неделю. Додик

со своей математикой – главный кормилец. Но и ему могут помахать ручкой в любой момент. Продлят или не продлят контракт – ежегодный страх и трясение поджилок.

– Кому пишешь? – спрашивает Пал Пахомыч, вытирая пивную пену с усов, подцепляя на вилку лепесток ветчины.

– Только готовлюсь. Очень хочется написать Льву Николаевичу. Но он такой большой – девяносто томов росту. Нужен долгий разгон.

– Что ж ты ему напишешь? Он ведь, кажется, после женитьбы перестал шалить. За юбками не гонялся, седьмую заповедь соблюдал.

– Соблюдал – да только стиснув зубы. Уж лучше бы куролесил по-прежнему. Проповедовал любовь ко всем, а сам не в силах был полюбить хотя бы собственную жену. Которая нарожала ему кучу детей.

Пал Пахомыч – один из немногих, кому я давала читать свои письма к умершим писателям. Он потом говорил мне, что после этих писем шел в библиотеку, находил книги моих адресатов и читал их будто заново. Лестно. Сам Пал Пахомыч пишет только крохотные виньетки в несколько строчек. Иногда в одну. Иногда в два слова. Например: «Общечеловеческое – бесчеловечно». Пишет для себя. «Нет, – говорю я ему, – и для меня тоже. Ну-ка давайте, что там у вас накопилось за два месяца. Знаю-знаю: ни в журналы, ни в газеты не давать, если цитировать, то не называя автора. Просто: как сказал один непризнанный мудрец...»

Пал Пахомыч ужасно щепетилен. Не дай бог, подумают, что он рисуется. Гордец. Ненавидит быть просителем, ненавидит быть в толпе. Из-за этого никогда не пошлет свои виньетки в редакции, не напишет ничего большого, законченного. Фильм про отравление вод и земель – там было оправдание, была серьезная спасательная задача. А без такой сверхзадачи вылезать на публику – стыдно. Талант в клетке морали, парализованный вдобавок тонким вкусом. «Садился он за клавикорды и брал на них одни аккорды...»

– Ларошфуко, Паскаль, Лихтенберг, Шопенгауэр, Ницше печатали свои афоризмы, – уговариваю я. – Почему вам нельзя?

– Эка хватила. В России все скромнее. Называется «Записные книжки». Чехова, Ильфа, Олеси. Печатается по-смертно.

– Ладно, будем ждать. Нам не к спеху.

Такой вот трупный юмор.

После пикника я везу его домой. Мы поднимаемся на лифте в его крохотную захламленную квартирку. Книжные стеллажи – под потолок. Одна стена отдана целиком видеолентам. Старинная пишущая машинка с трудом отбивает место на столике от журналов, конвертов, газет, фотографий.

Я веду его в спальню, помогаю раздеться. Вообще, все делаю сама. Он мешает мне, поминутно хватая мою руку и прижимая ее к губам. Я почтительно провожу пальцем по шра-

му на его груди, по скатам живота, по отросшим титькам, глажу по щеке. Мой паровоз привычно набирает скорость, но где-то на заднем плане, на горизонте. С Пал Пахомычем мне так нравится забывать о себе, не получать, а дарить. Нет, мимоходом я успеваю урвать свою волну тоже, но главное – доставить к месту назначения его драгоценный груз. И когда он испускает свой крик раненой птицы, я испытываю толчок такого блаженства, торжества, гордости – прямо как дирижер на последнем взмахе палочки, в финале концерта.

Он лежит обессиленный, слабо гладит меня по бедрам и бормочет:

– Праздник ты мой... Праздник мой золотой... За что ты мне?..

Но я вскакиваю и превращаюсь обратно в Золушку на кухне. Окна – протереть, посуду в раковине – перемыть, грязное белье – забрать в стирку, холодильник – перебрать, расчистить, выбросить гнилье, заполнить новыми продуктами.

– Смотри, мы забыли открыть лососину! Не дай ей пропасть. Срок годности – через две недели.

И напоследок подкрадываюсь к пишущей машинке, вынимаю из нее листок, покрытый бледными строчками.

– Можно? Я сниму себе копию и верну. Ты же меня знаешь...

Он кивает, улыбается, слабо машет мне рукой.

ЛИСТОК ИЗ МАШИНКИ П. П.

Он жил в мире ирреальных представлений. И знал

это. Единственной реальностью в этом мире была его душевная боль. Именно поэтому он цеплялся за нее и раздувал до предела. Чтобы оставаться на почве реальности.

В старину цивилизованные люди брезговали ходить на базар, посылали поваров и служанок. В наши дни базар отомстил им и пролез рекламой в каждый культурный дом через главные достижения цивилизации: газету, радио, телевизор, компьютер, телефон.

Эрос может задеть своей стрелой любого человека очень рано, даже в детстве. Но только дети с богатым воображением сумеют потом снова и снова вызвать в памяти это блаженное ранение, доводя случайность до прочного – порочного – на всю жизнь – сексуального пристрастия. Поэтому-то среди художников, музыкантов, поэтов так много эротических уклонистов и фантазеров. Богатое воображение – вот главный виновник их разрушенной судьбы.

Писатель бредет среди людей, как корова среди луговой травы: в любую минуту можно остановиться, начать кормиться, заглатывать зеленую поросль чужих чувств и переваривать ее в млеко продолжения жизни, продолжения прозы.

Говорим про верующих: «Они спасутся». А думаем:

«Их запомнят».

Русским должна быть утешительна история распада Древнего Рима. Как и римляне, не от глупости и беспомощности мы разваливаемся на части – от собственной непосильной мощи.

«Мы» опутало «я» сотнями запретов. И главный из них – запрет совокупляться легко и свободно, по зову сердца и плоти, как звери и птицы. Недаром все языки мира, не сговариваясь, используют слова, означающие соитие, как ругательства – то есть предельное выражение протеста, неподчинения, неподцензурного гнева.

Талантливое всегда непредсказуемо. Но в перевернутом виде – «непредсказуемое всегда талантливо» – формула не срабатывает. Поэтому на одной непредсказуемости никаким пост-, супер- и архимодернистам не выехать.

Аскетизм – это сражение с животной природой собственного тела. «Нет, над душой моей ты не властно!» – вот вызов, который бросает телу аскет. И даже иногда побеждает.

– Раз я не отличаю Добра от Зла, – говорит детерминист Господу, – значит, я не ел яблока с Древа Познания и первородный грех на мне не лежит.

В Америке все виды охоты и рыболовства стеснены тысячами правил и запретов. Только рекламным хищникам разрешено охотиться на откормленных дураков-покупателей во все времена года без всяких ограничений.

Для большинства людей смысл любого спора – сказать ярче, хлеще, эффектнее и тем подавить, унижить, обескуражить оппонента. Лишь единицы способны насладиться своим поражением в споре, если оно вдруг помогло обоим спорящим приблизиться к Истине.

Религиозное – это стрелка компаса, сверяясь с которой мы должны прокладывать этический курс своего жизненного корабля. Если бы все люди плыли напрямиком туда, куда указывает религиозный компас, мы все застряли бы в Ледовитом океане отчаяния.



### 3. РОДИТЕЛИ

«Наша граница на замке!», «Враг не пройдет!», «Будьте бдительны!». Все школьные стены были увешаны плакатами, они призывали, обещали, уговаривали, приказывали. В те годы увидеть где-то живого иностранца – это было приключением, о котором счастливец мог хвастать неделю. Только моя мать ухитрялась проводить большую часть своей жизни за границей. Независимое государство, в которое она уезжала без визы и паспорта, называлось Королевство Книги. Реальная, волнующая жизнь протекала только там. К нам она возвращалась ради дел низменных, печально неизбежных: постирать, сготовить обед, сходить в булочную, заштопать носки.

Если верить семейной легенде, мать рожала меня с книгой в руках. Ей дали на три дня второй том Пруста, а мне как раз в эту неделю приспичило появиться на свет. Отец уверял, что в перерывах между схватками она продолжала читать. Возмущенная акушерка заявила, что снимает с себя всякую ответственность за жизнь новорожденной. Насасываясь материнским молоком, я видела над собой не лицо матери, а твердую обложку с золотой надписью «Аксаков». Уверена, что многие буквы алфавита просочились в мое сознание раньше, чем я научилась говорить.

В своем независимом государстве мать занимала важ-

ный пост: заведовала отделом художественной литературы в библиотеке крупного научно-исследовательского института. Правда, большинство книг в этой библиотеке были заполнены учеными формулами, чертежами и графиками, которых мать не понимала. Но это как раз создавало добавочный ореол серьезной таинственности. Молитвенная тишина библиотечного зала предвещала священнодействие. Ученые смотрели с портретов на стенах вдумчиво и укоризненно, как святые с икон.

Не помню, чтобы мать когда-нибудь неодобрительно отозвалась или – не дай бог! – осудила, отвергла какую-нибудь книгу. Любая пачка страниц, заключенная в твердую или мягкую обложку, была правомочным гражданином ее страны, требующим уважения, охраны, защиты. Она могла порвать отношения с человеком только за то, что он посмел употребить книгу как подставку для горячего чайника. Вырванная страница вызывала у нее гримасу сострадания. Распотрошить том Ламартина ради пирожков – не было бы Вам, Авдотья Яковлевна, прощения. Печи, которые замерзающие жители осажденного Ленинграда топили собраниями сочинений, были в ее глазах более страшным преступлением Гитлера, чем печи Освенцима.

Книги были важнее их авторов. Авторы могли вести беспутную жизнь, пьянствовать, проигрывать в карты своих крепостных, плодить незаконнорожденных детей – это ничуть не принижало написанные ими книги. Ибо каждое сло-

во там было уже навеки закреплено на своем месте, в своей строчке, на своей печатной странице и обретало таким образом священную неизменность. Эта неизменность наполняла душу матери покоем, уверенностью, счастьем.

Конечно, за долгие годы работы в библиотеке ей не раз приходилось участвовать в изъятии с полок каких-то сочинений, оказавшихся неправильными. Сверху спускали циркуляры со списками книг, ставшими на сегодняшний день идейно чуждыми, и сотрудники послушно шли вдоль стеллажей, выковыривая из книжных рядов осужденные тома и брошюры. Но мать рассказывала об этом легко, без горечи. Если у вас есть независимое государство, нужно быть готовым к тому, что среди законопослушных граждан найдутся нарушители, отщепенцы, преступники. Удаление их из общей жизни, изгнание – необходимая мера, оправданная самозащита. С такими мать расставалась без сожалений.

Она вообще не знала сожалений. Мне было шесть лет, когда она решила расстаться с отцом. Он был в отчаянии, умолял ее простить, дать ему возможность исправиться, искупить. Она искренне не понимала, о чем тут можно говорить. Факт измены имел место? Имел. Обвиняемый сознался? Сознался. Не важно, что мимолетно, не важно, что в другом городе. В следующий раз тебя снова пошлют в командировку – откуда я буду знать, что ты там не телефонную сеть чинишь, не проводочки ощупываешь, а что-то другое? Нет, по законам Королевства Книги все ясно и просто: измена должна

каратся разлукой. Обжалованию не подлежит.

Так я осталась без отца. Горевала ли? Не помню. Половина ребят в нашем классе были послевоенная безотцовщина. А тем, у кого оставались, завидовать не приходилось. То и дело от них слышались жалобы: «Батя вчера опять завалился пьяный, мамку – по уху, меня – ремнем. Хоть бы скорее допился до белой горячки. Или под самосвал угодил, как Колькин. Везет же некоторым».

Училась я без натуги, уроки делала быстро, получала свои четверки. В отличницы не рвалась. Любила, когда школьная рутина нарушалась походом на выставку, в зоологический сад, на природу. В Музее обороны Ленинграда застаивалась перед панорамой воздушного боя над городом. Подвешенные на проволочках самолеты с красными звездами слегка раскачивались, другие – с черными крестами – устремлялись вниз, волоча за собой дымный хвост. Фугасная бомба стояла торчком, будто кто-то поймал ее на лету и осторожно поставил на постамент. Простой огнетушитель или пожарная кирка, спрятанные в стеклянный ящик, утрачивали свою обыденность, превращались в Историю, в то, что изменить будет нельзя никогда и никому. Мне нравилось это.

А в шестом классе нас впервые повели в Русский музей. И жизнь моя перевернулась. Я ничего не могла понять. Застывала перед картинами, обходила по несколько раз скульптуры, украдкой гладила пальцем иконы. Наша учительница истории подгоняла меня: «Не отставай от группы, слушай экс-

курсовода». Мне было стыдно взглянуть ей в лицо. Хотелось сказать: «Не ты ли твердила нам про кровососов-помещиков и угнетателей-аристократов? А тут их портреты сияют красотой, окружены почетом. Не ты ли твердила, что Бога нет, а здесь вот он, Христос, – такой возвышенно-спокойный – спасает грешницу от злой толпы, воскрешает Лазаря, стоит перед Пилатом. Не ты ли молчала – да и все, все вы молчите про самое жгучее и главное, про ЭТО, а здесь вот сатир так жадно, так понятно-бесстыдно ласкает обнаженную нимфу. И Фрина сияет своей наготой на празднике Венеры!»

С тех пор я начала бегать в музеи чуть не каждый выходной. Мать одобряла мою страсть, не догадывалась – откуда она. Давала деньги на билеты, на открытки с репродукциями картин, на путеводители. В путеводителях были объяснения библейских сюжетов, из них я узнала все, что наши бабушки и дедушки учили на уроках Закона Божьего. Залы античного искусства в Эрмитаже размещались на первом этаже, и я проводила в них часы в полном одиночестве. Любовалась лакированными вазами, рассматривала оранжево-красных героев, скакавших по черному фону, стеклянные украшения древнеримских матрон, бюсты императоров и философов. Изредка вдали нарастал глухой гул, и через зал, под командой экскурсовода, проходил взвод солдат или моряков, пригнанных штурмовать бастионы культуры. Потом снова наступала блаженная тишина.

Я чувствовала себя Золушкой, попавшей во дворец, когда

бал уже отшумел, но ничуть не огорчалась опозданием. Дворец был так прекрасен! Табличка под мраморной головкой Венеры сообщала, что она была создана две тысячи лет назад, и эти два тысячелетия были для меня туннелем вечности, в котором и мне было оставлено место. Древний скульптор легко перелетал через океан времени, опускался рядом со мной, и я знала, что всегда смогу убежать к нему от уличной слякоти, от магазинных очередей, от ведьмы-соседки, от школьной скуки. Не тогда ли, не с музейной ли страсти зародилась во мне сама смутная идея, крамольная мысль-вопрос: да так ли уж непроницаема граница, так ли крепки засовы? Если я способна убежать из своего времени, не смогу ли я когда-нибудь убежать и из своего пространства?

Много лет спустя мне довелось увидеть чудесный документальный фильм. Режиссер придумал простой ход: установил скрытую камеру рядом с картиной Леонардо да Винчи «Мадонна Литта» и снимал лица посетителей, всматривавшихся в знаменитый шедевр. Среди них была девочка лет двенадцати, чем-то напоминавшая меня. Голос экскурсовода плыл над звуками клавиесина: «Взгляните на лицо Мадонны – оно прекрасно...» И я снова пережила это окрыляющее чувство освобождения от «здесь и сейчас». «Да, есть что-то вечное и прекрасное на свете, и я принадлежу ему, и никто-никто не сможет меня оторвать от него, даже смерть» – так думала – чувствовала – тогда я и то же чувство читала на лице девочки на экране.

Мне было четырнадцать, когда мать впервые разрешила отцу свидание со мной. Получасовая прогулка в соседнем палисаднике. Как в тюремном дворе. Сердце у меня колотилось отчаянно. Как мне хотелось понравиться ему! Какое платье надеть? Зеленое? Нет, подруга Валя уверяла, что зеленое отталкивает мужчин. Да-да, проводились специальные исследования. Лучше синее. С голубой косынкой.

– Мам, можно я возьму твой синий берет?

– Нет, он мне самой нужен.

– Ах так!.. Ну ладно же... Нарочно замерзну и простужусь.

Но при первом взгляде на отца, с первых его слов я поняла, что бояться мне нечего. Что он заранее обожает меня на всю жизнь. Что бы я ни надела, чем бы ни увлеклась, чего бы опасного ни натворила. У него уже была новая семья, двое детей. Но на семье и детях лежала неизбежная зола повседневности. Я же была потерянной – и возвращенной – овечкой, мечтой, манящим миражом. Мы шли рядышком по кирпичной дорожке, он расспрашивал о школе, о подругах, о всем рутинном и неважном. И вдруг в конце спросил, есть ли у меня кто-нибудь, кому я могу доверить важный секрет.

Я созналась, что нет.

И тогда он сказал, что, если бы у него был важный секрет, которым нужно было поделиться, он бы хотел доверить его мне. Потому что ему кажется, что у меня внутри спря-

тан небольшой, но очень прочный сейф для своих и чужих секретов.

Как он догадался? Неужели это было так заметно?

Мы стали встречаться – сначала раз в месяц, потом чаще. Длительность разрешенного свидания увеличивалась, но мы уже прихватывали добавочные часы без маминого разрешения. А в десятом классе я вообще перестала докладывать ей, куда я уйду и с кем.

Отец был виден в толпе издали. Его серая шляпа плыла над головами, чуть выпученные глаза искали меня внизу, среди пигмеев, рвавшихся в метро, и, найдя, загорались охотничьим восторгом. Всегда с портфелем («Да, потом еще надо успеть в институт»), всегда с букетиком («Пап, ну куда я их дену?» – «А мы спрячем пока в портфель»), всегда бескорыстно жадный до любой мелкой ерунды, случившейся со мной за прошедшие недели.

Я просила его познакомить меня со сводными братьями, но он под разными предлогами откладывал, уклонялся. Его новая жена часто болела, и он не хотел тревожить ее своим прошлым. Он говорил, что ей бывает хорошо и спокойно только внутри раковины «здесь и сейчас». Любое дуновение из «раньше» или «потом», из «всегда», «везде» ранит ее и заставляет захлопывать створки.

Однажды я решила спросить отца о далеком «раньше».

– Пап, а зачем ты сознался маме тогда? Промолчал бы –



и жили бы мы одной семьей по-прежнему.

– Я сам об этом часто жалел, – сказал он, помолчав. – И думал: почему? Может быть, это происходит потому, что в каждом мужчине, даже самом мирном, живет инстинкт воина: таиться от врагов. И этот инстинкт сохраняет силу и в перевернутом виде: «Раз я таюсь, значит, передо мной враг». А как можно любить врага? Помнишь библейского Самсона? Ведь Далила трижды выпытывала у него тайну его силы. И трижды он благоразумно обманывал ее. Но не выдержал наконец, сознался. Потому что хотел любить ее, а не враждовать. И был ослеплен врагами.

Этот разговор врезался мне в память иглой печали. «Раз я должна вечно таиться от всех, значит, я никогда не смогу полюбить», – думала я.

И с этой печалью я так и жила, пока не встретила Додика. Или нет: еще до Додика была другая важная встреча – курсовая работа о Герцене. Я прочла гору книг и статей о нем. И постепенно бронзовый блеск славы тускнел и из-за бюста на библиотечной полке вырастал живой, измученный своими страстями и идеями человек. И конечно, я не могла удержаться – написала длинное и горькое письмо Александру Ивановичу.

# ПИШУ ГЕРЦЕНУ

Дорогой и бесконечно уважаемый Александр Иванович!

Если бы мне выпало жить с Вами в одно время, я бы, наверное, писала Вам восторженные читательские письма, вкладывала в них засушенный лепесток розы, душила французскими духами, украшала вензелями с пробитым сердцем. Или, с несвойственной мне отчаянностью, ездила взад-вперед между Лондоном и Петербургом, тайно провозя в сундуке с двойным дном пачки «Колокола» в одну сторону и рукописи Ваших анонимных российских корреспондентов – в другую.

Но судьба разделила наши жизни доброй сотней лет. И сегодня мне хочется написать Вам совсем о другом. Догадываюсь, что мое письмо может огорчить Вас, и заранее прошу простить меня. Но речь идет о таких важных для меня вещах – я должна высказаться.

К лету 1852 года волна несчастий и потрясений, преследовавших Вас с отъезда из России, должна была затопить холодом, отчаянием, горем даже такое жизнерадостное сердце, как Ваше. Судя по всему, так и произошло. Гибель сына и матери в морской пучине, крах революционных надежд – столь дорогих Вам! – во всей Европе, смерть любимой жены и тягостная любовная распря, из которой Вам видел-

ся порой единственный возможный выход: убить соперника, убить собственными руками. Однако даже этот выход из пещеры тоски был закрыт для Вас: ведь Вы поклялись умирающей жене отказаться от мести ради детей.

Обычно смерть одного из трех участников любовного треугольника приводит драму к концу. Но в Вашем случае распря продолжалась, постепенно переходя в фарс, в гротеск. Ваш соперник, немецкий поэт Гервег, засыпал Вас безумными письмами, в которых угрозы самоубийства перемежались вызовами на дуэль. Но поединок – дело чести. Вы защищаете свою честь и «даете удовлетворение» противнику. Ни в коем случае не хотели Вы признать Гервега человеком чести, дать ему удовлетворение. Гордость Ваша была уязвлена, душа измучена, и, может быть, поэтому Вы избрали такой странный способ возмездия – третейский суд.

На что Вы рассчитывали?

Ваши друзья, известные в Европе писатели и революционеры, которым Вы рассылали письма с призывом принять участие в третейском суде, были в растерянности. Они не понимали, чего Вы хотели от них. Ведь на суде принято выслушивать обе стороны. Вы же, на самом деле, требовали не суда, а *общественного трибунала*, утверждающего Ваш приговор: Георг Гервег – законченный подлец, лжец и развратник, которому нет места среди порядочных людей.

Конечно, из затеи с третейским судом ничего не вышло. Но если бы такой суд состоялся, я бы хотела выступить на

нем в качестве адвоката Гервега. Да, бесплатно и бескорыстно, только потому, что тяжба в этом деле вскипает вокруг конфликта необычайной важности – по крайней мере, для меня.

Я бы обратилась к суду с такой примерно речью:

– Господа присяжные и судьи! Прежде всего мы должны уяснить себе смысл обвинения, предъявленного моему подзащитному. В чем обвиняет его оскорбленный истец, господин Герцен? В том, что он, господин Гервег, влюбился в жену господина Герцена и та ответила ему взаимностью? Но такие истории происходят повседневно и повсеместно и ни в одной цивилизованной стране преступлением не считаются.

Господин Герцен прекрасно это знает, поэтому и хотел бы судить своего соперника не уголовным судом, а моральным. Ему представляется, что нравственный кодекс, исповедуемый им самим, всем хорошо известен и понятен, что сам он чист перед этим кодексом, а мой подзащитный как раз и является его злостным нарушителем, а посему подлежит осуждению и наказанию полным изгнанием из мира людей чести.

Что же представляет собой этот кодекс?

Давайте представим себе, что господину Герцену удалось стать главным законодателем в Республике Порядочных Людей. И что его нравственный кодекс сделался основным законом этого государства. Тогда у вас не останется иного выхода, как судить моего подзащитного по новому закону. Все статьи и положения его, видимо, могут быть легко уяснены

из писаний, речей и поступков законодателя Герцена. Раз он призывает судить моего подзащитного со всей строгостью, значит, себя он считает чистым перед новым законом. Мы знаем яркость его литературного таланта, знаем его стремление оставаться искренним и правдивым в выражении своих чувств. Наверное, нам не составит труда уяснить себе свод правил, выработанный им для подданных Государства Порядочных Людей.

В рассматриваемой коллизии клубок сплетается из противоборства трех чувств: чувства супружеского долга, чувства дружбы, чувства романтической любви.

Многие знаменитые писатели касались этой мучительной темы. У Гёте Вертер, влюбившись в жену друга, кончает самоубийством. Онегин не испытывает особой дружбы к мужу Татьяны, но Пушкин заставляет свою героиню отказаться от любви во имя супружеского долга. Да и у самого Герцена в повести «Кто виноват?» блистательный Бельтов, следуя примеру Онегина, вынужден уехать в дальние края, когда его возлюбленная выбирает верность чахлому и нелюбимому супругу. Заметим, что во всех трех произведениях сердца героев разбиты, надежды на счастье испаряются.

Однако это в литературе. А в реальной жизни?

Начнем с того, что и сам господин Герцен, и его супруга, Наталья Александровна, были внебрачными детьми. Их отцы были богатыми московскими барями, имевшими множество любовниц. Могли ли их дети всерьез воспринимать раз-

говоры о «святости брачных уз»? Кроме того, Иван и Александр Яковлевы были родными братьями, так что Герцен фактически женился на кузине, что уже было нарушением правил, установленных православной церковью. Венчались они почти тайно, без благословения родителей.

Пылкое чувство к двоюродной сестре разгоралось постепенно, когда Герцен был выслан в далекую Вятку. Их переписка полна нежных признаний, страстных призывов, надежд на счастье впереди, мечтаний о нравственном самосовершенствовании. Параллельно господин Герцен заводит роман с женой местного чиновника, человека старого и больного. Вот как он описывает в книге «Былое и думы» свои чувства тех лет:

«Меня стало теснить присутствие старика, мне было с ним неловко, противно. Не то чтоб я чувствовал себя неправым перед граждански-церковным собственником женщины, которая его не могла любить и которую он любить был не в силах, но моя двойная роль казалась мне унижительной: лицемерие и двоедушие – два преступления, наиболее чуждые мне. Пока распахнувшаяся страсть брала верх, я не думал ни о чем; но когда она стала несколько холоднее, явилось раздумье».

Итак, мы видим, что по кодексу господина Герцена брак – пустая формальность и все должна решать любовь. Если она есть, союз двоих свят и нерушим, если любовь захирела, супруги получают право вступить в новые связи.

Упоминаемая в этом отрывке ненависть к лицемерию – не пустые слова. Жажда быть искренним с любимым человеком доходит у господина Герцена до того, что он в какой-то момент пишет возлюбленной Натали о своем романе с чиновницей, к тому времени уже овдовевшей. И Натали не впадает в отчаяние, не осыпает его упреками ревности. Нет, она готова уйти в тень, готова даже принять жизнь втроем. Ответное ее письмо пронизано мыслями о том, как сохранить благородство и достоинство в возникшей ситуации.

«Ежели бы Медведева забыла тебя, была бы счастлива, тогда бы мы не должны были мучиться и томиться *пятном*... Но она несчастна, любит тебя и, может быть, надеется, что ты женишься на ней.

*Я была бы все та же, та же любовь, то же блаженство внутри, а наружно – кузина, любящая тебя без памяти. Я бы жила с вами, я бы любила ее, была бы сестрою ее, другом, всю бы жизнь положила за ее семейство, внутри была бы твоя Наташа, снаружи – все, что бы она желала».*

Герцен, женившись на Натали, не оставлял заботами Медведеву и ее детей, старался помочь им. Но это – лишь из чувства долга, по доброте души. Главная же жизнь текла там, где цвела любовь. Интенсивность душевных прикосновений у Герцена и Натали была так остра, что все остальные формы человеческих отношений порой казались им не столь важными – вторичными. Любовь и дружба – вот две святыни в Республике Герцена. Когда его, уже женатого, навещает лю-

бимый друг Николай Огарёв, тоже с молодой женой, их ликование переходит в настоящий экстаз. «Мы инстинктивно, все четверо, бросились перед распятием, и горячая молитва лилась из уст, – пишет Герцен в письме. – Это было венчание сочетающихся душ, венчание дружбы и симпатии».

Все это необходимо помнить, господа присяжные, когда мы начнем всматриваться в драму, разыгравшуюся позднее, уже в Европе, между двумя супружескими парами – Герценов и Гервегов.

Их встреча произошла в Париже, после отъезда Герцена с семьей из России. Гервег к тому времени имел ореол одного из ведущих немецких поэтов и смелого революционера. В 1844 году его удостоил аудиенции прусский король, который сказал ему: «Я уважаю и оппозицию, если в ней есть талант и искреннее убеждение». Весной 1848 года несколько отрядов немецких политических эмигрантов попытались перенести Французскую революцию на территорию Германии. Гервег с женой присоединился к одному из отрядов и чудом спасся после разгрома.

Его репутация была очень высока и среди русских. Огарёв познакомился с ним во время поездки по Европе, превозносил его перед Герценом и дал ему рекомендательное письмо к нему. Тургенев в письмах из Парижа называет его своим другом. Бакунин был свидетелем на свадьбе Гервега в Цюрихе. Позднее он писал о нем: «Гервег – человек чистый, истинно благородный, с душой широкой, человек, ищущий



истины, а не своей корысти и пользы». Да и сам Герцен начиная с лета 1848 года обращается с Гервегом как с ближайшим другом. А. К. Толстой переводил его стихи:

Хотел бы я угаснуть, как заря,  
Как алые отливы небосклона;  
Как зарево вечернее горя,  
Я бы хотел излиться в Божье лоно.

Я бы хотел, как светлая звезда,  
Зайти, блестя в негаснущем мерцании,  
Я утонуть хотел бы без следа  
Во глубине лазурного сиянья.

Немецкий поэт и его жена Эмма постоянно бывают в гостях у Герцена, обе семьи часто путешествуют вместе. «Я в истинно дружеских отношениях только с Гервегом и больше ни с кем», – пишет Герцен Грановскому в конце 1849 года. «Гервегу посвящена брошюра „La Russie“, первое произведение, которым Герцен дебютировал перед заграничной публикой. В середине декабря оба они совершили экскурсию в Церматт, к подножию Монтерозы», – сообщает летописец этой драмы П. Губер. А вот как описывает сам Герцен короткую встречу с Гервегом в Берне:

«Он бросился ко мне, как будто мы месяцы не виделись. Я ехал вечером в тот же день – он не отходил от меня ни на минуту, снова и снова повторял слова самой восторженной

и страстной дружбы... Он проводил меня на почтовый двор, простился и, прислонясь к воротам, в которые выезжает почтовая карета, остался, утирая слезы».

Гервег солидарен с Герценом не только в революционных взглядах и страстях, не только в художественных вкусах, но и во взглядах на брак. «Это гнусное учреждение, – пишет он Герцену, объясняя свои размолвки с женой, – есть лучший способ потерять возможность любить даже существо наиболее благородное, наиболее преданное, наиболее великодушное в целом мире, такую прекрасную и великую натуру, как Эмма».

Конечно, есть сильное несходство в характерах двух друзей. Наблюдательная Натали Герцен так объясняла мужу эту разницу:

«У тебя есть отшибленный уголок, и к твоему характеру это очень идет; ты не понимаешь тоску по нежному вниманию матери, друга, сестры, которая так мучит Гервега. Я его понимаю, потому что сама это чувствую... Он – большой ребенок, а ты совершеннолетний, его можно безделицей разогорчить и сделать счастливым. Он умрет от холодного слова, его надобно щадить... зато какой бесконечной благодарностью он благодарит за малейшее внимание, за теплоту, за участие».

О том же пишет Герцену и сам Гервег: «Счастливы вы, имея всегда голову на том месте, где она должна быть. Что до меня, то я ее иногда теряю и тогда ничего не понимаю».

более. Внешняя анархия распространяется и на меня самого. Я жду, что и с вами когда-нибудь будет то же. Еще есть цепи, которых вы не чувствуете и которые вы пожелаете разбить тогда. *Милый, милый друг*, все, что я говорю здесь, быть может, очень глупо, но почувствуйте, по крайней мере, под этими неуклюжими выражениями тот же живой источник, из которого вы также любили утолять жажду».

В конце 1849 года Герцену было необходимо уехать в Париж по делам. Там он жил в квартире Эммы Гервег. Его жена и поэт оставались в Швейцарии. Видимо, в эти месяцы и произошло между ними то, в чем впоследствии Натали вынуждена была признаться мужу и про что он напишет: «Я хотел чашу выпить до дна и сделал ей несколько вопросов – она отвечала. Я чувствовал себя раздавленным; дикие порывы мести, ревности, оскорбленного самолюбия пьянили меня». Пока же между всеми четверьмя начинается напряженная переписка, исполненная упреков, мольб, призывов к пониманию и правдивости, обещаний великодушных жертв. Про письма Гервега к нему Герцен впоследствии напишет в своих воспоминаниях, что они «скорее были похожи на письма встревоженного любовника, чем на дружескую переписку. Он упрекает меня в холодности; он умоляет не покидать его; он не может жить без меня, без прежнего полного, безоблачного сочувствия; он прокликает недоразумения и вмешательство „безумной женщины" (то есть Эммы); он жаждет начать новую жизнь, – жизнь вдаль, жизнь с нами, –

и снова называет меня отцом, братом, близнецом».

И действительно, господа присяжные, мне хотелось бы, чтобы вы внимательно вчитались в отрывки из этих писем поэта Гервега.

«Поступайте как сочтете лучшим и не слишком огорчайтесь жалобами, которые вырываются из моего растерзанного сердца. Я не смею заклинать вас вернуться к нашим первоначальным планам, хотя я все еще верю в возможность гармонии и красоты в наших отношениях, которые могли бы послужить образцом для всего мира; но, по-видимому, ваше чувство подсказывает вам противоположное. Вы забываете меня – и самих себя – в Париже!..»

«Мой дорогой Ландри, Натали едет завтра (в Париж, в начале 1850). С одной стороны, я слишком люблю вас, чтобы искренно не радоваться этому. Она могла бы принести вам то утешение, которое вы могли бы найти здесь, если бы хоть немного ценили вашего „покойного близнеца". С другой стороны – стороны, конечно, левой, – это щемит мое сердце. Ваша жена была последним залогом осуществления наших возвышенных планов и образования того особенного мира, который теперь так жестоко рухнул...»

«Боже мой, жизнь моя кажется мне полной только с тех пор, как я встретил вас. И если я пишу вам, то иногда это имеет такой вид, как будто я пишу девушке, в которую влюблен. Я мщу за ненависть, которую питаю к человечеству вообще и в частности – к моим друзьям, мужчинам и женщи-

нам, которых мучаю своей любовью. Мне оскорблять вас?! Мне так необходима любовь, во мне столько огня, что я могу поместить его на проценты...»

«Самые наши различия сближали нас, и мы задевали друг друга некоторым образом только для того, чтобы засверкали искры. Вспомним разговор, который мы вели, как настоящие близнецы, в постели в Лозанне! Слезы, которые я невольно причинил тогда твоей жене и которые она мне так великодушно простила, доставили мне случай заглянуть в твою душу так, как я не заглядывал еще ни в одну человеческую душу».

Как мы должны все это понимать, господа присяжные? «Первоначальные возвышенные планы, образование особенного мира, гармония отношений, которая могла бы послужить образцом для всего мира»? «Разговоры в постели» – кого с кем? И жена каким-то образом тут же и отзывается на происходящее слезами? Не проступает ли здесь одна из тех комбинаций, которые описаны в книгах Генри Миллера и Анаис Нин?

Распутать переплетения любовных струн, пронизавших этот квартет, было бы по силам разве что Шекспиру, Гёте, Ибсену, Стриндбергу. Но так или иначе, в начале 1850 года из эпистолярных потоков и водопадов проступает примерно такая картина:

Герцен любит свою жену, питает дружеские чувства к Гервегу, не исключает жизнь под одной крышей с Эммой.

В него влюблены все трое.

Наталья Александровна любит обоих мужчин, ее роман с Гервегом то разгорается, то утихает, дружит и советуется с Эммой.

Эмма боготворит своего мужа настолько, что не ревнует его ни к Александру, ни к Натали и всем готова пожертвовать для его счастья.

И вот в этой ситуации Герцен делает шаг, который его самого будет впоследствии приводить в недоумение и растерянность. Высланный из Парижа весной 1850 года, он едет в Ниццу, снимает там большой дом и поселяется в нем со своей семьей *и с семейством Гервегов!* Платит за все он, потому что отец Эммы – главный поставщик денежных средств – к тому времени разорился и она вынуждена изворачиваться изо всех сил, чтобы обожаемый муж не заметил подступающей нищеты.

Господа присяжные! В каком обмане, в какой нечестности может господин Герцен упрекать моего подзащитного? Разве мой подзащитный обманом проник в дом Герцена, в его семью? Герцен радушно приглашает Гервегов жить в его доме – разве не могли, не должны они были истолковать этот поступок как согласие на осуществление давно витавших в воздухе планов жизни вчетвером?

Сам Герцен даже много лет спустя не может дать вразумительного объяснения своих мотивов и действий.

«Зачем же я-то с Натали именно ехал в тот же город? Во-

прос этот приходил мне в голову и другим, но, в сущности, он мелок. Не говоря о том, что куда бы я ни поехал, Гервег мог также ехать, но неужели можно было что-нибудь сделать, кроме оскорбления, географическими и другими внешними мерами?»

Помилуйте – при чем здесь география? Одно дело – оказаться в том же самом городе. Другое дело – поселить у себя в доме чужую семью. Я не исключаю даже, что господином Герценом двигала этакая бравада: «Вот как я не боюсь соперника – пускаю его жить под одной крышей со мной и с моей женой!»

Отчего же не сложилась жизнь в Ницце, что привело к распаду квартета?

Как уже было сказано, без помощи кого-нибудь из великих драматургов мы не сумеем распутать до конца этот клубок. Но теперь уже старыми классиками нам не обойтись. Тут закручено так, что надо звать на помощь Теннесси Уильямса, Ингмара Бергмана, Эдварда Олби. По крайней мере, сам Герцен так описывает ситуацию в доме:

«Недели через две-три после своего приезда Гервег принял вид Вертера в последней степени отчаяния... Жена его являлась с заплаканными глазами – он с нею обращался возмутительно. Она приходила часы целые плакать в комнату Натали, и обе были уверены, что он не нынче-завтра бросится в море или застрелится. Бледные щеки, взволнованный вид Натали и снова овладевавший ею тревожный недосуг,

даже в отношении к детям, показал мне ясно, что делается внутри... Все быстро неслось к развязке».

Не исключено, что бурное воображение Гервега создало в его голове иллюзию, будто Герцен готов уступить его любовным домогательствам. Увидев же полное равнодушие, а скорее всего – даже отвращение Герцена к однополый любви, впал в отчаяние. Возможно, не имея других средств воздействовать на Герцена, Гервег пытался как-то вовлечь Наталью Александровну, играл на ее чувстве любви и сострадания к нему. Атмосфера в доме нагнеталась, делалась невыносимой.

В конце концов, через полгода совместной жизни, Герцен потребовал, чтобы Гервеги покинули его дом.

Эмма сделала последнюю попытку. Она явилась к Герцену и умоляла его переменить свое решение. «Нежная организация Гервега не вынесет ни разлуки с ней, ни разрыва с вами... – говорила она. – Он плачет о горе, которое он нанес вам».

Герцен был непреклонен, и тогда она заявила, что он больше не тот в ее глазах, кого она «так уважала, считала лучшим другом Георга.

– Нет, если бы вы были тот человек, вы расстались бы с Натали – пусть она едет, пусть он едет – я осталась бы с вами и с детьми здесь».

Герцен только расхохотался в ответ.



Разрыв казался окончательным, но облегчения он никому не принес.

Гервег писал страстные письма Герцену – тот возвращал их не читая. Тогда отвергнутый поэт стал писать Наталье Александровне. Теперь он уже грозил не только самоубийством. Он обещал зарезать собственных детей и в их крови явиться к Герцену. Но вдруг менял тон, умолял помирить его с Герценом, даже взять в гувернеры к детям.

Да, господа присяжные, после разрыва мой подзащитный совершил много поступков, не имеющих оправдания. Но это была уже слепая ярость отвергнутого и – как он считал – обманутого влюбленного. Он рассказывал всем знакомым о происшедшем, причем объяснял дело таким образом, будто жестокий Герцен угрозами держит при себе жену, не отпускает к любимому, то есть к нему.

Герцен некоторое время воображал, что их семейная драма укрыта тайной от посторонних, что все участники ее поведут себя по исповедуемому им Кодексу Порядочных Людей. Он пришел в ужас, когда знакомый русский эмигрант спросил, почему он не дает своей жене ту свободу, к которой призывал в своих статьях и книгах. Герцен пишет отчаянное письмо своей Натали:

«28 июня, 1851. Женева. Кафе.

Что со мною и как, суди сама.

Он все рассказал Сазонову. Такие подробности, что я без дыхания только слушал. Он сказал, что „ему жаль меня, но

что дело сделано, что ты упросила молчать, что ты через несколько месяцев, *когда я буду покойнее*, оставишь меня..."

Друг мой! Я не прибавлю ни слова. Сазонов меня спросил, что это, будто ты больна. Я был мертвый, пока он говорил. Я требую от тебя ответа на последнее. Это все превзошло самые смелые мечты. Сазонов решительно все знает... Я требую правды... Сейчас отвечай; каждое слово я взвешу. Грудь ломится... И ты называешь это связным развитием!

Еду завтра в Фрейбург. Так глубоко я еще не падал. Письмо ко мне в ответ на это адресуй в Турин.

Неужели это о тебе говорят? О, Боже, Боже, как много мне страданий за мою любовь... Что же еще... Ответ, ответ в Турин!»

Письмо подействовало – Натали примчалась к мужу в Турин, и они пережили то, что Герцен впоследствии называл «вторым венчанием». Девять месяцев спустя оно было «увенчано» рождением их последнего ребенка. Однако, похоже, эти летние месяцы 1851 года были последним светлым пятном в жизни Герцена. Дальше несчастья сыплются на него, как на короля Лира. В ноябре его мать и сын гибнут в кораблекрушении. Весной 1852 года, вскоре после рождения ребенка, умирает Натали. И все это происходит под аккомпанемент отчаянных воплей, испускаемых моим подзащитным.

Но теперь это уже только вопли злобы.

Оказалось, что Гервег умеет ненавидеть так же сильно,

как любить. Клевета в письмах и разговорах, нелепые обвинения и оскорбления, два вызова на дуэль. Злобная радость по поводу гибели сына и матери Герцена. Обнародование в печати интимных подробностей драмы.

Да, Гервег не покончил с собой, как Вертер (хотя в какой-то момент они с Эммой затеяли умерить себя голодом), не уехал в дальние края, как Онегин или Бельтов. Он ведет себя как обуянная яростью, брошенная – выброшенная из дома! – возлюбленная. Угроза зарезать собственных детей – чем не Медея?! Он бежит из-под нашего суда, превращаясь в персонаж трагедии – и я снимаю адвокатскую мантию, не берусь дальше защищать его, потому что в трагедии важен лишь тот суд, который герой вершит над собой. Но его обвинитель пытается остаться на своем прокурорском месте, он призывает именно к судебной расправе над своим врагом – и ему мне есть что возразить.

Господин Герцен, дорогой – измученный – одинокий Александр Иванович!

Не согласитесь ли Вы рассказать суду о том, что произошло с Вами четыре года спустя после смерти Вашей жены? Как приехал к Вам в Лондон любимый друг Огарёв со своей новой женой, с какой радостью Вы приютили их – обнищавших, бесправных беглецов – в своем доме? Вот кому Вы могли излить свое сердце, вот кто готов был слушать ночи напролет о пережитых Вами горестях, оскорблениях, изменах друзей, клевете врагов.

И конечно, с особым вниманием слушала Вас жена Огарёва, Наталья Алексеевна, урожденная Тучкова. Ведь она не просто была знакома с покойной Натали. Когда они встретились в 1848 году, между ними загорелась такая нежная дружба, которая возможна только между близкими натурами. Натали писала юной, тогда еще незамужней, Тучковой проникновенные письма, называла ее своей Консуэллой. (Жорж Занд царила в те годы в сердцах читательниц романов.)

«Встреча с тобой внесла столько прекрасного в мою душу, сделала меня настолько лучше... Да, да, не смейся этому, я не в припадке делать комплименты, а если это и припадок, так он так долго продолжается, что я признаю его за нормальное состояние, и так я повторяю тысячу раз, что твое явление, чувство, возбужденное тобою во мне, дало мне много наслаждения; часто, среди самого смутного состояния, тяжелого – воспоминание о тебе успокаивает, возвращает силы, и я с новой энергией принимаюсь жить...»

(Кстати, уже из этих писем видно, насколько Ваша жена жаждала любви и нежности в те годы, как была обделена ею, пока Вы барахтались в океане Французской революции. Немудрено, что сердце ее рванулось навстречу Гервегу!)

Нормы и правила церковного брака значили для обеих Наташ очень мало. Как и Натали, Тучкова впоследствии убежала к возлюбленному без разрешения родителей. Хуже того: Огарёв в то время был женат, жена его с любовником проживала в Париже огарёвские деньги, развода не давала, так

что официальный брак был невозможен.

Легко себе представить, дорогой Александр Иванович, какое впечатление должна была произвести на вас – измученного одиночеством вдовца – поселившаяся рядом молодая, очаровательная женщина, многими чертами напоминавшая, наверно, покойную жену. Легко представить, что очень скоро между вами запылал роман. Наталья Алексеевна сразу созналась мужу, тот благородно готов был уйти в тень и просил лишь год отсрочки, чтобы влюбленные могли проверить силу и подлинность своего чувства. Увы, отсрочка была невозможна, потому что уже в следующем году родилось первое дитя этой любви, дочка Лиза, а еще несколько лет спустя – близнецы, *Леля-boy* и *Леля-girl*.

Союз с Гервегами продержался недолго. Союз с Огарёвыми обещал, казалось, счастье всем троим. Жили вместе, в одной квартире, со страстью работали над выпуском «Колокола» и «Полярной звезды». Дети Тучковой называли Вас дядей, а папой – Огарёва. В качестве утешения Огарёв нашел в лондонских низах себе подругу, с незаконным сыном, буквально подобрал ее в кабачке и принялся «спасать», исправлять, «выводить на светлый путь». Поддавалась она плохо, профессора Хиггинса из Огарёва не получилось. Но Вы и здесь оставались моралистом и постоянно напоминали Тучковой вашу с ней общую вину, говорили, что это ваш союз «толкнул Огарёва пасть столь низко».

Так или иначе, ваша совместная жизнь продолжалась ни

много ни мало – восемь лет. Судя по всему, характер Огарёвой-Тучковой оказался нелегким. Вы писали о ней в одном из писем бывшему в отъезде Огарёву:

«От диких порывов любви, до свирепых слов ненависти – все сумбур. Сегодня ужас и желание, чтобы я спас ее и Лизу (видимо, легализовав отношения. – С. Д.), готовность звать детей, ехать в Кольмар, Лозанну... а завтра неуважение ко мне, наискорейшие сборы в Россию, распоряжение, как быть с Лизой в случае смерти, и обвинение во всем меня, тебя. Я не отвечаю, говоря, что и это принимаю за такое же невольное, патологическое состояние, как твои обмороки., только, что ты падаешь телом, а она – умом. Через час – слезы и оттепель...»

Признаюсь откровенно, что я в Ниццу еду как на казнь. Ни одной записочки, ни одного слова без яда... Внутри и страх, и боль, и злоба. Я за полгода тихой жизни, одинокой, отдал бы пять лет...»

Огарёва-Тучкова и сама сознается в своих воспоминаниях, написанных уже после Вашей смерти, что обдумывать и контролировать свои поступки было не в ее характере. «Я не глупа, а между тем я никогда не обдумывала своих поступков, даже самых важных; напротив, чем серьезнее, важнее были мои решения, тем менее я их обдумывала – я подчинялась своему чувству, а не разуму, мне казалось, что действовать по разуму, обдумывать – холодно, бессердечно».

Видимо, она была одной из тех страстных натур, которые

умеют любить, но могут измучить своей любовью сильнее, чем враждой. Никто из Ваших детей от первого брака не полюбил ее, постоянные ссоры и взаимная неприязнь привели к тому, что она, в конце концов, уехала из Лондона. Но и ее трудно винить. Правда, что Ваша четырнадцатилетняя дочь Ольга однажды нарочно наступила каблуком на лицо одному из близнецов, игравших на полу? И что, играя со своей собакой, она незаметно зажала в руке иглу, на которую собака наткнулась языком? Мне трудно поверить, что Тучкова выдумала эти эпизоды лишь для украшения своих воспоминаний.

Ваши близнецы прожили всего три года и умерли в Париже от дифтерита. Мать потом винила себя, писала о каких-то своих ошибках, мечтала умереть. Но, постоянно думая и говоря о смерти, она пережила всех близких и умерла, когда ей было 84 года.

Однако согласитесь, Александр Иванович, что, кроме тяжелого характера, были у нее и другие причины ощущать себя несчастной. Ведь Вы отказывались легализовать Ваш брак с ней, говорили, что это «внешнее», ненужное. А каково ей было нести двусмысленную роль, на которую Вы ее обрекли? Каково было расти дочке Лизе, нося фамилию Огарёва и зная, что на самом деле ее отец – Вы?

Понимаю, что Вами мог двигать простой страх утраты состояния. Ведь у Вас перед глазами был живой пример – первая жена Огарёва не только бросила его, но также ухитрилась

разорить судебными процессами. Дать права законной жены такой непредсказуемой женщине, как мадам Огарёва-2, означало бы поставить под удар не только свою судьбу, но и судьбу своих детей от первого брака.

И все же, и все же...

Когда я всматриваюсь в историю Вашей семейной жизни, дорогой Александр Иванович, мне начинает порой казаться, что Вы подчиняли ее вовсе не тому расплывчатому Кодексу Порядочных Людей, о котором речь шла в начале этого письма, а чему-то другому. Это покажется смешно и нелепо, но мне сдается, что Вы подсознательно проводили некий эксперимент, пытаясь подчинить отношения с обеими женами дорогим Вам лозунгам Французской революции. «Либерте, эгалите, фратерните потерпели поражение во всей Европе – так вот я же хотя бы в стенах своего дома дам им возможность утвердиться и принести всем долгожданное счастье».

Но помилуйте – какое же тут Эгалите, когда у Вас – пятьсот тысяч капитала (злой Нечаев даже обзывал Вас за это «тунеядцем»), а у Гервега и Огарёва – одни долги? Почему знать: были бы у Гервега деньги, может быть, он и переманил бы от Вас Наталью Александровну, увез с собой. Сумел бы Огарёв сберечь хоть часть состояния, так поселился бы с женой в Лондоне отдельно, и не ушла бы она от него в постель к лучшему другу.

А Либерте? Конечно, свободная любовь свободной женщины слаще простого исполнения супружеских обязанно-



стей. Ваш страх сделаться семейным тираном понятен и благороден. И в пору сердечной бури и смуты Вы продолжаете говорить своей Натали: «Решай сама, ты свободна выбирать – я или он. Только не мучай меня неизвестностью».

Но спросили Вы ее, нужна ли ей эта душу разрывающая свобода в такой момент? Да, она любит обоих – Вас и Гервега. За Вас – вся прожитая жизнь, в которой было столько счастья, дети, общие и дорогие воспоминания, друзья. За Гервега – сродство душ (которое Вы сами так любили восхвалять), порывистость, поэтичность, его нужда в поддержке и участии и дикий страх, что – отвергнутый – он покончит с собой. Спросите меня: хотела бы я такой свободы выбора? Да будь она проклята – ни за что! Я хотела бы, чтобы кто-то один – раз уж нельзя иметь обоих – схватил меня за руки, швырнул поперек седла, умчал и взял бы на себя ответственность за то, что произойдет дальше.

Но это – не для Вас. Вы все мечтаете, что бурление человеческих страстей можно залить ворванью Фратерните. А когда Ваше сердечное побратимство с Гервегом оборачивается долгим и мучительным кошмаром, Вы с яростью обрушиваете все обвинения на соперника – но только не на дорогой Вашему сердцу лозунг. (Ирония судьбы, проделки алфавита: в 30-томной *Encyclopaedia Britannica* Ваши с Гервегом портреты и жизнеописания оказались на одной странице.)

«Внутри и страх, и боль, и злоба» – и это Вы могли бы сказать, наверное, про любой год из последних двадцати лет

Вашей жизни. Иногда мне приходит в голову кощунственная мысль: а не послала ли Вам судьба эти мучения как предупреждение, как пророческий отблеск того кошмара, который начался в России после победы *Liberie, Egalite, Fraternite*? Не как наказание – но как иллюстрацию того, что приходит в жизнь людей, когда из нее удаляют ключевые – порой мучительные, но такие необходимые – разграничения: «мое – твое», «повелеваю – подчиняюсь», «родные – чужие», «можно – нельзя».

Ах, только бы не сделаться тираном для близких, только бы не наказывать и не приказывать, только бы не опуститься до роли «гражданско-церковного собственника», врага всех либерте. И вот дочь Ольга, которую Вы всегда выгораживали и защищали, вырастает коварной истеричкой. Дочь Ли-за при первой возможности удирает из дому, очертя голову кидается в роман с пожилым женатым человеком, кончает с собой. Обе жены истерзаны двусмысленностью своего положения, обе живут на грани нервного истощения. Вы состраждете им всем, ищите виноватых. И виноватыми оказываются предрассудки толпы, нехороший Гервег, политические реакционеры, буржуи, даже Вы сами – но только не *Liberie, Egalite, Fraternite*.

Через пятьдесят лет после Вашей смерти Ваши любимые лозунги победили, скверы и площади украсились Вашими бюстами, собрания Ваших сочинений заполнили библиотечные стеллажи. Но, проходя по бывшей Морской, которой бы-

ло присвоено Ваше имя, я невольно вспоминаю слова жившего здесь когда-то писателя – впоследствии такого же изгнанника, как и Вы: «И как могло случиться, что свет, к которому всегда стремилась русская интеллигенция, оказался светом в окошке тюремного надзирателя?»

Лозунги отмирают – остается лишь боль сердца. И странный, неожиданный отклик на Вашу боль нашла я недавно у другого изгнанника – не из страны, но из мира. Франц Кафка в своем дневнике записал: «Прочитал несколько страниц из „Лондонских туманов" Герцена. Не понимал даже, о чем речь, и тем не менее передо мной полностью возник образ человека – решительного, истязающего самого себя, овладевающего собой и снова падающего духом».

## 4. ДОДИК

Первый раз я его увидела в институтском буфете. Он стоял в очереди и читал книгу с формулами. Книга была большая, ему приходилось двигаться боком, а то бы обложка легла на голову стоявшего впереди. У него было Лицо коварного иностранца из кино. Если бы такое лицо появилось на экране, зрители сразу поняли бы: вот он – шпион, диверсант, отравитель рек, поджигатель заводов. Позже Додик рассказывал мне, что милиционеры часто останавливают его на улице и спрашивают: «Шпрехен зи дойч?» Ему приходится постоянно носить с собой паспорт и аспирантский билет.

Я стояла в очереди и подсчитывала, хватит ли у меня денег на бутерброд с сыром. Может быть, отказаться от супа? Или от котлеты? Бутерброд с сыром был лакомством, которое я могла позволить себе не каждый день. Диверсант с книгой уже стоял перед буфетчицей, тетей Зиной, и пальцем показывал сквозь стекло витрины. Она недоверчиво переспросила – он кивнул. Она удивленно поиграла бровями, но послушно полезла внутрь и – я не поверила своим глазам! – достала *всю* тарелку с бутербродами. Да-да – с сыром! Их было там десять или пятнадцать штук. Этот иностранный агент был заслан, чтобы отравить мне чудесный сентябрьский день. И денег у него полные карманы – видимо, за их шпионские дела платят неплохо. Не оставил ни одного! Мог-

да ли я не запомнить его после такого?

В следующий раз я оказалась в очереди впереди него. И, как ворона из басни, успела ухватить свой сыр. С торжеством унесла поднос на пустой столик в дальнем углу. Он опять забрал все, что оставалось, всю тарелку, прихватил еще стакан компота и, держа книгу под мышкой, направился в мою сторону. Сел, не спрося, за стол. Опер книгу о банку с горчицей. И принялся поглощать страницу за страницей, бутерброд за бутербродом. Он нащупывал их не глядя, откусывал, запивал компотом. Бегал глазами по формулам, перелистывал назад, заглядывал в оглавление. Вскоре рука его уже растерянно шарила по пустой тарелке. Но математические комбинации, похоже, были так увлекательны – он не мог оторвать от них глаз. Рука несколько раз возвращалась, принималась шарить впустую.

Мне стало смешно. И немного жалко этого рассеянного сыроеда. Он был похож на младенца, пытающегося нащупать бутылочку с молоком. И я инстинктивно и бездумно сделала нелепый материнский жест: подложила ему свой бутерброд. Он ухватил его, поднес ко рту, надкусил...

Только тут до него дошла несуразность случившегося. Тарелка ведь была пуста? Откуда же?..

Он оторвал глаза от книги. Посмотрел на мою руку. Потом на меня. Все понял. И сказал растерянно:

– Рука дающего не оскудеет... Но какой позор! Я пойду и сейчас же куплю вам другой.

Да, голос. С Додиком это был голос. С легким кавказским – нет, не акцентом, но с шелестом лавровых листьев, чайных кустов, виноградной лозы.

– Вы не можете ничего купить, – сказала я. – Сами ведь забрали сразу всю тарелку. Забыли?

– Это всё гены моих предков, – сказал он. – Они веками питались в своих горах хлебом и сыром. Я не виноват. Наследственность неодолима.

Какие горы? Да, Кавказ, но не тот, куда все ездят в отпуск, не черноморский, а тот, который ближе к Каспийскому морю. Нет, не грузины, не армяне, не азербайджанцы. Вы, наверное, и не слыхали про такой народ: таты. Нас всего тысяч двадцать, да и то сильно разбросаны. Язык? Считается, что корни уходят в древнеиранские, но современного персидского я не понимаю. Алфавит русский. Правда, я в горах прожил только до десяти лет. Помню наших овец, речку Самур – холоднющая! – и как меня бабка пугала, чтобы я не купался один, а то унесет в Каспийское море. А потом учитель открыл у меня математические способности и уговорил родителей послать в специальную школу в Баку...

Как-то незаметно мы оказываемся на улице, идем по набережной Мойки. Последние прогулочные шлюпки качаются на осенней волне, раздвигают носами желтые листья, машут нам мокрыми веслами. Мой сквознячок в горле набирает силу, но как-то непривычно – без паники. Почему-то мне кажется, что вот – впервые – я могу не спешить. Что под

ногами не ускользающие бревнышки, а прочный, надежный мост. Что этот человек не скажет и не сделает ничего такого, что могло бы порвать возникающую между нами дугу. Что моя заветная свечка загорелась и будет гореть долго-долго. Что запаса воска в ней – хоть до конца жизни.

Мы сворачиваем на Невский, доходим до Казанского собора. Он рассказывает, как их на первом курсе водили туда в Музей истории религии и как ему после этого несколько ночей снились орудия пыток инквизиции. Воронка для вливания в горло кипятка – вот ужас! Попробуй тут не сознаться, не перейти в правильную веру. А если без пыток, то люди сохраняют веру отцов. Даже в их маленьком народе есть христиане, есть мусульмане, но больше всего иудаистов. Да, и его семья тоже. Он назван в честь царя Давида. Суровый, кстати, был правитель, жалости не знал. Хочется верить, что все свои чудные псалмы он написал еще в юности, до того как стал полновластным тираном.

Прощаясь, он спрашивает, что я делаю завтра. Но тут же хлопает себя по лбу: завтра у него волейбол! Ответственный матч с Горным институтом. А не хотите посмотреть? Приходите. И потом пойдем опять погуляем.

День, ночь, утро, две лекции, семинар – все пролетает как во сне. И вот я в спортзале, на скамьях для болельщиков. Не так уж много есть видов спорта, которые я соглашусь смотреть. Бокс не выношу. Любоваться рассеченными губами, подбитыми скулами, вымазанными кровью и потом, – нет уж,

увольте. Когда хоккеист со стуком врезается в деревянный барьер, у меня от сострадания перехватывает дыхание. Каждый удар футбольной бутсы по чужой ноге отзывается болью в селезенке. Если по телевизору показывают автомобильные гонки, я кричу маме: «Выключи немедленно!» Еще недоставало мне увидеть, как они врежутся друг в друга, или загорятся, или вылетят, кувыркаясь, за бетонный барьер.

Другое дело, например, теннис. Или пинг-понг. Или волейбол. Соперники разделены сеткой – вот это прекрасно! В этом есть что-то от рыцарского турнира, от старинной дуэли со строгими правилами. К барьеру! Но никакого рукоприкладства.

Наша команда в синих майках, горняки – в красных. Шестерка справа, шестерка слева. Сгрудились, как заговорщики, шепчут последние советы, пароли, условные знаки. Разбежались по местам. Свисток. Подача. Мяч сильно летит от красных к синим. У самого пола, в падении, Додик принимает его, посылает свечкой наверх. Вторым касанием, я знаю, другой игрок «навесит» мяч над сеткой для ответного удара.

Но кому?

Трое синих бегут на сетку, каждый делает вид, будто бить будет он.

Красные не знают, кого блокировать, мечутся на своей половине. Мне жалко, что Додик упал, принимая подачу, пожертвовал собой.

Синие один за другим подлетают над сеткой, взмахивают



впустую рукой.

«Навешивающий» все медлит, будто выбирая между ними. И вдруг посылает мяч в дальний конец, к самому столбу.

Но там же никого нет!

Мяч висит секунду в пустоте, потом в недоумении начинает падать.

И тут!.. Откуда? Когда он успел вскочить? добежать?

Додик вылетает рядом со столбом, как синяя ракета, – замах его руки почти не виден, неуловим, слышен только звонкий удар, – и трое или четверо красных валятся на пол в безнадежной попытке достать из дальнего угла убийственный мяч.

Восторг раздувает мне сердце. О, Додик! О, мой царь Давид! О, кавказский витязь, возвращенный на сыре и хлебе и ключевой холодной воде! И слово «мяч» так близко к слову «меч». Так их! Круши! Справа налево! Косым и прямым!

Красные уже понимают, *кто* их главный противник. Они следят только за ним, не дают остальным обмануть, отвлечь на себя. Вот они высмотрели, угадали момент, выпрыгнули вдвоем, втроем. Над сеткой – забор из рук. Не пробить, не обойти.

А Додик?

Он вместо удара берет и кончиками пальцев бережно подталкивает мяч. Так, чтобы тот только-только перевалил через защитный забор и шлепнулся на паркет за красными спинами, у самой сетки. Свисток, очко засчитано, счет растет!

На скамьях болельщиков – вопли восторга, смех, аплодисменты. У меня к концу матча ладони болят так, словно я сама все это время лупила ими по мячу. Победа, победа! – сладок твой сок.

Потом мы сидим в кафе, в знаменитом «Лягушатнике» на Невском проспекте. Неоновые радуги за окном отсвечивают на полированных столиках, на зеленом плюше сидений, дробятся в стекле бокалов. Я была здесь раньше только один раз, ушла без гроша в кармане. А мой царь Давид? Мало того что высок, прекрасен, ловок, силен, талантлив – он еще и богат! Откуда?

– Урюк, – объясняет он с усмешкой. – У родителей, кроме овец, двадцать абрикосовых деревьев. Каждое дает несколько мешков в год. Брат мой учиться не хочет, возит сушеные абрикосы и в Москву, и в Прибалтику, и сюда, продает на базаре.

– А разве это разрешено? Ведь могут арестовать за спекуляцию.

– В России это называется спекулянт, а у нас до сих пор по-старинному: купец. Конечно, нужно знать, кому из начальства следует заплатить и сколько, кого одарить и чем. В конце концов, сухофрукты всем нужны. Говорят, в урюке много витамина А и железа. Милиционерам тоже полезно. Брата до сих пор не обижали.

Наш роман распускается медленно, как цветок абрикоса.

До первого поцелуя прошел месяц. Легенду о безудержно страстных кавказцах Додик разрушил небрежно и даже рассеянно. Правда, для нежностей у нас оставались все те же холодные парадные, скамейки в парке, темные кинозалы. Мать в том году повысили в должности, и она больше не работала в вечерние смены. У Додика была комната, которую он снимал у дальней родственницы своего отца, но туда он приводить меня стеснялся.

Я наслаждалась этой неспешностью, такой непривычной для меня. Упивалась каждым его звонком, каждой поздравительной открыткой, каждым букетиком цветов. Дождалась! И плюс ко всему купалась в волнах надежды.

А вдруг я – нормальная?

Вдруг все прежнее было просто судорожным поиском, а теперь и мне досталось обещанное книгами и романсами: ОН, единственный, когда никто-никто другой не нужен? Но тогда почему же я не схожу с ума, если он три дня подряд не звонит? Почему не дрожу от страха, что он вдруг отвернется, остынет, увлечется другой? Конечно, у него – как и у моей матери – было свое независимое Математическое королевство, куда он мог исчезнуть в любой момент, даже сидя бок о бок со мной в троллейбусе. Но разве мало я знала энергичных сверстниц, которые сумели бы расставить свои капканы именно на выходах из его волшебного-отвлеченного мира?

Потом начались наши походы в театры.

Богатый Додик покупал нам билеты чуть не каждую неде-

лю. Причем обязательно в ложу. Если спектакль нам не нравился, мы тихо покидали свои места и оказывались в полумраке миниатюрной прихожей, с зеркалом и плюшевым диванчиком. И что тут начиналось! Длинные пальцы волейболиста, казалось, умели проникнуть – добраться – всюду, куда хотели, не снимая с меня одежды. Я взлетала, как мяч над сеткой, а потом падала в блаженную бездну. Только шум аплодисментов в зале давал нам знак, что пора прерваться, привести себя в порядок и бежать в туалет – смыть холодной водой жар со щек.

Однажды, уже весной, наше прощальное объятие в моем парадном затянулось. Он держался как-то неловко, боком, и я даже подумала, не расшибся ли он на последнем матче. Вдруг он стал вырываться, пятиться от меня, отворачивать лицо. Тогда я догадалась, притянула его обратно. Просунула ладонь между нашими животами, скользнула ниже. «Сок продолжения жизни остановить нельзя», – со вздохом говорила одна подруга, мастер житейских сентенций. И тогда я – именно я! – наглая нарушительница правил, чудовище нескромности, забыв гордость и стыд, прошептала в уроченную на мое плечо голову:

– А не пора ли нам?..

Мы все же дождались конца весенней сессии и поженились, только сдав последний экзамен. Такие вот послушные ученики, студенты с доски почета, отличники боевой и эро-

тической подготовки.

## 5. СЫН

Любить себя – грешно. Непохвально. Называется себялюбие. Эгоизм. Но вот внутри тебя зарождается ребенок. Он – часть тебя. Он – это ты. Он – это ты, которую можно, разрешено любить. Упоительное чувство.

И все, что ты делаешь для себя, все мандарины, кефиры, ягоды, салат, огурцы, мед, – уже не просто твое обжорство и чревоугодие. О нет! Все это уже – для ребенка, ему на пользу, доброе дело, чуть ли не жертва. И в своей кооперативной квартирке, купленной на абрикосовые деньги, можешь выливать каждую полочку, украшать занавесками, увешивать стены фотографиями, обзаводиться дефицитной стиральной машиной – никто не осудит, даже не усмехнется.

А отношения с родной мамочкой! Куда подевались – исчезли – все замечания, попреки, наставления, презрительные усмешки? Только забота, только улыбки, только осторожные расспросы о самочувствии. Советы – если только сама спрошу, в гости – только с разрешения, к Додику – полное почтение, хотя выяснилось, что он и половины не прочел нужных книг.

Рожала легко, не боялась. Нет, книжку не читала, но тоже ухитрилась огорчить акушерку. Вдруг услышала ее возмущенный голос: «Эй, посмотрите на нее!

Да она ведь спит! Устроила себе тихий час. Ну-ка, просы-

пайся! Тут ведь не детский садик – роддом. Тут делом надо заниматься!»

Марик плакал, жмурил глазки, явно хотел обратно. «Чего я тут у вас не видел!» Но сосок нашел быстро, впился с хрюканьем. «Ага, это другое дело. Вроде ничего, вроде с вами можно водить компанию».

Говорить начал поздно, в два года. Но зато уж с такой страстью и убежденностью придумывал новые слова, что я, по примеру того же Корнея Чуковского, стала записывать за ним.

– Мама, почему люди вырождаются? Я, изумленно:

– Ну, не все ведь.

– А я?

– Нет, ты не выродился.

– Выродился, выродился!.. – Со слезами: – Мне няня сказала. Я выродился из тебя.

Суффикс «-ец» казался ему универсальной лингвистической отмычкой. Тот, кто кует железо, – кузнец. Кто идет в бой – боец. Кто поет песни – певец. Значит, и спортсмен, бегущий по дорожке, должен быть «беглец». А тот, кто курит, – наверняка «куреец». А красящий потолок – вовсе не какой-то дурацкий «маляр», а, конечно же, «красавец».

Жили на даче, я пошла в лес за грибами. Заблудилась, вернулась домой почти в темноте. Все волновались, ходили меня искать, аукались. Были счастливы, что нашлась. А трехлетний Марик сказал с укором:

– Какая ты заблудница.

Прозвище прицепилось ко мне, Додик до сих пор им пользуется иногда.

Все, что с Мариком происходит, он тут же переделывает в сказку:

– И вот повела мама этого мальчика погулять. И подходят они к лифту. А лифт тот был волшебный. Если скажешь волшебное слово, он поедет, а не скажешь – застрянет. Но мальчик знал волшебное слово. Он сказал «ах ты, вертихвостка» – и лифт сразу поехал.

Мы гуляем в садике. Появляется незнакомая девочка с няней. На ней белый берет и голубое пальтишко. Марик бубнит себе под нос:

– И увидели они в саду девочку, краше которой не было никого на всем свете. Но не знали, как ее зовут. И тогда мальчик стал звать ее: «Девочка, иди сюда! Иди, голубая, иди, белая!»

Я жарю картошку на кухне. Марик рядом играет с тряпичным клоуном.

– И вот пришли наши путники на кухню. А куда дальше идти – не знают. Мальчик и говорит: «Давай спросим дорогу у той женщины, которая жарит картошку на горизонте».

Я не могу сдержать смеха. Марик, не смущаясь, продолжает: «А на горизонте у них было очень весело».

Когда Марику исполнилось три, Додик сказал, что дальше тянуть он не может. Что родители его истомились, что это



просто жестоко и несправедливо — так долго не показывать им внука. В июне у него отпуск, и мы должны поехать. Я подчинилась. Хотя почему-то боялась этой поездки.

Поезд Ленинград—Баку тащился трое суток, и вагон горячел с каждым днем. У Додика был с собой географический атлас, он открывал его всякий раз, когда под колесами грохотал очередной мост, и сообщал мне название пересекаемой реки: Волхов, Вишера, Тверда, Ока, Медведица, Волга, Ахтуба, опять Волга, Терек...

В Дербент поезд пришел рано утром. На прохладном перроне нас встречали лейтенант и сержант с игрушечными танками на погонах. Улыбаясь, подхватили наши чемоданы, подвели к какой-то танкетке-самоходке. На ее гусеницах блестела роса. Я покорно взобралась в кабину, лейтенант подал мне спящего Марика, и мы покатили. По дороге Додик сквозь грохот объяснял мне тайну появления танкистов на нашем пути.

Оказывается, пятнадцать лет назад в этих краях разместилась танковая дивизия. И вскоре у танкистов завязалась крепкая дружба с деревней Ахтыр, где жили Додиковы родители. Начальник дивизии, генерал Самозванов, был страстным рыбаком. Ему очень понравилось ловить форелей в Самуре, а вечером пировать в Ахтыре. Вскоре у него запылал горячий роман с миловидной вдовой из этого села. Ахтыр стал для генерала воплощением земного рая, где можно бы-

ло отдохнуть от семейной рутины и тягот командирства. И ему очень хотелось отблагодарить ахтырцев за все приятные вечера и ночи, которые он проводил там.

Но что мог сделать танковый генерал для пастухов и садоводов? Защищать? Но от кого? Никакие враги не грозили им в ближайшем будущем.

Блестящую идею, выход, решение нашел младший брат Додика – Авессалом. Он сам отслужил в армии и знал кое-какие тайны, неведомые людям штатским. Например, он знал, что любая военная техника стареет, изнашивается и должна регулярно обновляться, чтобы наша армия могла отразить империалистического агрессора или прийти на помощь угнетенному народу в любой момент, в любой точке земного шара. В том числе необходимо было время от времени ставить на танки новые моторы. А куда девать старые? «Товарищ генерал, неужели в металлолом? Но они еще исправно гудят и могут прослужить на мирных работах немало часов, дней, лет».

Нет, даже Додик не знал, сколько мешков урюка, бараньих туш, сырных головок, арбузов и дынь получали офицеры танковой части за каждый состарившийся и списанный мотор. Спрашивать об этом значило бы принизить дружбу между армией и народом до какой-то вульгарной торговой сделки. Село Ахтыр слало дары земли танковым защитникам этой земли, а те слали ахтырцам ответные дары в больших ящиках из крепких досок. И только злые завистники

могли увидеть что-то незаконное во внезапно начавшемся процветании ахтырцев. У которых появилась своя мельница, чьи жернова крутил танковый мотор. И своя водонапорная станция. И своя подвесная канатная дорога для спуска бревен с лесозаготовок в горах. И своя электростанция, питавшая фонари на улицах, лампочки и холодильники в домах, кинопроектор в клубе, машинки для стрижки овец. Солярку и смазку для моторов танковая часть присылала уже совсем безвозмездно.

На грохот танкетки поселяне повалили из домов, ребята погнались вслед на самокатах, на велосипедах, верхом на хворостинах. В конце улицы на крыльцо дома вышел библейский старик в папаше и бараньей безрукавке, с посохом в руках. Рядом с ним стала мать Додика – я узнала бы обоих без подсказки, так они были похожи на сына. Та же заморско-нездешняя красота, тот же облик киноэкранных иноземцев, от которых не знаешь чего ждать.

Додик обнял родителей одного за другим, потом передал им сына. Марик радостно ухватил деда за бороду, но тут же увидел золотые и серебряные пряжки, украшавшие бабкин бешмет, потянулся к ним. Бабка растроганно приняла его, осыпала поцелуями, облила слезами. Когда настала моя очередь здороваться, старики были так размягчены явлением внука, что я поняла – за Марика мне будут прощены все грехи, прошлые и будущие, даже короткая юбка и крашенные ногти на ногах.

В абрикосовом саду за домом ждали накрытые столы. Но решено было отложить пир до приезда генерала. Лейтенант сказал, что Николай Гаврилович обещали вырваться не позже двух. А пока можно прогуляться вверх по реке, полюбоваться горами.

Тропинка шла среди тутовых деревьев. Ноги скользили на опавших ягодах шелковицы. В просветах между деревьями виднелись зеленые склоны, простроченные там и тут каменной грядой. Умытая галька на дне реки сверкала, как обсосанные карамельки.

После получаса ходьбы мы пришли к небольшой излучине, где вода переставала бурлить, притворилась тихим озерцом. Авессалом снял с плеча мешок, извлек оттуда рыболовную сеть. Лейтенант и сержант скинули форму, остались в трусах и сапогах. Додик с братом последовали их примеру. Они взяли сеть за четыре угла, осторожно вошли в воду. Расстелили сеть на дне, затаились.

Лицо Авессалома исчезло за стеклянной маской.

Время от времени он опускал голову под воду, вглядывался. Минут через десять предостерегающе поднял руку...

Рыбаки насторожились.

Взмах руки – и все четверо разом вскакивают и высоко вздымают углы сети. Потом спешат друг другу навстречу, как танцоры в хороводе.

В сузившемся пространстве между ними вода начинает кипеть и сверкать.

Стайке форелей суждено украсить пир ахтырцев.

Рыбаки, стуча зубами, обсуждают, хватит ли на уху, или нужен еще один заброс. Я говорю решительное «нет». Марик подтверждает его громким плачем. Ему жалко рыбок, бьющихся на траве. Кажется, это в первый раз ему довелось видеть смерть еды. Рыбаки скачут по берегу, растирают друг друга, хохочут.

– Не думай только, что и генерал лазает в воду, – шепчет мне Додик. – Ему кресло на берегу поставят, а сержант червячка насадит на крючок.

И вот мы пируем.

С танковым генералом во главе стола. Рядом – счастливый дед Самуил и счастливая бабка Ревекка. Ее пряжки и бляшки сверкают на солнце не хуже генеральских погон. Гремит музыка. Лейтенант с аккордеоном, двое местных с трубами и генеральская подруга—с бубном. Умолкают на тостах и речах, подбегают к столу, чтобы опрокинуть чарку, закусить шашлычком.

О чем тосты?

Конечно, о смене поколений. Чтоб так вот и шла жизнь – от отцов к сыновьям, от дедов к внукам. Поднимите нашего Марика до абрикосовых веток, дайте всем полюбоваться на него. И он пусть посмотрит – на село, на сельчан, на землю, где его корни навсегда, хоть и родился далеко-далеко.

И еще – за дружбу. Чтоб так вот сходились за одним сто-

лом смелый воин и умелый садовод, заботливый пастух и хитроумный ученый. Ведь Додик-то наш здесь же, под этими деревьями на хворостине скакал, а теперь? В больших городах науку движет, заправляет формулами, без которых ни танк не поедет, ни пушка не выстрелит, ни ракета не дотянет до космоса.

Генерал Самозванов каждый тост начинает с военных воспоминаний:

– Вот, друзья мои, в конце одна тысяча девятьсот сорок четвертого вошли мы в Австрию. И что же видим после нашей разоренной родной земли? Домики у них чистые-чистые, крыши все под красной черепицей, в окошках цветочки, улицы под кафелем, как пол в ванной. И уж били мы за это тех австрияков смертным боем! Башню повернешь пушкой назад, на домик наедешь – и враз все в смятку, все как у нас. Так выпьем же за все наши победы, прошлые и будущие, и чтоб заучили наши враги, как дорого они будут платить, если и впредь станут огорчать нас своим процветанием!

Лейтенант растянул аккордеон, запел неуверенным тенорком:

Я встретил вас – и все былое  
В отжившем сердце ожило;  
Я вспомнил время золотое —  
И сердцу стало так тепло...

Как поздней осени порою

Бывают дни, бывает час,  
Когда повеет вдруг весною  
И что-то встрепенется в нас...

Генерал тихо подпевал, дирижировал, утирал платком слезную каплю. Последнюю строчку – «и та ж в душе моей любовь» – пропел в лицо своей избраннице, млевшей рядом. Потом вскочил с очередным тостом:

– Соседи дорогие! Выпьем за русского поэта, сочинившего эти бессмертные строфы! Ведь Федор Иванович Тютчев знал не только тайны сердца человеческого. И тайны мировой истории были открыты ему. Далеко смотрел его взор, бесстрашно взлетало сердце. Дайте я прочту вам его стих, в котором он описывает будущее России:

Москва и град Петров, и Константинов град —  
Вот царства русского заветные столицы...  
Но где предел ему? И где его границы —  
На север, на восток, на юг и на закат?  
Грядущим временам судьбы их обличат...

Семь внутренних морей и семь великих рек...  
От Нила до Невы, от Эльбы до Китая,  
От Волги по Евфрат, от Ганга до Дуная...  
Вот царство русское... и не пройдет вовек,  
Как то провидел Дух и Даниил предрек.

Блестели генеральские погоны, блестели увлажненные

глаза, блестел пот на щеках, блестел бараний жир на подбородке.

Ах, Федор Иванович, нежнейший наш лирик! Порадовалось бы ваше сердце словам горячего танкиста? Простили бы вы ему красные звезды, разрушенные церкви и партбилет в кармане? Ведь это именно он, и никто другой, почти осуществил вашу мечту – раздвинул русские границы аж до Эльбы. И Нил мы уже почти заарканили своей плотиной, и половина Дуная течет по нашей территории. Правда, до Ганга и Евфрата еще далековато, Босфор и Дарданеллы до сих пор не даются и Стамбул все еще не стал обратно Константинополем. Но дайте срок, дайте срок...

Домики села рассыпаны по горному склону, как ложи в театре, всем, кто не попал на пир, можно глядеть на него с собственного крылечка. Да есть ли такие, остался ли кто-нибудь обойден?

Народу все прибывает, кому не хватило скамейки, устраиваются на траве. Над жаровнями с бараниной и курятиной густеет вкусный дымок, из дома несут пироги и лепешки. Арбузы и дыни подкатывают к столам, как ядра к батареям. Тут же и собакам перепадает всякой вкусноты, и курицы с утками путаются между ногами, и распряженный конь пробует на вкус абрикосовый лист. Чистый первозданный рай, добра и зла знать не надо, грехопадение забыто, или его и не было. А если какой-нибудь ангел у входа попробует махать своим огненным мечом обращающимся, мы его вежливень-



ко отодвинем в сторону танком Т-54. Ведь не устоит – а?

Ночевать нас положили в самой большой спальне фамильного дома. Марик во сне упрямо скидывал одеяло, подставлял под вентилятор солнечные ожоги на плечах и животике. Пахло сухим деревом, кожей, яблочным сидром. От реки тянуло прохладой, плеск волн сливался с тихим гудением танкового мотора, мирно качавшего воду в оросительные каналы. За стеной Додик о чем-то оживленно шептался с родителями. Тревога сосала мне сердце, не давала заснуть.

Наконец Додик появился, сел на кровать, протянул руку:

– Не спишь?

– Нет. О чем вы там?

– Старики очень взволнованы. Их можно понять. Для верующих людей старинные обряды – это святыня.

– Какие обряды?

– Отец обо всем договорился. Раввин живет в селе вверх по реке, километров пятнадцать. Генерал дает танкетку. За день обернемся.

– Обернемся – для чего?

– Ну как ты не понимаешь...

– Нет, не понимаю.

– Еврейский мальчик не может расти необрезанным.

У меня отнялась речь. Я могла только подхватить Марика на руки и стала бегать с ним по комнате, то ли баюкая, то ли отыскивая тайник, куда его спрятать.

– Что ты? Что с тобой? – бормотал Додик. – Чего ты испугалась? Ты же знала, что мы иудеи.

– Ни за что! – Слова вылетали из меня с хриплым шипением. – Не дам ни за что! Это мой ребенок. Какое они имеют право? Я буду жаловаться... скажу генералу... Он не позволит...

– Да что в этом такого? Операция безопасная, с гигиенической точки зрения полезная...

– Безопасная! Отметина на всю жизнь! Для всех новых погромщиков... Ты думаешь, на Гитлере и Сталине все закончилось? Думаешь, они не вылезут снова? Думаешь, сегодня мало их – затаившихся, прячущих под подушкой «Протоколы сионских мудрецов»? А в ящиках стола – кастет и веревку?

Додик возражал все слабее. Потом со вздохом пошел сообщить родителям о бунте на семейном корабле.

Мы пробыли еще один день и потом уехали из села рано утром.

Старики не вышли нас провожать.

А в начале учебного года нужно было выбрать тему для аспирантского реферата. Я выбрала Тютчева. Но письмо написала не ему, а его возлюбленной, носившей ту же фамилию, что и я.

# ПИШУ ТЮТЧЕВОЙ- ДЕНИСЬЕВОЙ

Дорогая Елена Александровна!

Удивительна Ваша судьба. Подобно Дантовой Беатриче Вам удалось войти в историю литературы, не сочинив ни одного стихотворения, статьи, рассказа. Кажется, не сохранилось даже ни одной страницы, написанной Вами по-русски. Интересно, как Вы говорили с Тютчевым, оставшись наедине. Тоже по-французски?

Ваше имя запало мне в память на первом курсе, оно мелькнуло в обзоре русской поэзии девятнадцатого века. Сокурсники подшучивали надо мной: «Мы и не знали, что Тютчев посвящал тебе стихи!» Я ношу ту же фамилию, что и Вы, и иногда позволяю себе мечтать, будто мы с Вами связаны каким-то дальним родством. Был ли у Вас брат, оставивший потомство? Или дядя? Вдруг мой отец может проследить свою родословную к кому-нибудь из них? В этом нет ничего невероятного. Ведь он родился всего лишь на сто лет позже Вас.

История Вашей любви к Федору Ивановичу Тютчеву проступала передо мной сначала урывками – вспышка там, вспышка здесь. Но потом вдруг захватила, я стала читать все

опубликованные воспоминания и письма, где мелькало Ваше имя, и в конце концов была – как и многие до меня – заморожена, покорена силой и красотой Вашего чувства.

Но как?! Как Вы решились? Вот уж про кого можно сказать словами Лермонтова: «Восстала против мнений света». Не окончив еще курса в Смольном институте для благородных девиц, вступить в связь с женатым человеком старше Вас на 22 года. Имеющего к тому времени трех детей от первого брака и трех – от второго. Ведь не могли же Вы не предвидеть, что после этого двери всех светских гостиных закроются для Вас, прежние друзья отвернутся, родители проклянут.

Я испытывала к Вам смесь завистливого восторга и ревности. Да, да – ревности. Я ревновала к глубине Вашей любви и к доблести, с которой Вы решились отстаивать ее. У меня-то никогда не хватило духа снять маску, поднять забрало, бросить вызов условностям и предрассудкам. Наверное, и сейчас ревность подспудно движет моим пером. Потому что мне хочется рассказать Вам о Вашем возлюбленном, о Вашем «Боженьке», все, что Вы не могли знать о нем при жизни. Рассказать – и каким-то чудом услышать Ваш ответ на жгучий для меня вопрос: выжила бы Ваша любовь, если бы Вы знали о Федоре Ивановиче то, что мы знаем теперь?

О нет, он вовсе не был дурным, злым или неблагородным человеком, скрывавшим какие-то тайные пороки или даже преступления. Но во всем, что он делал и писал, бы-

ло какое-то неистребимое равнодушие к судьбам и страданиям окружающих его людей. «Грозу в начале мая» любил, а на собственных детей почти не обращал внимания. Может быть, это было как-то связано с его знаменитой рассеянностью? Правда ли, что он однажды явился на светский раут не во фраке, а в ливрее своего камердинера, которую напялил по ошибке? А в другой раз принял нищего, стоявшего у дверей особняка, за лакея и сбросил ему на руки свою дорогую шубу? (Полиция в Петербурге была тогда на высоте, и уже на следующий день бедному нищему пришлось расстаться с дорогой добычей.) И еще один примечательный эпизод на эту тему описал в своих мемуарах об отце Ваш сын, Федор Федорович Тютчев. Как тот гулял с ним, девятилетним, и с его няней по аллее. Рука его лежала у мальчика на шее, и, разговаривая, он все сильнее сжимал ее. Наконец няня заметила, что мальчик задыхается, и указала на это Ф. И. «Какой мальчик? – не понял поэт.– Ах, Боже мой! А я думал, что это моя палка». Двусмысленность Вашего положения была, конечно, главной мукой для Вас в повседневной жизни. И Ф. И. отдавал себе отчет в роковой роли, которую он сыграл в Вашей судьбе, запечатлел это в пронзительных строчках:

О, как убийственно мы любим,  
Как в буйной слепоте страстей  
Мы то всего вернее губим,  
Что сердцу нашему милей!

Давно ль, гордясь своей победой,  
Ты говорил: она моя...  
Год не прошел – спроси и сведай,  
Что уцелело от нея?

.....  
Судьбы ужасным приговором  
Твоя любовь для ней была,  
И незаслуженным позором  
На жизнь ее она легла!

Вы считали себя настоящей женой Ф. И., но тяготились тем, что брак был лишен церковного благословения. Ф. И. уверил Вас, что даже смерть его жены, Эрнестины Федоровны, ничего не изменила бы в Вашей судьбе. Ибо по правилам православной церкви четвертый брак не может быть благословлен священником. Однако Ф. И. до встречи с Вами был женат всего два раза – не три. Может быть, та же рассеянность помешала ему правильно помнить число своих жен? Или он считал свое неудавшееся сватовство к Амалии Крюденер женитьбой номер один?

С первой женой, Элеонорой Петерсон, Ф. И. прожил двенадцать лет, вплоть до ее смерти в 1838 году. Но знали ли Вы, что роман с будущей второй женой, богатой вдовой барона Дернберга, запылал еще при жизни первой и та, узнав об этом, даже пыталась покончить с собой? К моменту встречи с Вами Ф. И. не был новичком в искусстве тайного адюльтера. Однако мы должны – нет, просто обязаны! – допустить

– хотя бы как гипотезу, как вариант, – что талантливый, легко загорающийся поэт порой действительно не в силах помнить, есть у него на сегодняшний день жена или нет.

Но самая яркая вспышка рассеянности произошла вскоре после смерти первой жены. Доходили до Вас слухи о том, как дипломат Тютчев, аккредитованный в столице Сардинского королевства Турине, обратился к своему начальству с двумя просьбами: разрешить ему бракосочетание с Эрнестиной Федоровной и предоставить длительный отпуск. Бракосочетание было разрешено, а в отпуске отказано на том основании, что заменить камергера Тютчева в посольской миссии было некем, ибо он был в тот момент единственным представителем Российской империи в итальянском королевстве. И тогда наш дипломат рассеянно покидает помещение посольства, рассеянно запирает его на ключ, захватив с собой – о рассеянность поэта! – секретные дипломатические шифры.

Рассказывал Вам Ф. И. об этом? Пытался как-то объяснить свой поступок?

У людей моего испорченного поколения первая мысль была бы: хотел подзаработать, продав шифры иностранной разведке. И поехал ведь не куда-нибудь, а в нейтральную Швейцарию – лучшее место для торговли таким товаром. Ведь шифры впоследствии так и не нашлись и не были возвращены.

Сопоставляя дату отъезда Ф. И. из Турина с датой рождения первого ребенка Эрнестины Федоровны, некоторые ис-

торики выдвигают такое объяснение: необходимость срочно-го отпуска была вызвана тем, что возлюбленная была беременна и Ф. И. не хотел, не мог оставить ее одну в таком положении.

Так или иначе, самовольство не прошло Тютчеву даром: он был уволен из дипломатической службы и лишен звания камергера. Удар, однако, был смягчен тем фактом, что новая жена была очень богата. В письме родителям Ф. И., описывая доброту Эрнестины Федоровны к его детям, добавляет мельком, что она также «уплатила мой долг в 20 тысяч франков». На средства жены супругам удалось безбедно прожить в Европе целых пять лет.

В своих политических статьях этого времени Ф. И. часто наделяет государства и народы человеческими страстями и свойствами. «Англия не стерпела», «Россия чувствовала себя отмищенной», «Европа мистифицировала...», «Германия нагнетала ненависть» – такие обороты, видимо, делали мировую политику понятной и увлекательной для его читателей.

Вряд ли Вам доводилось читать статью «Россия и Германия», которую Ф. И. опубликовал в аугсбургской газете в 1844 году. Суть ее сводилась к тому, что раньше в Европе боролись две главные силы – Франция и Германия, а теперь добавилась третья – Россия – и что Германии следует дружить именно с Россией, потому что она тридцать лет назад освободила ее от Наполеона и всячески поддерживала все



эти годы. Вы не читали, а вот государь император Николай Первый прочел и пожелал узнать имя автора, который так хорошо изложил на бумаге ну буквально его собственные, императорские мысли и чувства. Особенно ему должен был, я думаю, понравиться абзац про политическую нравственность:

«Бессмертную заслугою монарха, находящегося ныне на престоле России, служит то, что он полнее, энергичнее всех своих предшественников проявил себя просвещенным и неумолимым защитником исторической законности. Раз, что выбор был сделан, Европе известно, оставалась ли Россия ему верна в течение тридцати лет? Позволительно утверждать с историей в руках, что в политических летописях вселенной трудно было бы указать на другой пример союза столь глубоко нравственного, как тот, который связует в продолжение тридцати лет государей Германии с Россией, и, благодаря именно этому великому началу нравственности, он был в силах продолжаться, разрешил многие затруднения, преодолел немало препятствий».

После этой статьи правительство вдруг сменило гнев на милость по отношению к беглому дипломату. Вскоре Тютчев с семейством возвращается в Россию, где его восстанавливают на службе, возвращают придворное звание камергера. С этого момента карьера Ф. И. идет только вверх. В 1846 году он уже чиновник особых поручений при государственном канцлере, в 1848-м – старший цензор при Министерстве

иностранных дел (тот самый год, когда арестован Достоевский и другие петрашевцы), в 1857-м – действительный статский советник, в 1858-м – председатель Комитета иностранной цензуры. Один за другим следуют ордена: Владимира 3-й степени, Станислава 1-й степени, Анны 1-й степени. Как Вы, наверное, гордились его успехами!

Но когда Вы встретились с 47-летним Ф. И. в 1850 году, его положение в свете и при дворе еще не было таким заметным. Да и как поэт он был известен лишь в узком кругу любителей российской словесности. Чем же мог Вас так увлечь седой и хромой господин, навещавший своих дочерей в Смольном институте? Ведь Вы вовсе не были наивной девочкой к тому времени. В свои двадцать пять лет Вы вращались в петербургских гостиных, принимали ухаживания светских львов. Про Вас нельзя было сказать, как про Татьяну Ларину: «Душа ждала – кого-нибудь. И дождалась!» Нет, видимо, было в немолодом поэте какое-то таинственное, неотразимое очарование, раз он зажег в Вас такую пламенную любовь.

Летом 1850 года – объяснение в любви, а весной 1851-го – уже первый ребенок, дочь Леля. Когда стало ясно, что беременность слишком заметна и не позволит Вам принять участие в выпускных торжествах, пришлось уйти из института. А вместе с Вами – и тетушке, Анне Дмитриевне Денисьевой, классной наставнице, так надеявшейся на то, что ее сделают кавалерственной дамой, а племянницу – фрейлиной. Что

меня поражает – она никогда не обронила ни слова упрека в адрес Вашего «соблазнителя», жила вместе с Вами в снятой им квартире, заботливо и приветливо принимала, когда ему удавалось вырваться к Вам из светских и семейных пут. Не попала ли и она под чары любвеобильного камергера?

Не знаю, может быть, какие-то гостиные и закрыли двери перед Ф. И. Но в общем, и свет, и двор простили его, скандал удалось приглушить. Он оставался повсюду принятым, блестящим собеседником, заботливым отцом шестерых детей (не считая Вашей дочери), внимательным мужем баронессы Дернберг, предпочитавшей почему-то большую часть года проводить в деревне.

Надо сказать, что в те времена полиция нравов вовсе не склонна была смотреть сквозь пальцы на внебрачное сожителство. Когда Николай Огарёв сделал попытку вступить в брак с Натальей Тучковой, не получив развода от первой жены, он и двое его родственников, помогавших ему, были арестованы и увезены в Петербург по предписанию Третьего отделения. Их продержали несколько недель в заключении по подозрению в причастности к «фурьеризму», то есть пропаганде фаланстеров и полигамии. Другую историю того же рода описывает сам Ф. И. в письме к жене:

«Князь С.Трубецкой пойман вместе с хорошенькой беглянкой в одном из портов Кавказского побережья, в тот самый момент, когда они были готовы отплыть в Константинополь. Они целую неделю прожили в Тифлисе, и никто ничего

не заподозрил, и задержали их только потому, что за полчаса до отъезда этот нелепый человек не смог устоять против искушения сыграть партию в бильярд в местной кофейне, где его, по-видимому, опознали и разоблачили. Бедная молодая женщина была немедленно под надежной стражей отправлена в Петербург, а что до него, то ему, вероятно, придется спеть самому себе оперную арию, которую охотно певали в былое время: *Ах, как сладко быть солдатом!*».

Тютчеву же было прощено все. Не могла ли способствовать этому особо милостивому отношению докладная записка, поданная им в 1848 году императору, в которой, среди прочего, были такие строки:

«Каким образом могло случиться, что среди всех государей Европы, а равно и политических деятелей, руководивших ею в последнее время, оказался лишь один, который с первого начала признал и провозгласил великое заблуждение 1830 года и который с тех пор один в Европе, быть может один среди всех его окружающих, постоянно отказывался ему подчиниться? В этот раз, к счастью, на Российском престоле находился государь, в котором воплотилась „русская мысль“, и в настоящем положении вселенной „русская мысль“ одна была настолько отдалена от революционной среды, что могла здраво оценить факты, в ней проявляющиеся... То, что император предвидел с 1830 года, революция не преминула осуществить до последней черты».

Кстати, в этой же записке сильно достается венграм: они

представлены потомками азиатской орды, то есть гуннами, которые только и думают о том, как бы *им* завершить порабощение славянских племен, начатое их предками. Наверное, эти мысли крепко запали в голову императору, коли год спустя он послал стотысячный корпус на берега Дуная, поручив ему свергнуть революционное правительство в Будапеште.

Да, камергер Тютчев был прощен, но Вам не простили ничего. Кажется, не нашлось среди прежних друзей ни одного смельчака, который решился бы показаться с Вами на людях, пригласить в гости. Пустыня пролегла между Вами и всем Вашим прошлым. Даже родной отец заявил, что знать Вас больше не хочет. И всей-то жизни для Вас осталось: заботы о ребенке и ожидание визита Вашего «Боженьки». Который, честно скажем, не был создан для того, чтобы умиленно склоняться над детской кроваткой.

Однако Ваши страдания он понимал и сочувствовал им, если судить по чудному стихотворению, написанному им в те годы как бы от Вашего имени:

Не говори: меня он, как и прежде, любит,  
Мной, как и прежде дорожит...  
О нет! Он жизнь мою бесчеловечно губит,  
Хоть, вижу, нож в руке его дрожит.

То в гневе, то в слезах, тоскуя, негодуя,  
Увлечена, в душе уязвлена,  
Я страдаю, не живу... им, им одним живу я —

Но эта жизнь!.. о, как горька она!

Он мерит воздух мне так бережно и скудно...

Не мерят так и лютому врагу...

Ох, я дышу еще болезненно и трудно,

Могу дышать, но жить уж не могу.

Только не думайте, что участь его законной жены была намного легче. Мы не знаем, до какой степени она была осведомлена о Вашем существовании, о рождении Ваших детей. Но было бы наивно полагать, что сплетни и слухи бережно облетали ее стороной. Недаром она предпочитала большую часть года проводить с детьми в брянском имении или за границей. Попадая в Москву или Петербург, она всегда должна была делать вид, что в семье Тютчевых все идет нормально, а при этом напряженно ловить задний смысл в обращенных к ней словах, в бросаемых на нее взглядах. Она даже не могла открыто возмутиться, потребовать от супруга прекратить отношения с Вами. И собственная совесть, и муж могли на это ответить: «А разве сама ты в свое время не согласилась стать тайной возлюбленной одного русского дипломата, имевшего жену и троих детей?»

О тяжелой атмосфере, установившейся в доме, свидетельствуют дневники и письма старшей дочери – Анны:

«Мое несчастье – это моя семья. В ней господствует дух уныния, отрицания и сплина, благодаря которым жизнь превращается в непрерывную пытку. Никто из нас не умеет

пользоваться маленькими радостями жизни, но зато мы превосходно умеем, благодаря неуживчивости и резкости характера, превращать мелкие жизненные невзгоды в настоящие несчастья... Мы все очень умны, умом нашего века, разлагающим, мятежным и презрительным; во всех нас очень мало преданности, очень мало участливости и полное отсутствие сердечной простоты...

Папа, который скучает и у которого сплин, срывает свое настроение на мне больше, чем на ком-либо другом. Вероятно, у меня раздражающе довольный вид. Он хочет доказать мне, что я на самом деле не довольна и создаю себе искусственные радости. Никто не знает меня меньше, чем мой отец, который пытается судить обо мне по себе. Он стремится убедить меня в том, что я люблю свет, что могу быть счастливой только при дворе. Он не понимает того отчаяния, в которое приводит меня эта мысль!...»

Надо отдать должное Ф. И. – он делал все возможное, чтобы помочь жене справляться с этой невыносимой ситуацией. Вам было бы больно читать его письма к ней в эти годы, потому что часто они были переполнены настоящей нежностью, тоской по поводу разлуки. Возможно, многие из этих писем писались сразу после свидания с Вами. Лицедейство? Вот несколько отрывков – судите сами. В мае 1851 года Вы родили дочку, а в июне Ф. И. уже в Москве и засыпает жену трогательными посланиями:

«Теперь, если бы мне было обещано чудо, всего одно толь-

ко чудо в мое распоряжение, – я воспользовался бы им, чтобы в одно прекрасное утро проснуться в той комнате, которую ты так любезно приготовила мне рядом со своею... Что вполне реально в моих впечатлениях – так это пустота, созданная твоим отсутствием...»

«...До свиданья, милая моя кисанька. Твой бедный старик – старик очень нелепый; но еще вернее то, что он любит тебя больше всего на свете».

«Ничто не успокоит смертной тоски, что охватывает меня, едва я перестаю тебя видеть... Ах, береги себя, милая моя кисанька, береги себя... И я смогу еще надеяться на несколько радостных мгновений в жизни».

«Я решительно возражаю против твоего отсутствия. Я не желаю и не могу его выносить... Я испытываю от него только усталость и огорчение, которых ничто не возмещает».

Некоторые биографы Тютчева не без иронии отмечали, что, вопреки всем жалобам на разлуку, поэт делал часто все возможное, чтобы продлить ее. Или, навестив семью в деревне, через месяц уже находил предлог, чтобы удрать оттуда. Они называют эти пассажи в письмах «игрой в разлуку». В дело шли изобретательно придумываемые предлоги: необходимость лечиться, финансовые трудности, служебные обязанности, разливы рек.

Однако я не думаю, чтобы здесь было одно лишь лицедейство. Пока Ф. И. был с женой, в семье, он часто раздражался, скучал, рвался улизнуть. Но в разлуке ее образ снова окра-



шивался отблеском того огня, который свел их пятнадцать лет назад. Если бы осмелился, он мог бы сказать вслед за сербской поэтессой: «О, не приближайся! Только издалека хочется любить мне блеск очей твоих...» Писатель Франц Кафка (мне кажется, Вы смогли бы его оценить и полюбить, если бы он жил в Ваше время) засыпал пламенными письмами двух своих возлюбленных – Фелицию Бауэр и Милену Есенскую. Он погружался в свою любовь, плетя словесные кружева, лелеял ее, выпевал. Но короткая встреча с живой возлюбленной – и все рушилось. Таковы поэты – не нам их судить. И не дай бог залететь в их сердечный пожар.

Писал ли он в эти годы Вам, когда разлучался с Вами? Судя по строчкам стихотворения, сочиненного в 1858 году, – да, писал, и много.

Она сидела на полу  
И грудку писем разбирала,  
И как остывшую золу,  
Брала их в руки и бросала.

Стоял я молча в стороне  
И пасть готов был на колени —  
И страшно грустно стало мне,  
Как от присущей милой тени.

Как жаль, что эти письма не сохранились, превратились, видимо, в золу. А вдруг уцелели? Вдруг до сих пор лежат,

желтея с каждым годом, в каком-то архиве? Как бы я хотела прочесть их!

Жена, Эрнестина Федоровна, имела потом возможность пройтись цензурными ножницами по всей переписке. В том, что она сохранила, зияют дыры длиной в месяцы, а то и годы. Но даже и из того, что сейчас появляется в печати, вырастает портрет человека, уносимого вихрем собственных страстей, неподвластных деспотизму логики, пользы, морали. Возможно, Вы не узнали бы своего Ф. И., возможно, Вы любили совсем другого человека. Но вдруг Вам важно и интересно узнать, каким он видится нам сегодня? Я позволю себе продолжить рассказ.

Скандалная связь со «смолянкой» сделала трудным положение дочерей Тютчева от первого брака, учившихся в том же Смольном институте. Поначалу директриса предложила Ф. И. забрать их и поместить в какое-то другое учебное заведение. Ф. И. должен был как-то объяснить жене, находившейся в деревне, причину возникших затруднений. Он решил все изобразить как нелепую интригу классной дамы Леонтьевой:

«Вчера я имел серьезнейшее объяснение с Леонтьевой по поводу интриги, которую она сплела, чтобы исключить детей из Института. Леонтьева – злая дура, она не удовольствовалась болтовней в высших сферах, она так постаралась возвестить всюду о событии, которого столь желала, что всем лицам, беседовавшим со мной о девочках со времени мое-

го возвращения, уже было известно, что дети не вернуться в Смольный... настолько этой вздорной твари хотелось успокоить самое себя».

В конце концов благодаря заступничеству двора детей удалось оставить в институте. Но атмосфера в семейной жизни не посветлела. Вот как описывает ее дочь Анна в письме к сестре:

«Вчера был день именин папа и, значит, обед в семейном кругу, а потому я отказалась от обеда у императора. Однако папа ничуть не оценил мой подвиг. Дома он очень угрюм, и обычно мы видим его только спящим. Едва поднявшись, он уходит. Слово *joyless* (безрадостный) было придумано специально для нашего дома. Я всегда с тяжелым сердцем возвращаюсь оттуда. Кажется, что дыхание жизни покинуло его...»

А вот из ее дневника: «Папа ежедневно нуждается в обществе, ощущает потребность видеть людей, которые для него – ничто, а к детям своим его не тянет. И он это не только говорит, он это чувствует».

Когда Анна Федоровна пишет, что светские знакомые для ее отца были «ничто», она, мне кажется, упускает из виду один очень важный момент. Судя по воспоминаниям современников, блеск тютчевского гения проявлялся для них не столько в стихах, сколько в его неповторимом артистизме. Он был великий актер-импровизатор, и каждый собеседник был для него благодарным зрителем, а светская гостиная – театральным залом, который он покорял тут же сочиняемым

и разыгрываемым спектаклем, каждый вечер – новым. Он ехал в свет, как актер едет в театр, – чтобы покорить зал.

В наши дни у Тютчева были бы все шансы стать знаменитым телевизионным ведущим. Именно эту сторону его таланта пытался отметить впоследствии Ваш сын, Федор Федорович Тютчев, когда задавался вопросом: почему такой одаренный человек так мало написал за свою долгую жизнь? Он сравнивает судьбу отца с судьбой первоклассного певца, искусством которого наслаждаются только современники, а потомкам оно остается – в дограммофонные времена – недоступным. В какой-то мере это запечатлено и в стихотворении Апухтина, посвященном Ф. И.:

Вы помните его в кругу его друзей?  
Как мысли сыпались, неожиданные, живые,  
Как забывали мы под звук его речей  
И вечер длившийся, и годы прожитые!

В нем злобы не было; когда ж он говорил,  
Язвительно смеясь над раболепным веком,  
То самый смех его нас с жизнью мирил,  
А светлый лик его мирил нас с человеком!

Свою тягу к светской и придворной жизни Ф. И. объяснял – и отчасти оправдывал – тем, что ему было необходимо все время спасаться от назойливого и обременительного спутника – самого себя. Эта тема всплывает в письмах к же-

не постоянно:

«В недрах моей души – трагедия, ибо часто я ощущаю глубокое отвращение к себе самому и в то же время ощущаю, насколько бесплодно это чувство отвращения, так как эта беспристрастная оценка самого себя исходит исключительно от ума; сердце тут ни при чем, ибо тут не примешивается ничего, что походило бы на порыв христианского раскаяния».

«Существование, которое я веду здесь, отличается утомительнейшей беспорядочностью. Единственная побудительная причина и единственная цель, которой оно определяется в течение восемнадцати часов из двадцати четырех, заключается в том, чтобы любой ценою избежать сколько-нибудь продолжительного свидания с самим собою».

Эрнестина Федоровна хорошо знала достоинства и недостатки своего мужа, старалась ужиться с ними. Вот какой портрет она набросала в письме к брату:

«Если даже ему и присущ дар политика и литератора, то нет на свете человека, который был бы менее, чем он, пригоден к тому, чтобы воспользоваться этим даром. Эта леность души и тела, эта неспособность подчинить себя каким бы то ни было правилам ни с чем не сравнимы. Его здоровье, его нервозность, быть может, порождают это постоянное состояние подавленности, из-за которого ему так трудно делать то, что другой делает, подчиняясь требованиям жизни, и совершенно незаметно для себя. Это светский человек, ори-

гинальный и обаятельный, но, надо признаться, рожденный быть миллионером, чтобы иметь возможность заниматься политикой и литературой так, как это делает он, то есть как дилетант...»

И действительно, откуда брались деньги на светские развлечения, на воспитание шести – а потом семи, восьми – детей, на поездки за границу? Упоминаний о деньгах почти нет в письмах к жене. Скорее всего они первые попали под цензорские ножницы Эрнестины Федоровны. Но брату она жалуется:

«Мы постоянно нуждаемся в деньгах. Какая-нибудь неожиданная удача была бы нам очень кстати: хорошее место для мужа, неправдоподобное наследство – почему я знаю; что-нибудь, что вытащило бы нас из колеи, по которой мы так мучительно тащимся вот уже сколько лет. Но ничего подобного не появляется на нашем горизонте».

В дневнике дочери Марии мелькает:

«Сцена между папа и мама... насчет денег и расходов, которая продолжалась весьма поздно».

В одном из писем встречается фраза, из которой можно заключить, что у супругов было в какой-то мере введено разделение финансов:

«Как ты смешна, моя милая кисанька, со своим мнимым долгом в 201 рубль. Ты мне должна только 60, слышишь ли, только шестьдесят, которые мне не понадобятся раньше двух или трех месяцев».

Сам Ф. И. в одном из писем жене сознается: «Не будь я так нищ, я с наслаждением бросил бы им в лицо содержание, которое я получаю, и открыто сразился бы с этим стадом скотов».

Поражение России в Крымской войне Тютчев пережил очень тяжело. Забыты восхваления императора Николая. Теперь поэт винит его во всем:

«Для того, чтобы создать такое безвыходное положение, нужна была чудовищная тупость этого злосчастливого человека, который в течение своего тридцатилетнего царствования, находясь в самых выгодных условиях, ничем не воспользовался и все упустил, умудрившись завязать борьбу при самых невозможных обстоятельствах. Если бы кто-нибудь, желая войти в дом, сначала заделал бы двери и окна, а затем пробивал стену *головой*, он поступил бы не более безрассудно, чем это сделал два года назад незабвенный покойник».

Нарушая правило «не говорить плохо о мертвых», он клеймит покойного императора безжалостной эпиграммой:

Не Богу ты служил и не России,  
Служил лишь суете своей,  
И все дела твои, и добрые и злые, —  
Всё было ложь в тебе, всё призраки пустые:  
Ты был не царь, а лицедей.

Новый император на троне, ожидание реформ, общее оживление в стране, похоже, увлекают Ф. И., внушают на-

дежды. Давал ли он Вам читать докладную записку о цензуре в России, поданную им в Министерство просвещения в 1857 году? В ней он объясняет начальству, что полное исключение политических дебатов из печатных изданий приведет к тому, что даже благонамеренные подданные станут читать только «Колокол» и «Полярную звезду», засылаемые Герценом из Лондона.

Вообще, деятельность Ф. И. на посту цензора, проверяющего иностранные издания, – отдельная и увлекательная тема. Ведь для того, чтобы что-то запретить, сам-то он должен был это прочесть. И промахи цензора карались сурово. Как раз где-то в эти годы был отправлен в ссылку цензор, разрешивший опубликование записок английского путешественника Джиля Флетчера, посетившего Россию во времена Годунова. Панаева описывает в своих воспоминаниях цензора «Современника», который не хотел слушать никаких объяснений, «зажимал уши и в отчаянии восклицал:

– Господи, подвести меня хотят, только два года мне надо дотянуть до пенсии, а они хотят лишить меня ее. Я из-за журнала потерял здоровье, а у меня жена, дети!»

В письме к жене Ф. И. так описывает опасную промашку, допущенную их комитетом:

«На этом месте моего письма я грубо прерван приходом курьера, посланного ко мне министром Ковалевским с очень спешным письмом, в котором он просит меня убедиться, наш ли цензурный комитет пропустил некий номер журнала,



издаваемого Дюма и называемого „Монте-Кристо“.

Как раз я вчера узнал случайно в Петергофе от княгини Салтыковой о существовании этого номера, содержащего, по-видимому, довольно нескромные подробности о русском дворе, так что добрейшая княгиня, очень наслаждавшаяся их чтением, не могла скрыть от меня своего удивления, что подобные вещи допускаются в печати. К счастью, наш бедный комитет неповинен в столь преступной снисходительности, по крайней мере как целый комитет, и надо предполагать, что один из цензоров, на свою личную ответственность, пропустил этот злополучный номер. Пока, так как мы по Высочайшему повелению будем делать расследование, что сильно затруднено тем, что сегодня праздник, ты можешь себе представить, в какую лужу мы сели».

От каких же иностранных авторов охранял комитет, возглавляемый камергером Тютчевым, умы российских подданных? В те годы было запрещено печатать – среди прочих – труды Макиавелли и Бенджамина Франклина, Канта и Шопенгауэра, Эрнста Ренана и Кьеркегора, Руссо, Токвиля, Кюстина и многих, многих других.

Но все же можно полагать, что служебные обязанности не слишком обременяли Ф. И., допускали долгие отлучки. Сколько длилась ваша первая совместная поездка за границу в 1860 году? Все лето? Это было настоящее семейное путешествие, с дочкой и тетушкой. Вам нравилось, что в гостиничных книгах вас записывали как «месье и мадам Тют-

чев». В швейцарской тишине, вдали от петербургских сплетников, вы могли спокойно родить второго ребенка. В церковной книге при крещении он был записан как «Федор Тютчев». Но знали Вы уже тогда, что дети Ваши не будут иметь настоящих прав наследства, что, как незаконнорожденные, они будут приписаны не к дворянскому, а к мещанскому сословию? Или Вы узнали об этом гораздо позже, накануне рождения третьего ребенка? Узнали и пришли в отчаяние? Неужели, действительно, запустили бронзовой собакой на малахитовой подставке в Федора Ивановича? Вот как описал вспышку Вашего гнева муж Вашей сестры, Александр Иванович Гордиевский:

«Перед рождением третьего ребенка Федор Иванович пробовал было отклонить Лелю от этого; но она, эта любящая, обожающая его и вообще добрейшая Леля, пришла в такое неистовство, что схватила с письменного стола первую попавшуюся ей под руку бронзовую собаку на малахите и изо всей мочи бросила ее в Федора Ивановича, но, по счастью, не попала в него, а в угол печки и отбила в ней большой кусок изразца: раскаянию, слезам и рыданиям Лели после того не было конца. Мне случилось быть на другой или на третий день после того у Лели, изразец этот не был еще починен и был показан мне Федором Ивановичем... Очевидно, что шутки с Лелей были плохие... Сам Федор Иванович относился очень добродушно к ее слабости впадать в такое исступление из любви к нему; меня же этот рассказ привел

в ужас: я никак бы не ожидал ничего подобного от такой милой, доброй, образованной, изящной и высококультурной женщины, как Леля».

Да, Ф. И. много раз давал Вам поводы для гнева и «укоры справедливой». Но могли бы Вы сказать, что по натуре он был не только эгоистичен, но и жесток? Во всяком случае, в письмах его попадаются пассажи весьма далекие от гуманистических идеалов. Вот его комментарий к победе русского отряда над турецким войском:

«Рассказывают действительно *достойные восхищения* подробности о последнем деле князя Бебутова против армии Сераскира, где десять тысяч человек изрубили тридцать пять тысяч. И ожесточение солдат на поле битвы было ужасно, как бы в отместку за слабость политического управления. При этом полном поражении турецкой армии в наших руках осталось только *тринадцать* пленников. Все остальные были заколоты штыками...»

А вот о подавлении польского восстания 1863 года:

«Недавний пример, поданный Муравьевым, казалось, побудил некоторое стремление к более энергической деятельности в этом жалком Варшавском управлении. Повесили несколько человек в крепости, и эта неслыханная вольность, по-видимому, очень возмутила общество. Говорят даже, что архиепископу Фелинскому было предписано отправиться в Гатчину вследствие его протеста против повешения одного из его близких. Что же касается Муравьева, то он творит чу-

деса, и положение вещей уже сравнительно изменилось с тех пор, что он там».

Наверное, Вас огорчало отсутствие религиозных чувств в Ф. И. На Бога он смотрел, в лучшем случае, как на большого художника, которым можно восхищаться, но можно и критиковать. Совершив путешествие из Варшавы в Петербург, пишет жене: «Какая грустная страна, которую я проехал; как мог великий поэт, создавший Женевское озеро, подписать свое имя под подобными низменностями?» После Вашей смерти вопиет к небесам с отчаянием Иова: «Все отнял у меня казнящий Бог...» Но ни панихиды, ни литии на Вашей могиле служить не пожелал.

Конечно, Ваша преждевременная смерть – на 39-м году жизни! – должна вызывать в каждом отзывчивом сердце вспышку сострадания. Но что ждало Вас впереди? Увидеть, как презрение света, с которым Вы сражались силой любви, обожжет беззащитную четырнадцатилетнюю Лелю? Слышать ее рыдания и мольбы не посылать обратно в школу, где родители запрещали одноклассницам с ней общаться? Пережить ее смерть в столь юном возрасте, а через день после нее – и смерть двухлетнего Николая, Вашего третьего ребенка? Старческие недуги будут сильнее одолевать Ф. И., ему будет все труднее изворачиваться между двумя семьями. Двусмысленность Вашего положения будет лишь углубляться. Может быть, только сын Федор, который стал боевым офицером и успешно проявил себя также на литературном

поприще, принес бы Вам какое-то утешение. Но и ему пришлось пройти через много унижений, и каждое из них отзывалось бы в Вашем сердце болезненным чувством вины.

Муж Вашей сестры, А. И. Гордиевский, относился к Вам с большой теплотой, и именно в письмах к нему безутешный Ф. И. мог излить свое безмерное горе:

«Так вы тесно связаны с памятью о ней, а память ее – это то же, что чувство голода в голодном, ненасытимо голодном. Не живет, мой друг Александр Иванович, не живет... Гноится рана, не заживает... Будь это малодушие, будь это бессилие, мне все равно. Только при ней и для нее я был личностью, только в ее любви, в ее беспредельной ко мне любви я сознавал себя... Теперь я что-то бессмысленно живущее, какое-то живое, мучительное ничтожество...»

«О, приезжайте, приезжайте, ради Бога, и чем скорее, тем лучше! Авось удастся вам, хоть на несколько минут, приподнять это страшное бремя, этот жгучий камень, который давит и душит меня... Самое невыносимое в моем теперешнем положении есть то, что я с всевозможным напряжением мысли, неотступно, неослабно, все думаю и думаю о ней, и все-таки не могу уловить ее... Простое сумасшествие было бы отраднее...»

«Друг мой, ни вы, никто на свете не поймете, чем она была для меня! И что такое я без нее? Эта тоска – невыразимая, нездешняя... Знаете ли, что уже пятнадцать лет тому назад я бы подпал ей, если бы не *Она*. Только она одна, вдохнув,

вложила в мою вялую, отжившую душу свою душу, бесконечно живую, бесконечно любящую, только этим могла она отсрочить роковой исход. Теперь же она, она сама стала для меня этой неумолимой, всесокрушающей тоскою».

По сути, о том же самом он писал уже в стихах еще при Вашей жизни:

Ты любишь искренне и пламенно, а я —  
Я на тебя гляжу с досадою ревнивой.

И, жалкий чародей, перед волшебным миром,  
Мной созданным самим, без веры я стою —  
И самого себя, краснея, сознаю  
Живой души твоей безжизненным кумиром.

Создал бы Данте «Божественную комедию», если бы не встретил на жизненном пути Беатриче? Кто может ответить на такой вопрос... Но про Вас я знаю точно: без встречи с Вами не было бы крупного поэта Тютчева. Он остался бы автором полусотни милых пейзажных стихов, на которые соблазнительно сочинять и распевать романсы, но которые не проникают до сердечной глубины человека. «Поэт – это прежде всего *строй души*», – сказала Цветаева. И строй души поэта Тютчева был поднят, расширен, углублен Вами.

Может быть, здесь и таится ответ на вопрос, с которого я начала это письмо. За что мы любим, за что разлюбляем? Тайна, загадка... Никто не может этого знать, потому что

«ветру и орлу и сердцу девы нет закона». Но Ваша любовь, мне кажется, была похожа на любовь художника к творению, возникающему из-под его рук. Как легендарный Пигмалион, Вы оживили статую чародея, оживили «безжизненный ку-мир», и он заговорил в полный голос и отдал должное своему создателю:

О Господи, дай жгучего страданья  
И мертвенность души моей рассей —  
Ты взял ее, но муку вспоминанья,  
Живую муку мне оставь по ней, —

По ней, по ней, свой подвиг совершившей  
Весь до конца в отчаянной борьбе,  
Так пламенно, так горячо любившей  
Наперекор и людям, и судьбе;

По ней, по ней, судьбы не одолевшей,  
Но и себя не давшей победить;  
По ней, по ней, так до конца умевшей  
Страдать, молиться, верить и любить.

## 6. ГЛЕБ

– Павел Пахомыч, миленький – ну один разок!

– Золотко мое, да что ж я там буду делать? Стар я уже для этих гитарных звонов.

– Нет-нет, это не то, что вы думаете. Это действительно стихи. Только он читает их, подыгрывая себе на гитаре.

– А я-то зачем тебе нужен?

– Как защитник. Он любит на людях всякие штучки со мной разыгрывать, а при вас побоится.

– Так ты просто не ходи сама.

– Не могу. Он так обижается, что я наконец обещала.

Глеб уверяет, что он не сам сочиняет свои песни. Что это перевод с английского. Да-да, одна малоизвестная американская поэтесса сочиняет возвышенные вирши, а он только сочиняет музыку к русским переводам. Имя поэтессы? Нет, он никому не говорит. Потому что исполняет без разрешения. Если ее литературный агент узнает, потребует гонорар. Им ведь наплевать, что я пою бесплатно, что слушателей у меня – на пальцах сосчитать. Нашлют адвоката, потребуют тысячи долларов. А где я возьму?

Глеб часто звонит мне в самое неподходящее время:

– Что ты сейчас делаешь?

– Готовлю ужин на восемь гостей.

– Какое меню?



– Креветки, буженина, салат оливье, салат зеленый, фаршированные перцы...

– С чем перцы? Не с рисом, надеюсь?

– Глеб, прекрати!.. У меня дым из глаз, я ничего не успеваю. Мне сейчас не до болтовни.

– А не надо было столько времени торчать в парикмахерской.

– Откуда ты знаешь, что я была в парикмахерской?

– Догадался. Гости ведь. Только поверь: твой зеленый плащ слишком тонок для такой погоды. Простудишься ради фасона и не заметишь. Все же я как-никак медик, меня надо слушаться.

– Глеб, откуда ты знаешь про плащ? Неужели опять следил за мной?

– Не следил, а любовался. Соскучился. Хотел тебя видеть. Но у тебя опять нет для меня времени. Что мне оставалось делать?

– Ну хорошо. Позвони в понедельник, в два. Мы что-нибудь придумаем. А сейчас я правда не могу... Ой, духовка!.. Все, все, прощай!..

Глеб действительно до эмиграции работал врачом в поликлинике. А здесь сумел устроиться в санитарную комиссию, проверяющую кафе и рестораны. Рабочий день проводит в разъездах, то есть может появиться из-за угла в любой момент. Однажды мы шли с Додиком по улице, он вынырнул невесть откуда и стал спрашивать у нас дорогу к музею

Гугенхайма. Додик вежливо объяснял, а я стояла на ватных ногах, и больше всего мне хотелось толкнуть Глеба под проезжавший мимо автобус. Он изображал растерянного провинциала и благодарил почти униженно.

Все русские кафе с почтением относятся к члену санитарной комиссии, с готовностью разрешают ему выступать перед публикой. Но он предпочитает те, у которых есть отдельная комната для встреч и конференций. Читать для жующих и рыгающих? Нет, не дождетесь.

Если он звонит и попадает на Додика, начинается мини-спектакль под названием «Рекламный агент». «Наша телефонная компания как раз снизила расценки на международные разговоры. Особенно выгодны звонки в Бердичев, Жмеринку и Конотоп. У вас есть родственники в Виннице? Тогда вас может заинтересовать наш план...» Додик слушает какое-то время, потом вежливо говорит свое дежурное «Будьте вы прокляты!» и вешает трубку.

Но если Глеб попадает на меня в свободную – столь редкую у меня – минутку, мы начинаем очередную словесную дуэль, в которой победителей не бывает, но шрамы остаются порой довольно глубокие.

– Ну что, посмотрела фильм?

– Какой фильм?

– Здрасьте пожалуйста! Я ищу для нее видеоленту, роюсь в справочниках и каталогах, еду с тремя пересадками в соседний город, чтобы порадовать ее хорошим кино, привожу,

дарю... И что? Она делает вид, что не помнит, о чем идет речь.

– Ах, этот. Да, посмотрела. Очень хороший фильм, спасибо. Одно было странно: ты уже подарил мне три ленты, эта – четвертая, и все они про одно и то же.

– Конечно. И все фильмы про одно и то же. Про мужчин и женщин. А про что еще снимать?

– Я сначала не уловила связи. Потом поняла. Каждый подаренный фильм обсасывает историю развода героев. К чему бы это?

– Клевета! Абсолютно разные картины, никакой пропаганды. А в этом, последнем, и до развода не доходит. Писатель этот влюбляется в другую красавицу, разрывается между двумя, страдает. Тут же и детки его болтаются под ногами, путают карты. На нашу историю совсем не похоже. Тем более что он намного старше своей пассии, а я младше тебя. Или ты уже все увиденное и прочитанное примеряешь на себя?

– Там есть одна сцена – очень тяжелая. Когда он привозит дочке в подарок ко дню рождения пишущую машинку, а дочка отказывается выйти к нему из комнаты. Мать простила измену, а дочка – нет. Такой он потерянный там, у захлопнутой двери.

– Ну, тебе-то это не грозит. Твой сын сам уже успел развестись, его не удивишь. Примет от тебя любой подарок, как всегда принимал. У восточных людей все просто: где подарок, там и любовь.

Он умело идет от одного большого места к другому, дергает струны. Я чувствую, что лучше всего было бы просто положить трубку, прервать дуэль. Но почему-то продолжаю:

– Нет-нет, теперь до меня дошло. Это ты себя в киношном писателе углядел! Это *ты* у него хочешь поучиться, как надо оставлять жену с кучей детишек. И что? И вот ты ушел, а она уже через полгода найдет себе другого – доброго и надежного. Тогда что?

Тоже впадешь в ярость и помчишься крушить их праздник автомобилем?

– Зачем же. Наоборот, пошлю им помощницу. Одну такую рабыню доброты. Она будет детям носы утирать, пленки менять, букварь читать. Ведь рабство в Америке не кончилось, рабов доброты всегда полно кругом. Протяни руку и пользуйся. Даже разлюбившие и разлюбленные мужья всегда могут жену держать при себе на цепочке доброты. Особенно если цепочка хорошо позолочена.

Наступает пауза. Это он про Додика, про его профессорскую зарплату. Мне хочется сказать: «Сукин ты сын». Или: «Врешь, опять врешь, все врешь по-черному». Но ведь если по совести – есть цианистая капля правды. От него, от Глеба, дует мне в горло волшебный сквозняк, а от Додика – нет. И давно уже.

Слышу в трубке тяжелое дыхание. Ему, наверное, сейчас очень страшно. Ударил вслепую – а вдруг попал, а вдруг на смерть? Вот так он всегда. Прыгает как с трамплина и не зна-

ет, налита в бассейн вода или нет. А может быть, у него спрятан спасательный канат? Цепочка? Цепочка моей доброты? Сколько раз он испытывал ее! И я всё спускала. Но почему? Любовь? Страх потерять? И где-то в глубине – восхищение? Такой отчаянный! Ведь я бы так не посмела. И сколько раз лицемерила из страха.

– Мне надо бежать, – говорю я устало. – Созвонимся на следующей неделе.

Остров Манхэттен застраивали по линейке. Вернее, по двум. Северно-южная линейка чертила авеню, западно-восточная – стриты. Но когда дошли до нижней части, линейки куда-то потерялись. Или сломались. У застройщиков-чертежников остался только угольник. И получилась толпа треугольных кварталов. В лучшем случае – трапециевидных. В которых мы проблуждали добрый час, пока искали нужное кафе. Название: «Три хлебные корочки». Пир Буратино, волна воспоминаний из российского детства.

Две официантки с голубыми волосами (как же, как же – кто не помнит девочку Мальвину!) разносили борщ и кулебяку. Борщ был в запертых горшочках, к каждому прилагался золотой ключик.

Мы поднялись на второй этаж. Оказались в комнате, вытянутой, как вагон. Видимо, в дневные часы она служила выставочным залом. На стене висели картины – вариации на одну и ту же тему: крест и красная звезда. Крест, увенчан-

ный звездой; звезда, пробитая крестом; звезда, распятая на кресте; крест, оседлавший звезду и скачущий на ней к заснеженным горам. Скульптурные инсталляции не отставали по замысловатости от картин. Скрипка и саксофон, скованные наручниками. Маленький гробик с лежащим в нем дельфиненком. У дальней стены была устроена виселица, на ней висели три манекена в юбках, с мешками на головах и с досками на груди. Подойдя поближе, я смогла прочесть имена «повешенных»: Эвтерпа, Эрато, Цветаева.

Глеб уже был здесь, стоял в углу, опершись на гитару, что-то объяснял двум девицам с протуберанцами из волос. Увидел меня, просиял, сделал шаг навстречу. Но потом понял, что я не одна, – застыл. Досадливая усмешка, голова чуть набок. «Так-так, понимаем. Меры предосторожности, круговая оборона...»

Павел Пахомович с печалью рассматривал модернистские изыски.

Что-то изменилось в лице Глеба за те две недели, что мы не виделись. А-а, отрастил усики. Ну что ж, будет немного щекотно.

Народу собралось человек двадцать, стульев не хватило.

Невидимый электрик убавил верхний свет, включил софиты. Два прожекторных луча обшарили потолок, стены, окна. Потом поймали в перекрестье лицо выступавшего.

– Я спою новые переводы стихов замечательной американской поэтессы, живущей в этом городе, – сказал Глеб. –

По разным – весьма для меня серьезным – причинам имя ее открыть я пока не могу.

Когда он напевал свои речитативы, голос его менялся неузнаваемо. Будто из оркестра исчезали все фаготы, флейты и скрипки, оставались только труба, контрабас, барабан.

Представь себе улицу,  
на ней – деревья,  
деревьям определений нет.  
Представь себе слякоть —  
как постепенно  
в слякоть превращается снег.  
Представь себе время —  
его измеряешь  
эхом собственных шагов.  
Слова – как они не сказаны мимом.  
Шепот – как в крик превратился незримый.  
Страх, улетучившийся во сне.  
Представь бесконечную линию точек.  
Себя – неожиданной рифмой. Точной.

Я украдкой рассматривала лица слушателей. По большей части – молодежь, мы с Павлом Пахомычем – две поседевшие вороны. В России эти мальчики и девочки успели, видимо, вкусить сладкой отравы русской рифмы и теперь, на чужбине, рыщут в поисках своего любимого наркотика – столь редкого здесь.

Двое в комнате.  
Зимний полдень.  
В природе мятою пахнет вроде.  
Двое в комнате.  
Зимняя полночь.  
Пианино в воде. Черно-белые волны.  
Представь пустую, пустую улицу.  
Тихий, тихий ноябрь сутулится.  
Представь себя опавшим листиком,  
который не вспомнится даже мистикам.  
Во мраке слова обретают вес.  
Мысль оползает – за коркой корка.  
Верхний, самый летучий срез  
стал молитвой-недоговоркой.  
В отчий, уже позабытый, дом  
не возвращается Блудный Сын.  
Уходит дальше в широкую синь.

Неведомая поэтесса – если только она была не мифом, созданным Глебом, не ширмой для его собственных поэтических и музыкальных опусов, – загадочная поэтесса имела, кажется, единственный критерий ценности для всего на свете: рифму. Все, что было лишено рифмы, теряло для нее смысл. Даже история.

А чем истории хвалиться?!  
Пустую чередой событий,  
имен и дат, уменьем длиться



и помнить судьбы тех и лица,  
кого в свою взяла обитель.  
Еще хвалиться может ритмом,  
лишенным смысла, то есть рифмы.  
Бессмысленными мятежами.  
И ненадежными щитами.  
И между веками веками  
непросыхавшими слезами.  
И Избавителями теми,  
которые на вид без тени  
сомнения или сожаленья —  
по сути дела же – в смущенье  
предоставляли избавленье  
толпе, просившей не прощенья  
и не спасенья во Христе,  
а смерти на Его кресте.

Кто бы ни сочинил эти вирши, они задевают меня за живое. В них есть какой-то секрет. Вернее, не секрет, а именно тайна, таинственность. Чувство движется порывисто, делает непредсказуемые зигзаги – но веришь в его искренность, веришь, что это не ради эффекта. Пишущий вслушивается в неясный зов – и пытается передать его человеческими словами. У Павла Пахомыча есть такая запись-виньетка: «Одни певцы поют, другие – выступают. Огромная разница». Глеб – с гитарой или без – всегда «поет».

И в этот раз зима была пустая.

Такая, как всегда. Хотя терзала  
глаза мои снежинок новых стая  
и вздохи новые из горла исторгала.

Как в прошлый раз, осталась волосинка  
до помешательства. Уберегла картинка,  
случайно высунувшаяся из колоды, —  
цвет желтого песка, былые годы.

Мы привезли Марика в эту страну девятилетним, и он быстро стал терять русский язык. Хорошенькую судьбу я себе устроила: жить в семье с двумя мужчинами, для которых русский язык – не родной. Я не могу с ними поделиться своими главными радостями и огорчениями, лингвистическими находками, синтаксическими утратами. А с Глебом и Павлом Пахомычем мы можем часами перебирать и смаковать прочитанное. Додик иногда ревнует не на шутку. «Ты больше времени проводишь с каким-нибудь Григоровичем, чем со мной. Вот однажды напьюсь для храбрости и выгоню всю толпу твоих нахальных классиков на лестницу, на улицу, в подвал».

Но с белых стен убогого квадрата  
мне и весной мерещится утрата  
в глазах людей на пожелтевших снимках...  
Боюсь – теперь исчезнет волосинка.

Боюсь, терпение – несносная поклажа,

когда, уйдя из времени, парим мы  
в безвременье. И векам, глаза страже,  
не удержать слезу – предвестье рифмы.

Глеб читал-напевал минут сорок. Потом неожиданно прикрыл струны ладонью, встал, поклонился.

Ему похлопали.

Я хотела подойти и сказать ему, что сегодня все было очень, очень хорошо – и стихи, и исполнение. И что главное: в этих строчках всплывает что-то такое, что абсолютно не вместились бы в обыденную речь. Они высвечивают какую-то глубинную душевную долину, как некий поэтико-рентгеновский луч. Но пока я пробиралась между спинками стульев и коленями слушателей, Глеб внезапно исчез. Просто растворился. С ним такое случалось и раньше. После выступления должен побыть один. Я его понимаю.

В комнате снова посветлело, но публика не расходилась. К нам подошла худенькая женщина в брючном костюме и пестрой косынке, повязанной как пионерский галстук. Вглядываясь в меня чуть виновато, но в то же время пытливо, она то ли спросила, то ли объявила самой себе:

– Вы – Светлана Денисьева.

– Да. А вы, простите?.. Были моей студенткой?.. У меня ужасно плохая память на лица.

– Нет, мы с вами не встречались. Я узнала вас по фотографиям.

Она улыбалась чуть снисходительно, тонкие пальцы уверенно сжимали ремешок сумки, висевшей на плече. На вид ей было лет тридцать пять. Лицо без морщин, но какое-то истончившееся.

– И где же вам попались мои фотографии? В журнале «Тайм» про меня последнее время не писали. В чем-то семейном альбоме?

– Нет, не в альбоме. Глеб прячет их у себя в комнате, в платяном шкафу. Но не очень надежно. Мне нужно было сдать его костюм в химчистку – они и посыпались. Вы там всегда на улице, всегда одна. Покупаете булочку с сосиской, входите в автобус, звоните по телефону, раскрываете зонтик. На обороте – ваше имя и дата.

Я почувствовала, как жар заливает мне щеки, выдавливает слезы из глаз. С трудом могла пробормотать:

– Да, он говорил, что увлекается фотографией. Он ходил на мои лекции в прошлом году, целый семестр. Там мы и познакомились. А вас как зовут?

– Галина. Но некоторые фотографии датированы позапрошлым годом. Так что он вас заприметил еще раньше. Потому и затеял эту нелепость: пойти в студенты на четвертом десятке.

Павел Пахомович сглотнул слюну, тронул меня за плечо, сказал виновато:

– Я, пожалуй, спущусь вниз, чего-нибудь выпью в баре.

– Нет, Павел Пахомыч, нет! Галина, это Павел Пахомович,

известный кинодокументалист, мой самый лучший друг. У меня от него нет секретов. Мы можем разговаривать при нем, правда ведь?

– Конечно. Я рада, что мы наконец встретились. Мне давно хотелось вас предостеречь. Но я не знала, как это сделать потактичнее.

– Предостеречь? От чего?

Последний раз я впадала в такую панику, когда сдавала экзамен на вождение. В какой-то момент я точно поняла, что не помню, где у меня педаль газа, а где – тормоз. Легко могла вклеить себя и полицейскую тетку в бетонную стену.

– Видите ли, теперь уже ясно, что у Глеба это настоящая мания. До вас он выслеживал одну американку. Она очень влиятельный адвокат, он увидел по телевизору, как она защищала заботливую бабушку. Помните, ту, которая наняла убийц, чтобы покончить с родным зятем. Бабушке казалось, что зять неправильно воспитывает ее внуков. Можно ли такое стерпеть? Глеб был зачарован этой адвокатессой, стал ходить в суд на ее процессы. И потом все то же: фотографирование, письма, непрощенные подарки. Я так боялась, что она подаст на него жалобу в полицию. Законы против этого наваждения очень расплывчаты. Но уж она-то сумела бы повернуть так, чтобы его засадили за решетку. Так что когда появились вы, я даже испытала облегчение. Ведь вы не станете подавать на него в суд, правда?

– В суд? Боже мой – с чего вдруг? У нас нормальные

приятельские отношения, он не делает ничего плохого. Мне очень понравились стихи, которые он исполнял сегодня.

– Да-да, переводы, конечно... А все эти снимки, которые он делает без вашего разрешения, – от них ведь никакого вреда. Но все же, мне сейчас пришло в голову... Это может показаться смешно... Раз уж у нас в доме так много ваших фотографий, пусть и у вас будет хоть одна наша...

Она сняла сумку с плеча, щелкнула замком.

– Вот, смотрите: это наша Катя, ей уже десять. Рядом с ней – Рома, будущий великий бейсболист. Бита у него особенная, с автографом какой-то бейсбольной знаменитости. А младший, Толик, – у Глеба на руках. Из-за детей мне трудно вырываться из дому по вечерам, но уж сегодня, ради такого случая, наняла бэбиситера. Ой, что же это я! Обещала ей отпустить в девять, а сама... Надо бежать домой. Всего доброго. Рада была познакомиться. Звоните, если что...

Я тупо улыбалась, кивала, жала ей руку. Она спускалась по лестнице, не оглядываясь, но приветливо махала ладошкой над головой. Детские лица глядели на меня с фотографии. Павел Пахомыч взял меня за плечи, чуть встряхнул.

– Что делать, Пал Пахомыч, а? Что мне делать-то теперь?

– Если по правде... Нужно кончать, золотко мое, подвести черту. Я слышал про таких следопытов – опасное это дело. Непредсказуемое. Если что не по нему, он ведь и за пистолет может схватиться. А тут еще детки эти. Съемка затянулась, сюжет исчерпан, пленка подошла к концу.

– Но что я ему-то скажу?

– Только не говори, что ты с женой встретила. А то он может на ней отыграться. И тогда уж точно под суд пойдет.

В такси я все же расплакалась, уткнулась носом в плечо Пал Пахомычу. Он гладил меня по волосам, обещал, что все заживет, все к лучшему. Наш маленький праздник, который мы безмолвно обещали друг другу сегодня, так же тихо и безмолвно рассыпался, таял в пролетающих огнях реклам.

Все же, прощаясь, он пробормотал: «Ты всегда просишь, так я уж захватил на всякий случай» – и сунул мне в руку несколько сложенных листков. Такой вот незаслуженный подарок.

Придя домой, я согрела себе травяного чая, нырнула под одеяло, стала читать. И постепенно моя паника таяла, страх мельчал, стыд бледнел. Эти виньетки всегда безотказно уносят меня прочь от себя единственной. Уж сколько раз они помогали мне – помогли и сегодня.

### ИЗ МАШИНЫ П. П.

Глубоко в трюмах корабля есть люк, который называется кингстон. Это далеко не самый важный судовой узел. Но если его открыть, корабль пойдет на дно.

Глубоко-глубоко в трюмах сознания каждый из нас хранит, замирая от стыда и страха, какую-нибудь тайну. Это тоже не самая главная и последняя правда про нас. Но если она откроется, мы погибнем.

Запоздавая стрела скорби все же нашла его в шестьдесят лет и сразила.

Никто не требует и не ждет от человека, чтобы он наслаждался изо дня в день одной и той же едой, одной и той же книгой, симфонией, пейзажем. Но наслаждаться одним и тем же партнером в супружестве считается нашей пожизненной священной обязанностью. Хотя среди священных персонажей мировой истории, которым мы поклоняемся, едва ли найдется один из ста, кто сумел бы исполнить ее.

Невнятен язык пророка, таинственно загадочен. Именно поэтому тысячи рифмующих имитаторов сегодня так тянутся к поэтической невнятице – хотят прикинуться пророками.

Мы «любить умеем только мертвых» – и это потому, что смерть выбивает их из состязания с нами и мы теперь спокойно – то есть с надеждой на успех – можем начать состязаться друг с другом в несложном деле поклонения умершим.

Чужая беда воеет сиреной под моим окном.

Христианство открыло женщине путь к Богу, оно завоевывало мир через женские сердца, оно возвело женщину в Божеский сан, оно стало в огромной степени женской религией. Именно поэтому оно бывает часто



таким наивно жестоким.

Главное украшение человека – его завтрашний день. Это некий нераспустившийся цветок, полный надежд, мечтаний, свершений. Поэтому-то дети, у которых так много завтрашних дней, пленяют нас безотказно. И наоборот, старики, умирающие, приговоренные, внушают только безнадежную тоску.

Только страх смерти придает цену всем нашим жертвам в этой жизни. Если б Господь избавил нас от страха смерти, все, что мы делаем здесь, мгновенно опошлилось бы.

Как ни ужасна война, она все же остается последним спасением и защитой от рабства. Только нужда в хороших солдатах способна удержать всесильного правителя от того, чтобы превратить своих подданных поголовно в рабов.

Верующий в Творца! Как смеешь ты унижать Господа, заявляя, что Он перестал творить? Как смеешь ты отрицать Его роль в эволюции?

Несчастливая женщина безотказно вызывает в добром мужчине желание помочь, спасти, оберечь. Не потому ли женщина так часто принимает позу несчастья? Но добрых мужчин на свете все меньше, и женщины остаются в позе несчастья на всю жизнь.

Спрашиваете, чем животные лучше человека? А вот хоть этим: у них никакой самец не может изнасиловать самку. У нее каждый год остается право выбрать самца, с которым она готова продолжить род. И лишь у людей самец пытается оспорить судейскую роль женщины в этом важнейшем деле и может наброситься на нее с ножом или кулаками, когда она предпочтет ему другого.

Евангелие не сохранило нам имени человека, который озаботился тем, чтобы у собравшихся послушать Христа были хотя бы те пять хлебов и две рыбы, которые Сын Божий затем так удачно разделил на 5000 паек.

### Непостижимость Я.

Какую свободу дает нелюбовь! И какое это рабство, какая зависимость – любить кого-нибудь или что-нибудь. Немудрено, что на свете все больше нелюбви, а любви – все меньше и меньше.

Надо только помнить, что ни одно мгновение никуда не улетает. Что каждое остается запечатленным на пленке Всевышнего навеки. Тогда станет легче верить и надеяться и труднее – гадить, мучить, предавать.

Желание докричаться – но до кого? Не до того ли, кто так же надсадно и безнадежно кричит рядом с тобой?

## 7. ДИПЛОМНИЦА ЛАРИСА

Конечно, я сама была во всем виновата. Зачем мне нужно было приглашать Ларису к нам домой? Руководить ее дипломной работой я вполне могла в институте – вечерами там всегда было легко найти свободную аудиторию. Так нет же, материнский инстинкт брал свое: девочка живет в общежитии, вдали от домашнего тепла, надо ее подкормить, приласкать, обогреть.

Хотя насчет «подкормить» – это было последнее, в чем Лариса нуждалась. Она распирала свои платья и блузки, как крепкая дынька, пухлая складочка на шее круглилась при каждом повороте головы. Стоило ей остановиться в коридоре института, как неведомо откуда налетал рой поклонников – словно птицы на созревший подсолнух. Ее черные ресницы хлопали направо и налево, казалось, что от них начал идти заметный ветерок. Никакому котенку не удалось бы так естественно принимать позу приветливой беспомощности. Но многие сокурсники уже испытали на себе и острые коготки.

Моим заботам ее поручил сам завкафедрой – иначе бы ни за что не согласилась. Лариса увлекалась новомодными течениями в литературоведении, обещавшими раскрыть тайну поэзии путем правильного подсчета слов и слогов. А я тогда как-то злонамеренно и безнадежно пыталась игно-

рировать это поветрие, отсидеться в старомодном блиндаже. Идея ее дипломной работы сводилась к тому, что она возьмет собрание стихотворений Лермонтова и пойдет от стиха к стиху, подсчитывая число положительных и отрицательных эмоций в каждом. Строчки с положительными она подчеркивала красным, с отрицательными – синим. В результате должна была получиться графическая кривая, отражающая изменения эмоционального настроения поэта в течение его короткой творческой жизни. По принятому у новаторов этикету предмет своего исследования она называла не по фамилии, даже не по имени и отчеству, а по инициалам – МЮЛ. Мы садились рядом, и я начинала проверять очередную порцию ее подсчетов.

– Лариса, почему в стихотворении «Одиночество» вот эти две строчки вы подчеркнули красным?

– Ну как же: и в той, и в другой есть слово «веселье», «веселиться».

– Но погодите – разве не должны мы брать слова в контексте? Каков контекст первого «веселья»? «Делить веселье – все готовы: никто не хочет грусть делить». Не очень-то радостное заявление.

– Там, где «грусть», я подчеркнула синим.

– А вторая красная черта? «И будут (я уверен в том) / О смерти больше веселиться, / Чем о рождении моем». Вам действительно кажется, что здесь мы имеем дело с положительной эмоцией?

– Видите ли, семиотика учит нас, что слова часто выбираются поэтом подсознательно, они несут знаковую нагрузку независимо от контекста. В стихотворении получилось шесть синих строчек и только две красных, что ясно показывает общий отрицательный настрой МЮЛа.

– ...Лариса, почему «Как часто пестрою толпою окружен» – красным?

– Ну как же: нарядная, праздничная толпа, встречают Новый год. Сказано ведь дальше: «При шуме музыки и пляски».

– Но ведь это рифмуется с «Приличьем стянутые маски».

– Может быть, это просто маскарадные маски?

– Не думаю. И в конце опять наше любимое слово – «веселье». Оно безотказно требует красной черты – так?

– Где это? А, конечно. «О как мне хочется смутить веселость их» – МЮЛ с радостью предвкушает, как бросит им в лицо «железный стих». Но «облитый горечью и злостью» – это уже синим.

Лариса, если хотела, могла быть тихо упрямой и все поворачивать по-своему. Вскоре я перестала ей перечить и просто пользовалась случаем, чтобы снова и снова окунаться в колдовские волны лермонтовских стихов.

Я не хочу, чтоб свет узнал  
Мою таинственную повесть;  
Как я любил, за что страдал,  
Тому судья лишь Бог да совесть!..

Им сердце в чувствах даст отчет,  
У них попросит сожаленья;  
И пусть меня накажет Тот,  
Кто изобрел мои мученья.

Когда дошло до составления графика, конечно, оказалось, что синие точки легли намного выше красных. Но как соединять их? Ломаной кривой или плавной? Наверное, есть какие-то правила? Пришлось призвать из соседней комнаты профессионального математика.

Додик появился в своем сине-печальном тренировочном костюме, все такой же высокий и немного нездешний, как и восемь лет назад. Мой царь Давид, мой витязь без тигровой шкуры, мой кавказский сыроед! Ресницы дипломницы Ларисы немедленно начали гнать ветер, как самолетный пропеллер. И ветер достиг цели – крылышки ветряной мельницы моего рыцаря стронулись с места, завертелись в ответ. Чуть шире улыбка, чуть короче паузы между словами, чуть оживленнее игра пальцев, чуть выше взлет удивленных век. Уж эти-то знаки я способна различать без всякой семиотики.

За чаем мы расспрашивали Ларису о семье, о родителях. Да, они оба врачи, работают в железнодорожной больнице провинциального города. Отец, придя домой после операции, иногда сажал ее перед собой, как анатомический манекен, и задумчиво начинал ощупывать то место на шее, на плече, на колене, которое сегодня попало ему под скальпель.

«Так... всё правильно... всё на месте...» – бормотал он. Но бывали случаи, когда какая-нибудь жилочка в шее дочери не совпадала с его представлениями об устройстве нашего тела, и он выговаривал себе за ошибку, обзывал дураком и даже похуже. Специальностью матери была кардиология, хотя часто ей приходилось выступать и в роли доморощенного психолога, то есть пытаться понять: действительно ли у этого сцепщика, машиниста, проводника такие адские боли в грудной клетке, или он просто пытается выманить из ее стеклянного шкафчика заветную порцию морфия?

Родители, как водится, мечтали, чтобы она пошла по их стопам, но она и слышать не хотела. Только литература! Уже в восьмом классе у нее было собрание толстых блокнотов, в которые она выписывала цитаты из прочитанных книг и стихов. Ее первый роман разгорелся с мальчиком, который знал наизусть всего «Бориса Годунова»! Но потом выяснилось, что для него НАН (Н. А. Некрасов) выше, чем ААБ (А. А. Блок), и с любовью было покончено. Рассказывая, она потешно копировала свое детское презрение – головка откинута назад, взгляд из-под ветреных ресниц сверлит с недосягаемого высока, судейский перст указывает отвергнутому на дверь.

О, как же их много – этих неуловимых примет, по которым мы узнаем, что у нашего супруга завелась волнующая тайна. Вот зазвонил телефон, ты слышишь в соседней ком-

нате громкое «алё» – и вдруг голос его спадает на невнятный бубнеж, на шепот, пропадает совсем. Вот начинаются непредвиденные заседания кафедры, консультации в институте на другом конце города, занятия с вечерниками. Да, он помнит, что обещал Марику сводить его на день рождения к однокласснику. Но не мог же он знать заранее, что именно в этот день в город заявится проездом из Москвы профессор, работающий над теми же тайнами теории множеств, что и он. Им просто необходимо встретиться. То секретарша на кафедре обронит мимоходом: «Видела вчера на улице твоего Додика – вот с таким букетом ландышей! С чем поздравлял?»

Пикантность моей ситуации заключалась в том, что мне был виден – открыт – и другой конец этих романтических качелей. В походке Ларисы появилась какая-то летучесть, в улыбке – таинственность, во взгляде – нетерпеливая готовность устремиться в небо, в потолок, в облака. Теперь она проходила сквозь толпу поклонников, едва замечая их, едва достаивая кивком. На лекциях и семинарах что-то рисовала в конспектах, вздыхала, на вопросы отвечала невпопад. В одежде стали мелькать предметы, добыть которые можно было только в комиссионке. Откуда она доставала деньги? Экономила на еде? Во всяком случае, если раньше при взгляде на нее вспоминались натурщицы Рубенса и Энгра, то теперь она явно перемещалась в категории Кранаха, Мане, Пармиджанино. Меня она не то чтобы избегала, но как-то все чаще



находила предлоги откладывать наши занятия.

Ну а я? Вознегодовала, испугалась, приревновала, затосковала? Ломала голову над тем, как разлучить влюбленных? Пыталась очернить их в глазах друг друга? Кинулась в парикмахерские, к портнихам, к косметичкам – в безнадежной попытке сравняться с соперницей на десять лет моложе меня?

Да ничего подобного.

Неисправимая извращенка, клейменная нарушительница многих табу – я *любовалась* обоими. Их свечка горела так ярко, так искренне, так неосторожно. Какие-то смутные фантазии рождались в моей голове, какой-то бред, навеянный письмами юной Натали Герцен: «...Я бы жила с вами, я бы любила ее, была бы сестрою ее, другом... внутри была бы твоя...» Могла ведь библейская Рахиль щедро предложить Иакову свою служанку и потом принимать рожденных ею детей «в свой подол». Почему же я не могу последовать ее примеру и уступить мужу свою студентку?

Потом я выдергивала себя из литературных облаков на землю, усаживала на стул и учиняла допрос с пристрастием: «Ты хочешь потерять своего мужа? – Нет, ни за что на свете. – Ты знаешь, что он не примет, не пойдет ни на какие твои извращенные треугольные варианты? – Знаю. Да еще обольет своим кавказским презрением, если я только заикнусь. – Но ты ведь не веришь, не надеешься, что он сможет всю оставшуюся жизнь прожить, ни в кого не влюбляясь? –

Не верю, не надеюсь. – Ты понимаешь, что, по его правильным взглядам, все решается очень просто: если ты полюбил другую, ты разводишься с женой и женишься на возлюбленной? – Да, это так. Но ведь после этого через месяц-другой их свечка догорит и она первая бросит его. Они оба верят в эту догму – что свеча любви-влюбленности должна гореть до конца жизни, а иначе – грош ей цена. – Конечно, ему страшно будет потерять сына. Но ведь пока возлюбленная недостижима, страсть к ней может свести с ума. – Что же делать? – Ты, с твоим опытом, должна бы знать. – Нет, я ничего не могу придумать. – Рискни. – Что ты имеешь в виду? – Оставь их вдвоем. Уезжай куда-нибудь на месяц. Сделай ее достижимой. – Вот прямо так? По холодному расчету? – Да, прямо так. Когда она будет у него рядом, без преград, он уже через неделю увидит, сколько в ней смешного, детского. Ты же знаешь своего Додика: с его чувством иронии он может любить только взрослых женщин».

Не помню, сколько дней длился этот допрос-диалог. Но в конце концов я дала себя уговорить. И как-то быстро судьба стала подыгрывать моей циничной половине, удачно сочинять нужные события. Вдруг позвонила подруга Валя и заявила, что ей на работе, на киностудии, предлагают путевку в дом отдыха, но только в комнату на двоих. А ей очень-очень хочется, просто нужно поехать без мужа. Не соглашусь ли я занять вторую кровать? Да, можно и с ребенком, в каникулы многие привозят детей, для них ставят раскладушки. Комна-

та большая, с отдельной ванной. Это не просто дом отдыха, а шикарный – для кинематографистов. В Прибалтике, ночь езды на поезде. Соглашайся, а?

Валя работала редактором в цехе дублирования фильмов. Не очень высокий пост, но именно от нее зависело, кого из актеров пригласить на озвучивание, дать подзаработать. В том году она взяла под покровительство некоего Вениамина – уж такого талантливое, такого обаяшку, но до сих пор недооцененного. И как раз ему досталась путевка в этот Дом творчества на весь январь. Летом туда наезжают шишки и знаменитости, а зимой может пролезть всякая шушера вроде нас. Моя приятельница заведует путевками, устроит и для тебя с Мариком. И муж не будет возражать, если я там с подругой, да еще с ребенком. Так славно, так все прилично обустроится... Так что – едем?

И я согласилась. Хотя жутковато было. Помню, в школе мы играли в такую игру – «проверка дружбы». Становишься спиной к «другу», разводишь руки в стороны и падаешь навзничь. «Друг» должен в последний момент подхватить тебя за плечи над самым полом. И всегда оставался маленький шанс, что «друг» взбрыкнет почему-то и передумает подхватывать. Хорошо, если отделаешься шишкой на затылке. А если повредишь позвоночник? Бывало и такое. Игру запрещали, но всегда находились любители острых ощущений. Только не я. Попробовала один раз с подругой Валею и сказала себе «довольно». Мне хватало настоящих страхов, в искус-

ственных не было нужды.

Услышав о моих планах, Додик как-то заметно разволновался. Стал расспрашивать о подробностях. Почему именно сейчас? И какое ты имеешь отношение к кино? Ах, все устраивает подруга? Эта вертихвостка Валя? А что Марик будет там делать? Играть с другими детьми? Смотреть мультфильмы? Ну да, у них должен быть там свой кинозал...

О, как я хотела сказать ему всю правду! Сознаться в своем недуге. Осмеять идола верности. Поздравить его с загоревшейся свечкой любви, пожелать удачи. Объяснить, в каком ящике чистые простыни и наволочки, в каком – глаженные пижамы и халаты. Напомнить, что водогрей в ванной капризничает – чтобы он включал сам, не доверял Ларисе. И что на завтрак она попросит один-единственный апельсин, потому что война за стройную фигуру ведется всерьез. Так что разрешается сходить на базар, посорить урючными деньгами, закупить цветов и фруктов...

Но конечно, я ни в чем таком не созналась. Молчала, как герой-партизан. Упирала на усталость, на мечту вырваться из городской давки и слякоти. И Додик в конце концов согласился. Даже купил Марику маленькие лыжи и пару красивых бамбуковых палок. И сам поехал с нами на поезде, а потом – на автобусе, донес чемоданы. Проверил, теплые ли батареи в комнате, не дует ли из окон. Прощаясь, целовал долго и задумчиво. Дверь за ним закрылась, но потом вдруг распахнулась снова, он быстро подошел ко мне, буркнул «не

добрал» и крепко поцеловал еще раз. Наконец уехал.

Дом творчества стоял в сосновом лесу. Он был окружен снежными бастионами и брустверами. Дятлы, перелетая с ветки на ветку, стряхивали нам снег за шиворот, пока мы шли от жилого корпуса в столовую. Марик в первый же день подружился с двумя мальчишками за соседним столом и уговорил пожилого бородача, сидевшего там, поменяться с ним местами.

– Ой, кого мы видим! – воскликнула подруга Валя, вскочила и чмокнула подходившего бородача в щеку. – Знакомься, Светлана, это Павел Пахомович, наш лучший – да-да, лучший! – кинодокументалист. А также мой любимый автор и спаситель. Куда вы пропали? Я вам звонила в октябре, вы так были мне нужны.

Оказалось, что Павел Пахомович тоже временами подрабатывал у Вали на дубляже – только не актером, а автором текста. Они наперебой стали объяснять мне технику своего ремесла. Вся иностранная кинолента разрезается на куски, куски склеиваются в кольца. В каждом кольце – отдельная сцена с диалогом. Перед Павлом Пахомовичем лежит русский перевод, но его нельзя использовать сразу – русские слова не совпадут с движением губ немецких, французских, американских – о, особенно американских! – актеров. Киношное кольцо начинает крутиться, Павел Пахомович всматривается в лица и пытается изменять русский текст

таким образом, чтобы русские слова хотя бы приблизительно совпадали по звучанию с иностранными.

Иногда повезет, и английское «ай лав ю» своими двумя заметными «А» и «Ю» на конце совпадет с русским «й-А в-А-с любл-Ю». Но бывают такие заковыристые фразы, что Вениамин ходит перед экраном, пробует произносить варианты, предлагаемые Павлом Пахомовичем, и Валя вынуждена отвергать их один за другим.

– Губные звуки – вот чистое наказание! Когда у него в тексте так и мелькают «п», «б», «м», это настоящая головоломка. Помните, Пал Пахомыч, сколько мы промучились с этим «Майерлингом»? В том кольце, где император объясняет своему сыну, почему ему нельзя жениться на незнатной возлюбленной? «Ё чилдрен вил би Габсбурге бай блад бат бастарде!» Семь «б» в одной фразе! И лицо императора – во весь экран. Ужас!

Павел Пахомович предложил поучить Марика кататься на лыжах. Он помнил, как его учил в детстве отец. Два-три нехитрых приема – но очень помогает поймать правильный ритм. И действительно, минут через пятнадцать Марик уже бойко катил по снежной дорожке. Мы шли за ним, тихо беседуя.

Павел Пахомович рассказывал о своей работе. Студия документальных фильмов посылает его с заданиями снимать трудовые победы. Со своей камерой он уже объездил весь Северо-Западный край. Да, бывал даже на Кольском полу-

острове, на Соловецких островах, в тундре у оленеводов. Обычно его встречают как гоголевского ревизора: со страхом и подобострастием. Мало ли чего наснимает этот приезжий – а ты потом получишь головомойку от начальства. Боятся объектива, как раньше боялись Ока Божия. Поневоле начинаешь важничать. Вот однажды послали его в Вологду... Вам интересно про это? О да – очень.

И он рассказывает.

Мы уходим все дальше по улице поселка.

Марик иногда наезжает лыжей на лыжу, падает. Я помогаю ему подняться, стряхиваю снег со смеющейся мордочки.

Тишина. Сосны. Дятлы и белки. Картины школы передвижников. «Грачи улетели», «Над вечным покоем».

Дни тянулись лениво, стрелки забывали переползать от цифры к цифре, застревали на полпути. Подруга Валя появлялась редко. Ее Вениамин оказался таким горячим, таким горячим. Уж не уйти ли к нему от мужа? Если позовет, конечно. Вот станет он кинозвездой, налетит толпа желающих – тогда поздно будет. Эх, надо бы ловить момент!

Несколько раз я звонила домой из почтового отделения. Но в дневные часы Додика и не могло быть дома, а вечером и в воскресенье почта была закрыта. Поймала только один раз, на бегу. «Как ты? Как Марик? Все хорошо у вас?.. Ну, слава богу. Я?.. Я нормально... Прости, должен бежать... Заседание кафедры... Целую!..»

По ночам я часто лежала с открытыми глазами, слушала тихое сопение Марика на раскладушке. Пыталась распалять в себе ревность. Сочиняла кинокадры крупным планом. Лицо Ларисы. Глаза закрыты, губы оттопырены. Камера опускается ниже. Голое плечо. Грудь прикрыта рукой. Нет, это не ее рука. Темные волоски на запястье, мощный сгиб локтя. Лицо Додика на подушке. С тем его всегдашним благодарным изумлением: «Все это – мне?» Ах, какой щедрый Дед Мороз в этом году, сколько подарков! И все можно потрогать, со всем – поиграть? Камера снова скользит вниз, по «подаркам»: незагорелая полоска на животе, снежная горка бедра. Колени сомкнуты, как створки ворот. Лодыжки опутаны простынями. Мощная рука приходит им на помощь, освобождает из плена. Створки ворот медленно раскрываются...

Наутро я не сразу понимаю, что произошло. Ах да, я пыталась разжечь в себе ревность эротическими картинками... И что же? Неужели заснула посреди фильма? Какой позор!

Мы теперь гуляем с Павлом Пахомовичем почти каждый день. Он уже рассказал мне про жену и детей. Оба мальчика сейчас в армии. Один – артиллерист, другой – связист. Связист оказался такой способный, его послали в специальное училище, будет осваивать новые радары. Жена работает в Этнографическом музее – водит экскурсии, читает лекции, ездит в командировки. Они и познакомились двадцать



лет назад в служебной поездке – судьба подыграла, привезла обоих по делам в Мурманск в один месяц. Так романтично, при свете северного сияния. Его послали снимать плавучий рыбозавод, только что спущенный на воду, а ее – отыскать какую-нибудь утварь и одежду лопарей. Их теперь осталось совсем мало, надо было спешить, чтобы хоть в музее сохранилась память о них. Павел Пахомович ездил с ней в селения, помог довести до станции долбленую ладью, купленную у лопарей за ящик водки. Так, с этой ладьи, и началось их плавание по жизни. Она до сих пор стоит в экспозиции музея, в разделе «Народы Севера», на красивых лакированных подставках. Но курс ее изменить уже нельзя.

Любимый конек Павла Пахомовича, его больное место – загрязнение земель и вод. Рассказывает он об этом бесстрастно, порой даже с иронией, но видно, как близко к сердцу он все принимает.

– Посылают меня как-то в Лугу. Какой-то химический завод там построили досрочно, нужно героев увековечить на киноплёнке. Ну, я, как положено, снимаю митинги, вручение премий. Но чувствую – что-то не то. Куда-то меня не пускают, где-то что-то не достроено. Какие-то сердитые люди в железнодорожной форме мелькают на заднем плане, стучат кулаками по столу. Наконец один знакомый прораб, за рюмкой, открыл мне тайну: склады заводские еще не достроены, и вся заказанная соляная кислота ждет своего полезного применения в железнодорожных цистернах, на колесах. Ну,

железнодорожники и бесятся, требуют освободить цистерны. У них свой план горит, цистерн не хватает.

Он хватается себя за горло, хрипит, смешно показывает, как туго пришлось лужским железнодорожникам.

– ...А на следующий день тот же прораб прибежал ко мне в гостиницу рано-рано, стучит в дверь: «Хватай свою камеру и бежим!» Прибежали мы на берег реки. Батюшки-светы! Куда хватается глаз плывут кверху брюхом лещи и окуни, щуки и плотва. Это наши рекордсмены двадцать тонн соляной кислоты потихоньку в реку спустили. Ведь с железной дорогой шутить нельзя, в следующий раз может так прижать, что весь план погорит. А рыба что? Она ведь бессловесная.

Кадры с отравленной рыбой, конечно, на экраны не выпустят. Но Павел Пахомович потихоньку собирает такие сюжеты, мечтает когда-нибудь сделать полнометражный фильм. Пусть все увидят, пусть возмутятся – может, что-то изменится.

Меня трогает его тревога, трогает доверие ко мне. Все же то, чем он занимается, не совсем безопасно. Могут привлечь к суду «за клевету». Наверное, он почувствовал, как когда-то отец, что со мной можно поделиться секретом.

Нога моя вдруг поехала на ледяной пролысине. Я хватаюсь за его плечо. Он крепко берет меня под руку, и дальше мы уже идем, прижавшись друг к другу. Легкий ветерок сметает снежную пыль с сосен, залетает мне в горло. Вот те и на! Павел Пахомович старше меня лет на пятнадцать. Я не

могу поверить, что между нами что-то возможно. За восемь лет жизни с Додиком я и думать забыла об этих делах. Вообразила, что сквозняки, свечи и электрические фейерверки уже не для меня, ушли навсегда. А тут... Хочешь верь, хочешь не верь... Или это дипломница Лариса заразила меня, подала пример, выпустила – надолго прирученную – обратно на охоту в леса и степи?

А Павел Пахомович? Он такой сдержанный, по нему не поймешь. Но стал бы он часами гулять с женщиной, которая ему не нравится? Вот и подруга Валя уже делает намеки, закатывает глаза в знак понимания и одобрения. Эх, не знают ни он, ни она, что мне сейчас не до курортных флиртов. Что идет у меня рискованный эксперимент на живых душах, и чем он кончится – неизвестно.

Каникулы у Марика подошли к концу, но мы прихватили еще неделю. Ничего, писать и читать он умел уже до школы, рисовать палочки и нолики в тетрадке ему было скучно. Павел Пахомович, прощаясь, чмокнул меня в щеку, смущенно попросил телефон. Я дала. И попросила его номер тоже. Вдруг мне попадетса на глаза какой-нибудь нефтяной разлив посреди озера – теперь я буду знать, кому докладыывать о таких безобразиях. Он поехал с нами на автобусе, посадил в поезд.

«Какой славный, – думала я. – Как хорошо бы однажды...» Шарик, надутый фантазиями, пытался взлететь над

соснами, но я дергала его за веревочку, не пускала. Снежная равнина, недооцененная – раскритикованная – поэтом Тютчевым, летела за окном, тревожила, томила предчувствиями.

Вдруг напал дикий страх. «Что я натворила! Зачем? Так хорошо жили... А ты... своими руками... Разве нельзя было, как другие? Устроить скандал, написать анонимку в деканат... „Разрушает семью, аморальное поведение!..“ Пригрозить увольнением, затащить обратно в семейный аркан... Все тебе нужно по-своему, все не как у людей... Вот теперь расхлебывай...»

Додик встречал нас на вокзале. Букетик тепличных тюльпанов для меня, пластмассовый самосвал – для Марика. Я всматривалась в его лицо, искала перемен. Нет, кажется, все на месте, все по-прежнему. Разве что поцелуй после трех недель разлуки мог быть подлиннее. Но ведь как-никак – на людях. Да и Марик все время теребит за руку, рвется рассказать. Ведь у него теперь есть что рассказать папе, чего тот не видел, не знает. Такая редкость!

Дома нас ждал обед с вином. Кто же готовил? Неужели ты сам? Нет, мать твоя вчера забегала вечером. Ждет внука не дожидется. Марик, хочешь к бабушке? Уж наверное, и там тебе заготовлен какой-нибудь подарочек.

После обеда они уехали. Я, как ищейка, как Шерлок Холмс, бросилась искать улики. Боялась найти или хотела? Все лежало на своих местах. Полотенца в шкафу сложены стопкой, посуда перемыта, ложки – с ложками, вилки – с вил-

ками. В ванной шампуни, лосьоны, духи выстроены, как на параде, мочалки застыли в полете над полкой. В спальне все чисто, кровать застелена, будильник показывает правильное время. И вдруг!.. – вот оно!

Штора!

Она ведь была порвана здесь – внизу. И я иногда говорила себе, засыпая: «Завтра надо купить зеленых ниток и заштопать». Но все откладывала. А теперь дыра зашита. Незаметно, нитки точь-в-точь в цвет материи. Значит, что же? Значит, она была здесь не один раз. Сначала заметила дыру, а к следующему разу купила зеленых ниток и заштопала. Ах ты, аккуратистка! Все прибрала за собой, все почистила, а такую улику оставила!

Но может быть, она нарочно? Может быть, она хотела, чтобы я заметила и учинила Додику допрос? Хотела вбить клин между нами? Ах ты, хитрая структуралистка, ах ты, счетовод эмоций!

Не знаю, почему я так завелась на эту штору. Все мое любовование их незаконной свечкой вдруг кончилось. Вдруг мне стало так горько, обидно, одиноко. Хотелось крикнуть Додику какую-нибудь «укору справедливую». Как будто не я сама это подстроила, не я подарила им эти три недели.

Додик вернулся задумчивый, немного загадочный. Подошел, взял за руки. Сказал, что нам нужно поговорить.

– Нет, – сказала я вдруг бездумно и убежденно. – Нет-нет,

совсем не нужно.

Потом прижалась щекой к его галстуку и стала бормотать, не давая вставить слова:

– ...Есть вещи, о которых лучше молчать. У меня много таких вещей... Думаешь, я тебе все-все рассказываю?.. Не дожدهшься... А ты?.. Знаешь, чего мне в тебе не достает? Тайны. Да-да, хоть маленькой тайны... Это скучно, когда все на виду... Пусть у тебя будет хоть один секрет... И я никогда-никогда про него не узнаю... Помнишь библейского Самсона? Пока у него была тайна от Далилы, все шло хорошо. А открылся—и вскоре жестоко поплатился... Но я не Далила, не буду приставать к тебе с расспросами, не буду остригать волосы во сне... Стану тихо гадать, ломать голову... Какой такой секрет?.. Вдруг ты на самом деле шпион-диверсант? И милиционеры не зря останавливают тебя на улице. Или вы с братом тайно привозите наркотики, какую-нибудь анашу, а урюк – только для прикрытия... Или ты тайно поступил в масонскую ложу, как Пьер Безухов... Ты будешь окружен ореолом таинственности – так славно!.. А единственное, что мне нужно и хочется знать сейчас: ты рад, что я вернулась? Рад?..

– Очень, – сказал он. – Очень, очень, очень. Несказанно рад. Заждался.

Он сказал это с таким чувством – я поверила. Мы начали целоваться. Сладко, как в первый раз. Невозможно расцепиться. Дальше пошла чистая акробатика: раздеться, не

разняв губ. Моя свечка снова пылала ярко и горячо. И его – я видела – тоже. Что «видела»? Чувствовала рукой. Брюки отказывались спускаться, цеплялись, как за крючок. Наш паровоз, вперед лети!..

Да, давно уже у нас не было *такой* встречи. Стоило, ох, стоило расстаться на три недели!

– Милая! – задыхался Додик. – Милая! Иди сюда... Да, сюда... И сюда, сюда тоже... О, моя милая!..

О, как я была добра и приветлива с Ларисой на следующий день в институте! Как заботливо расспрашивала ее о трудностях подсчета лермонтовских переживаний. Да-да, здесь открываются большие перспективы. Диплом может стать основой, исходным материалом для кандидатской диссертации о лирике МЮЛа.

Лариса была печальна, задумчива. Слушала недоверчиво, в глаза не смотрела. На исхудавшем детском лице будто застыл вопрос: «Да разве так бывает? Да разве это по правилам?»

Жизнь возвращалась в привычную зимнюю колею. Дневная слякоть за ночь затвердевала опасными торосами. Пешеходы перебирались через сугробы, как суворовские солдаты в Альпах. Изредка по вечерам звонил телефон, и я слышала, что Додик отвечал коротко и сухо: «Нет... не смогу... Может быть, в следующем месяце...»

Торжествовала ли я? Испытывала облегчение? Не знаю,

не знаю.

Но вдруг неожиданно для себя – кажется, прошел уже месяц после возвращения – взяла и позвонила из автомата Павлу Пахомовичу. И мы договорились о встрече. И где-то в эти дни я начала письмо к Тургеневу.



# ПИШУ ТУРГЕНЕВУ

Многоуважаемый, до сих пор волнующий, часто загадочный Иван Сергеевич!

Все же удивительно: как при Вашей несомненной доброте и миролюбии Вы ухитрились возбуждать такое острое раздражение чуть ли не во всех своих собратях по перу: в Белинском, Некрасове, Достоевском, Толстом, Герцене? И столько раз становились объектом самого пристального и часто враждебного расследования, слежки, поношения? То по высочайшему указу за статью памяти Гоголя сажают Вас на съезжую, и целый месяц Вы должны слушать, как в соседней комнате секут розгами крепостных слуг, присланных хозяевами для наказания. То высылают в деревню под специальный надзор, и невзрачный сыщик следует за Вами как тень, даже на охоту, и доносит про каждый шаг, каждую встречу. В 1863 году новая напасть: под угрозой конфискации имущества вызывают из-за границы в Комиссию Сената дать показания о сношениях с политическим преступником Герценом и другими революционными эмигрантами.

Добро бы только правительство Вас преследовало. Сам Толстой за какой-то пустяк вызывает Вас стреляться – да еще не на пистолетах, а на ружьях – и до смерти. И Достоевский врывается незванный в Вашу квартиру в Бадене

и, вместо того чтобы отдать деньги, взятые в долг, начинает поносить за германофильство, безбожие и равнодушие к России; а годы спустя выводит в карикатурном виде в «Бесах» под именем Кармазинова. И «Современник», обиженный Вашим уходом, намекает на модного писателя, следующего в хвосте странствующей певицы и устраивающего ей искусственные овации в провинциальных театрах за границей. И тот же Герцен, поверив клевете о Вашем поведении в Комиссии Сената, печатает у себя в «Колоколе» ядовитую эпиграмму: «Корреспондент наш говорит об одной седовласой Магдалине (мужеского рода), писавшей государю, что она лишилась сна и аппетита, покоя, белых волос и зубов, мучась, что государь еще не знает о постигшем ее раскаянии, в силу которого „она порвала все связи с друзьями юности“».

Другая загадка: как, при Вашей столько раз проявлявшейся любви к детям, при жажде домашнего очага, Вы так и не завели семью, довольствовались ролью приживала в семействе Виардо? Сколько женских сердец Вы сумели заполнить за свою долгую жизнь, сколько очаровательных девушек готовы были связать с Вами свою судьбу! Но Вы всегда в последний момент отступали, исчезали, прятались в тумане красивых прощальных слов.

И до сегодняшнего дня нет конца попыткам разгадать «сфинкса» по имени Тургенев – такого, казалось бы, открытого, искреннего, дружелюбно-бесхитростного. Биограф за биографом кладут под микроскоп Вашу жизнь, взрезают ее

своими скальпелями, ищут глубинные связи между персонажами Ваших книг и живыми людьми, между поворотами сюжетов и извивами судьбы. Недавно опубликована новая «Летопись жизни и творчества И. С. Тургенева» в трех томах, где можно узнать, с кем Вы встречались, чем болели, кому писали, куда ехали, где обедали чуть ли не день за днем с 1818 по 1883 год. Для опубликования шести тысяч Ваших писем понадобилось тринадцать томов. Жизнеописания Тургенева выходят не только из-под русских перьев. Пишут англичане, американцы, немцы, испанцы, французы – даже такие знаменитые, как Андре Моруа и Анри Труайя (Лев Тарасов).

Когда я мысленно оглядываю эту гору книг и статей, почтительная робость затекает мне в душу. «А ты-то куда? – спрашиваю я себя с укором. – Что нового можешь ты разглядеть в этой судьбе? Когда-то люди зачитывались житиями святых. В наши дни святые оттеснены писателями, поэтами, художниками, актерами. У святых учились отыскивать путь к Богу, у писателей и художников мы надеемся научиться, как жить на земле. Вот и учись, и мотай на ус открывшуюся премудрость, и не лезь к другим – оставь им учиться самим по тем же книгам, по тем же житиям».

Но потом я поняла, что есть – была – промелькнула в Вашей жизни одна душа, с которой мне очень-очень хотелось бы поделиться результатами своих наблюдений за сфинксом И. С. Тургенев. Из всех женских сердец, завоеванных Вами,

одно пленило меня сильнее других, почудилось бесконечно близким. Когда Вы встретились в 1874 году с Юлией Петровной Вревской, Вам было пятьдесят пять, ей – тридцать три. Но разница в два десятка лет не помешала разгореться роману. Она рано потеряла мужа-генерала, Вы были свободны, богаты, знамениты. И, как всегда, бесконечно обаятельны. Судя по уцелевшим письмам, Юлия Петровна была очарована Вами, ждала только знака, простого «да». Но так и не дождалась.

Вот что писал о ней такой ценитель женского очарования, как В. А. Соллогуб: «Баронесса Юлия Петровна Вревская... считалась почти в продолжение двадцати лет одной из первых петербургских красавиц... Я во всю свою жизнь не встречал такой пленительной женщины. Пленительной не только своей наружностью, но своею женственностью, грацией, бесконечной добротой... Никогда эта женщина не сказала ни о ком ничего дурного и у себя не позволяла никому злословить, а, напротив, всегда и в каждом старалась выдвигать его хорошие стороны».

Ах, если бы я умела развинтить на части фантазии Герберта Уэллса, Станислава Лема, Рэя Брэдбери, братьев Стругацких, собрать из полученных деталей и узлов надежную машину времени, залезть внутрь, пристегнуть ремень, умчаться на сто лет назад! И предстать перед Юлией Петровной в начале 1874 года. Она бы сказала мне со смущением: «Вы знаете, за мной начал ухаживать наш знаменитый писатель

Тургенев. Он делится со мной своими сокровенными чувствами, зовет приехать к нему в гости в Спасское. Я слышала, вы много читали об Иване Сергеевиче. Что вы можете рассказать о нем? Советуете ли вы мне принять приглашение?»

Нет, я не стала бы отговаривать ее, объяснять, что Вы недостойны любви. Избави Бог – я так не считаю. Но мне бы очень-очень хотелось, чтобы до принятия решения она поняла – узнала, – с чем – с кем – ей придется иметь дело. И сама бы решила, хватит у нее сил на такого возлюбленного или нет. Я попросила бы у нее несколько дней, а то и неделю, и изложила бы на бумаге все, что мне приоткрылось про Вас. Это «Личное дело И. С. Т.», это следственное досье, подготовленное частным, самозванным литературным детективом Светланой Денисьевой, по несуществующему заказу баронессы Ю. П. Вревской, следует ниже.

## ДЕТСТВО

Оно у Ивана Сергеевича было незавидным и затянулось неестественно долго. Самовластье его маменьки, Варвары Петровны, владелицы тысяч крепостных душ, заставляет вспомнить героинь Салтыкова-Щедрина, Лескова, зловещую Салтычиху. Судьба барчука Вани Тургенева была немногим лучше судьбы дворового мальчишки. Тот, по крайней мере, благодаря неприметности имел шанс урвать

денек без побоев и брани. Барчук же каждый день был на виду и каждый день мог попасть под розги. Его друг, Я. Полонский, записал со слов взрослого Тургенева, как рутинно это происходило:

«Драли меня за всякие пустяки чуть не каждый день... Раз одна приживалка (Бог ее знает, что она за мной подглядела) донесла на меня моей матери. Мать, без всякого суда... тотчас же начала меня сечь – секла собственными руками – и, на все мои мольбы сказать, за что меня так наказывают, приговаривала: „Сам знаешь, сам догадайся, сам догадайся, за что я секу тебя“. На другой день, когда я объявил, что решительно не понимаю, за что меня секли, – меня высекли во второй раз и сказали, что будут каждый день сечь, до тех пор пока я сам не сознаюсь в моем великом преступлении. Я был в таком страхе, таком ужасе, что ночью решил бежать...»

Чем-то напоминает эпизод из романа «1984»: там тоже герою предоставляется возможность самому догадаться, какими словами можно остановить пытку. Но бежать Ване было так же некуда, как герою Оруэлла. Он должен был оставаться в отчем доме и не только терпеть побои, но и быть свидетелем бесчисленных телесных наказаний на конюшне.

Варвара Петровна, наверное, не считала себя жестокой. Ей, например, казалось вполне естественным услатить новорожденного ребенка своей горничной в дальнюю деревню: ведь своим писком он мог отвлечь горничную от ее священной обязанности – ухаживать за барыней. И секретарь ее,

крепостной Лобанов, был разлучен со своей семьей и отправлен в медвежий угол по заслугам: ведь он посмел вырвать у Варвары Петровны хлыст, которым она собиралась поучить его. Нежная душа маменьки безотказно отзывалась на красоту цветов. Поэтому, когда в саду был обнаружен дорогой тюльпан, вырванный из клумбы, порке подверглись все садовники. А уж приказать безответному Герасиму утопить его любимую собачку Муму – кто будет вспоминать о таком пустяке?

Но вот сынок Ваня вспомнил двадцать лет спустя. Вспомнил и многое другое. И написал «Записки охотника».

Светлое будущее России, о котором мечтали читатели Тургенева, обернулось такой страшной тиранией, которую сравнить можно было лишь с татарским игом. Писатели, выраставшие в империи Сталина, смотрели на своих предков-предшественников с той снисходительностью, с какой бывалый зэк (перевозу для Юлии Петровны – каторжник) смотрит на «вольняшек»: «Что они понимают!» Им было невдомек, что мера страданий подданных империи Николая Первого была ничуть не ниже их собственной. «Записки охотника» произвели в свое время такой же взрыв в сознании читателей, как «Один день Ивана Денисовича» век спустя. Ибо пронизаны они были такой же мукой всеобщей неволи, которая была известна и пережита в ту пору каждым. А то, что осуществлялась неволя не безымянными конвоирами, а сплошь и рядом – близкими, родными людьми, де-

лало тяжесть деспотизма еще острее, еще безнадежнее.

Бесконтрольный произвол порождал бесконечную изобретательность в поисках путей спасения. Вранье, притворство, увертки любого сорта, лицедейство, подхалимство оборачивались не пороками, а законными способами самозащиты. Честность делалась смехотворной, искренность – предельно опасной. Во взрослом Иване Сергеевиче все близкие замечали почти патологическую неспособность исполнить обещанное. Редакторы слезно умоляли его прислать, наконец, оплаченный и объявленный в рекламе рассказ; приглашенные им на обед литераторы часами тщетно ждали хозяина у дверей пустого дома; он говорил друзьям, с которыми делил квартиру в Берлине, что должен уехать на два дня, а сам исчезал на месяц, оставив им заботу о своем багаже. Генри Джеймс с иронией писал, что в Париже все знали: ждать Тургенева к назначенному часу было просто наивно.

«Он любил завтракать *aucabaret* и всегда торжественно обещал прийти к назначенному часу. Но это обещание, увы, никогда не выполнялось. Упоминаю об этой идиосинкразии Тургенева потому, что она по своему постоянству носила забавный характер – над этим смеялись не только друзья Тургенева, но и сам Тургенев. Но если он, как правило, не попадал к началу завтрака, не менее неизбежно он появлялся к концу его».

Другие парижские знакомые вспоминали замашки Тургенева не столь добродушно. «Тургенев нас приглашал в очень



дорогие рестораны, – писал А. Доде. – Мы являлись, и нам приходилось платить. А мы в это время были не очень богаты, особенно Золя и я, и нам тягостно было платить по сорок франков за обед. Как сейчас вижу Золя, вытаскивающего из своих карманов 40 франков, а Тургенев, со своей славянской флегматичностью и носовым голосом, говорит ему: „Золя, напрасно вы не носите подтяжки, это некрасиво!“»

Маменька Варвара Петровна легко нарушала обещания, данные сыновьям, но от них требовала строгого соблюдения данного слова. Даже когда юный Иван Сергеевич вырвался из-под ее непосредственной власти и учился в Европе, она умела достать его и там, шантажируя в письмах, требуя выполнить обещание писать регулярно:

«Ты можешь пропускать просто почты, – но! – ты должен сказать Порфирию: „Я нынешнюю почту не пишу мамаше“. Тогда Порфирий берет бумагу и перо, и пишет мне коротко и ясно: Иван С, де, здоров. Боле мне не нужно, я буду покойна до трех почт. Кажется, довольно снисходительно. Но! – ту почту, когда вы оба пропустите, я непременно *Николаишку* высеку; жаль мне этого, а он прехорошенький и премиленький мальчик, и я им занимаюсь, он здоров и хорошо учится. Что делать, бедный мальчик будет терпеть! Смотрите же, не доведите меня до такой несправедливости».

Оставшаяся с детства ненависть к тиранству переросла у взрослого Тургенева в полную неспособность отдать даже простое приказание и добиться его исполнения. Крестьяне

после освобождения почуяли слабость барина и наперебой выпрашивали у него то участок земли, то рощу, то бревен на строительство дома. Он никому не умел отказать. Вот характерный эпизод, рисующий его отношения со слугами (даже если это всего лишь легенда, возникла она не на пустом месте):

«Едет он однажды *в своем* экипаже, на *своих* лошадях из Спасского к соседу и *спешит*. На козлах у него сидит *свой* кучер и *свой* лакей. Ехали-ехали, долго ли, коротко ли, вдруг перестали „спешить“: стали. Иван Сергеевич думает – нужно опрavitь сбрую. Нет, никто не слезает с лошади или там по надобности. Подождал он, подождал – смотрит: играют в карты. Да! Кучер и лакей играют в карты... Что же он? Прикрикнул или хотя сказал что-нибудь? Нет, он забился в угол коляски и сидит, молчит. А те играют. Когда кончили, тогда и поехали».

Сам И. С. знал за собой эти свойства и признавал их, но с некоторыми оговорками: «Хотя я принадлежу более к „тряпкам“, но ведь и у тряпки есть свое упорство: разорвать ее легко, а молотом – сколько угодно бей по ней, ничего не сделаешь». И про необязательность: «Это чисто русская привычка – не держать слова. Из таких русских первый есть аз, но, тем не менее, это скверно...»

## УВЛЕЧЕНИЯ ЮНОСТИ

Я не исключаю, что пробуждение любовного чувства в Ване Тургеневе было окрашено видом розги в женской руке в такой же мере, в какой это случилось с обожаемым им Жан-Жаком Руссо. Того тоже в детстве секла властная женщина, и это вызвало в нем острое эротическое переживание – одно связалось с другим на всю жизнь. Не важно, правду Тургенев рассказал братьям Гонкурам много лет спустя или поделился фантазией – важно, что первое соитие с женщиной было окрашено (на радость доктору Фрейду!) явно мазохистскими тонами.

«Я был совсем молоденький, был девственен и знаком с желаниями постольку, поскольку это бывает в пятнадцать лет. У матери моей была горничная, красивая, с глупым видом, – но, знаете, бывают такие лица, которым глупый вид придает нечто величавое. День был сыроватый, мягкий, дождливый, один из тех эротических дней, какой описал нам Доде. Спускались сумерки. Я гулял в саду. Вдруг вижу... девушка эта подходит прямо ко мне – я был ее господином, а она моей крепостной, – берет меня за волосы на затылке и говорит: „пойдем“. Далее было ощущение похожее на то, что мы все знаем».

Вспомним, что много лет спустя, в повести «Вешние воды», Марья Николаевна точно так же обращается с Сани-

ным: «Она высвободила руки, положила их ему на голову – и всеми десятью пальцами схватила его волосы. Она медленно перебирала и крутила эти безответные волосы, сама вся выпрямилась, на губах змеилось торжество...»

Наконец, сохранилось и прямое признание И. С. в письме Фету: «Я только тогда блаженствую, когда женщина каблучком наступит мне на шею и вдавит мое лицо носом в грязь».

Маменька Варвара Петровна в собственном доме не склонна была к стыдливости с теми, кого она считала ниже себя.

«Мелкое чиновничество Варвара Петровна не считала за людей. Так, однажды ей доложили о приезде станового в то время, когда она брала ванну. Она немедленно велела позвать его к себе. Когда становой, по естественному чувству, остановился сконфуженный, увидев через полуотворенную дверь Варвару Петровну в виде Сусанны, она на него прикрикнула: „Иди, что ли! Что ты для меня? Мужчина, что ли?“»

Допустимо ли предположить, что и сыновей она не очень стеснялась? Не исключено. Хотя и любила их по-своему, особенно Ивана. В письмах к нему ее любовные излияния снова заставляют вспомнить венского профессора:

«Я тебя люблю, Иван, и все, что делаю, что думаю, во всем ты... ты... ты... Будь ты уверен, что я... что ты звезда моя. На нее гляжу, ею руководствуюсь, тебя жду... жду... жду... И без тебя ничего такого не сделаю, чтобы ты мне сказал: эх,

мамаша, для чего ты меня не подождала...» Вдруг переходит на женский род: «Пусть я без вас скучаю, особенно без тебя, моя дорогая дочка, моя Жанетта. О! Точно, точно моя любимица... ради Бога, чтобы этого кто не услышал. О! Я так несчастна без тебя, мой ангел...»

Первые известные увлечения начались за границей. Шушу Ховрина вдохновила студента Тургенева на любовный стишок:

Что тебя я не люблю —  
День и ночь себе твержу.  
Что не любишь ты меня —  
С тихой грустью вижу я.  
Что же я ищу с тоской?  
Не любим ли кто тобой.  
Отчего по целым дням  
Предаюсь забытым снам?  
Твой ли голос прозвенит —  
Сердце вспыхнет и дрожит.  
Ты близка ли — я томлюсь  
И встречать тебя боюсь.  
И боюсь и привлечен...  
Неужели я влюблен?

Но первый серьезный роман загорелся по возвращении в Россию — с сестрой лучшего друга, Мишеля Бакунина. Письма Татьяны Бакуниной во многом напоминают письмо Татьяны Лариной, но превосходят его накалом страсти:

«9 января, 1842. Вчера пришло Ваше письмо – я читала и перечитывала его – и целовала его с таким глубоким чувством... И благодарю и благословляю Вас – за все – за жизнь, которую Вы воскресили во мне – и больше еще – за Вашу святую снисходительность... Мы много-много говорили вчера... много имен называли мы – с горячей любовью – а Ваше произносили с каким-то чудным вдохновением!»

«(Начало марта). Вчера я ничего не могла вам сказать – ничего, Тургенев, – но разве вы знали, что было у меня на душе – нет, я бы не пережила этих дней – если б не оставалась мне смутная надежда – еще раз, Боже мой – хоть раз один увидеть вас... О, подите – расскажите кому хотите – что я люблю вас – что я унизилась до того, что сама принесла к ногам вашим мою непрощеную – мою ненужную любовь – и пусть забросают меня камнями, поверьте – я вынесла бы все без смущения...»

«Христос был моей первой любовью. Как часто, стоя на коленях у Его Креста, я плакала и молилась Ему. Вы, мой друг, вы будете моей последней, вечно искренней, вечно святой любовью».

Испуганный таким напором, Тургенев, в конце концов, пишет ей прощальное письмо:

«...я никогда ни одной женщины не любил больше вас – хотя не люблю и вас полной и прочной любовью... Прощайте, я глубоко взволнован и растроган – прощайте, моя лучшая, единственная подруга. До свиданья».

Впоследствии, в романе «Рудин», он позволит своему герою повторить это письмо в похожей ситуации почти дословно:

«Мне недостает, вероятно, того, без чего так же нельзя двигать сердцами людей, как и овладеть женским сердцем... Я отдаюсь весь, с жадностью, вполне – и не могу отжаться... Я просто испугался ответственности, которая на меня падала, и потому я точно недостоин вас».

«Испугался ответственности» – здесь таится причина крушения многих увлечений Тургенева. Но Татьяна Бакунина не посчитала это достаточным оправданием. На прощальном письме Тургенева сохранилась горестная приписка, сделанная ее рукой:

«Удивительно, как некоторые люди могут себе воображать все, что им угодно, как самое святое становится для них игрою и как они не останавливаются перед тем, чтобы погубить чужую жизнь. Почему они никогда не могут быть правдивы, серьезны и просты с самими собою – и с другими?»

И, вторя этому приговору, один из персонажей романа «Рудин» говорит о главном герое: «Да, холоден как лед и знает это и прикидывается пламенным... Он играет опасную игру – опасную не для него, разумеется; сам копейки, волоска не ставит на карту – а другие ставят душу...»

Но, справедливости ради, вспомним, в какой ситуации находился И. С. в начале 1840-х годов. Без службы, без состояния, во всем зависимый от капризов маменьки – мог ли он

позволить себе создать семью, взвалить на себя ответственность и бремя брачной жизни? Как у всякого живого человека, жажда любви боролась в его душе с жаждой свободы. И эта борьба привела его на путь, который предпочли – выбрали – тысячи русских бар до и после него: в разгар романтических отношений с Бакуниной он сошелся с женщиной, *которая не представляла угрозы для его свободы*. То есть взял любовницу из простых.

«У Варвары Петровны в числе множества крепостных девушек-мастериц жила, между прочим, по вольному найму одна девушка „белешвейка“, по имени Евдокия Ермолаевна Иванова... Портрет ее весьма обыкновенный: блондинка, лицо чистое, правильно русское, глаза светло-карие, нос и рот умеренные; но она была женственно скромна, молчалива и симпатична. Эта-то девушка и приглянулась, а затем и полюбилась барину-юноше Ивану Сергеевичу. Конечно, Варвара Петровна узнала про первую любовь сына своего, вспылила, даже, говорят, собственноручно посекала, но поправить дело было невозможно, хотя Авдотья Ермолаевна была немедленно удалена навсегда из Спасского. Действительно, она переехала в Москву, где на Пречистенке, в первом этаже небольшого дома наняла квартиру о двух комнатах и занималась своим рукоделием».

От этой связи родилась дочка Полина, которая впоследствии, восьмилетней, была взята на воспитание семейством Виардо. И. С. всегда признавал ее своею дочерью, она носи-



ла его фамилию, он жил с ней в Париже, заботился о воспитании, выдал замуж, да и в замужестве помогал чем только мог.

А что же Авдотья Ермолаевна?

В большинстве биографий она вскоре исчезает из повествования. В 1863 году, сообщая свои биографические данные Комиссии Сената, Тургенев заявил, что женат не был. Но так ли это?

Во-первых, ясно, что И. С. продолжал выплачивать содержание Авдотье Ермолаевне и навещал ее и много лет спустя. «Рассказывают, как однажды Авдотья Ермолаевна убедительно просила Ивана Сергеевича дать ей возможность съездить в Париж, чтобы повидаться с родной дочерью хоть однажды. „Поверь мне, Авдотья Ермолаевна, – сказал Иван Сергеевич, – теперь у тебя с дочерью нет ничего общего: она по-русски так же ничего говорить не умеет, как ты не умеешь по-французски. Поверь, что ты ей ничего не растолкуешь и она не поймет, что ты ей мать родная. Еще верь мне, что она будет счастлива, так счастлива, как никогда не могла бы быть счастливою, оставаясь при тебе"».

Во-вторых, когда Полина выходила замуж во Францию, понадобилась копия метрического свидетельства о месте и времени ее рождения. Был послан запрос в Россию, и нужные документы вскоре прибыли. Значит, сведения о рождении хранились где-то в церковных книгах. Интересно было бы узнать, в каком городе или селе состоялась регистрация.

И кто же был записан отцом?

В-третьих, о какой тягостной ошибке юности делает И. С. намеки в письме к графине Ламберт в начале 1858 года? Что означает фраза в письме к Вам, Юлия Петровна: «...если бы мы оба встретились молодыми, неискушенными, а главное – свободными людьми...»? Вы-то к тому времени давно были вдовой. Значит, речь идет только о его несвободе?

Наконец, есть большой пласт сведений, которые не примет всерьез ни один профессиональный следователь или детектив, но которые, в случае Тургенева, имеют огромный вес: его книги. Дело в том, что писатель Тургенев ничего не умел выдумывать. Он наполнял свои произведения только образами известных ему людей, коллизиями, пережитыми им самим или его близкими. Он сам сознается в этом:

«Сочинять я никогда ничего не мог. Чтобы у меня что-нибудь вышло, надо мне постоянно возиться с людьми, брать их живьем. Мне нужно не только лицо, его прошедшее, вся его обстановка, но и малейшие житейские подробности. Так я всегда писал, и все, что у меня есть порядочного, дано жизнью, а вовсе не создано мною. Настоящего воображения у меня никогда не было».

Если это так, то весьма любопытным представляется отрывок из романа «Дворянское гнездо», в котором описывается, как отец Лаврецкого в юности завел роман с простолюдинкой, обрюхатил ее, а потом, следуя возвышенным идеям французских просветителей, вопреки воле разгневанных ро-

дителей, женился на ней.

«... Спокойным, ровным голосом, хотя с внутренней дрожью во всех членах, Иван Петрович объявил отцу, что он напрасно укоряет его в безнравственности; что хотя он не намерен оправдывать свою вину, но готов ее исправить, и тем охотнее, что чувствует себя выше всяких предрассудков, а именно – готов жениться на Маланье. Произнеся эти слова, Иван Петрович, бесспорно, достиг своей цели: он до того изумил Петра Андреича, что тот глаза вытаращил и онемел на мгновение; но тотчас же опомнился и, как был в тулупчике на беличьем меху и в башмаках на босу ногу, так и бросился на Ивана Петровича... А тот побежал через весь дом, выскочил на двор, бросился в огород, в сад, через сад вылетел на дорогу и все бежал без оглядки, пока, наконец, перестал слышать за собою тяжелый топот отцовских шагов... Петр Андреич вернулся домой, объявил, едва переводя дыхание, что лишает сына благословения и наследства, приказал сжечь все его дурацкие книги, а девку Маланью немедленно сослать в дальнюю деревню... Пристыженный, взбешенный Иван Петрович в ту же ночь, подкараулив крестьянскую телегу, на которой везли Маланью, отбил ее силой, поскакал с нею в ближайший город и обвенчался с ней».

Поменяйте сердитого отца Петра Андреича на гневную маменьку Варвару Петровну, Маланью – на Авдотью Ермолаевну, Ивана Петровича – на Ивана Сергеевича, и вы получите точную канву того, что могло произойти с Тургеневым

в 1842 году, вплоть до убедительного описания пережитых им чувств освобождения от родительской опеки и осуществления французских идеалов:

«Иван Петрович отправился в Петербург с легким сердцем. Незвестная будущность его ожидала; бедность, быть может, грозила ему, но он расстался с ненавистною деревенскою жизнью, а главное – не выдал своих наставников, действительно „пустил в ход“ и оправдал на деле Руссо, Дидро и Декларацию прав человека. Чувство совершенного долга, торжества, чувство гордости наполняло его душу; да и разлука с женой не очень пугала его; его бы скорее смутила необходимость постоянно жить с женою».

(Кстати, Достоевский, уже в пору их разрыва, отмечал этот эпизод как самый яркий и убедительный в романе.)

Есть еще один соблазн принять версию о том, что юный Тургенев тайно женился на Авдотье Ермолаевне Ивановой и оставался повязанным этими узами на всю жизнь. Соблазн этот чисто литературоведческий, он не имеет прямого отношения к досье – считайте его необязательным отступлением. Но меня всегда занимала одна загадка: с кого Толстой писал Анатоля Курагина? Ведь он, как и Тургенев, обильно использовал современников в качестве прототипов для своих романов. Вот как он характеризует Анатоля:

«Курагин с женщинами был гораздо умнее и проще, чем в мужском обществе. Он говорил смело и просто, и Наташа... со страхом чувствовала, что между ним и ею совсем

нет той преграды стыдливости, которую она всегда чувствовала между собой и другими мужчинами...

Анатоль... сводил с ума всех московских барынь, в особенности тем, что он пренебрегал ими и, очевидно, предпочитал им цыганок и *французских актрис*, с главой которых, мадмуазель Жорж, как говорили, он был в близких отношениях...

С девицами, в особенности с богатыми невестами... он не сближался, тем более что Анатоль, чего никто не знал, кроме самых близких друзей его, был два года тому назад женат.

Он был инстинктивно всем существом своим убежден в том, что... он никогда в жизни не сделал ничего дурного. Он не был в состоянии обдумать, как его поступки могут отзываться на других...

Он был не скуп и не отказывал никому, кто просил у него. <...> В душе он считал себя безукоризненным человеком, искренне презирал подлецов и дурных людей и со спокойной совестью высоко носил голову».

Беспутный чаровник, умеющий размывать стену стыдливости, пленяет сердца и не оглядывается, беззаботно игнорирует богатых невест, но имеет связь с французской актрисой, не способный на угрызения совести, легко занимает деньги без отдачи, но так же легко раздает, равнодушный к тому, что о нем подумают другие, – чей это портрет? Вспомним еще, что Тургенев, к ярости Толстого, пускал волны романтического тумана в сторону его сестры, Марии Николаевны,

с таким же легкомыслием, с каким Анатолий вел себя, приехав свататься к княжне Марье Болконской. В дневнике Толстого есть запись: «Тургенев скверно ведет себя с Машей. Свинья!» И если добавить сюда сцену с Иваном Петровичем из «Дворянского гнезда», в которой он похищает Маланью и тайно женится на ней, и наложить ее на попытку Анатоля – тайно женатого! – похитить и увезти Наташу, два портрета сольются, как два отпечатка одного пальца.

Отношения между Тургеневым и Толстым – это история притяжений и отталкиваний, любви-вражды, достойная быть воссозданной в большом романе. Они встречаются часто, и после каждой встречи Толстой делает в дневнике противоречивые записи:

«Он дурной человек по холодности и бесполезности, но очень художественно умный и никому не вредящий... У него сперматорея, кажется, а все-таки не лечится и шляется... Сколько я помучился, когда, полюбив Тургенева, желал полюбить то, что он так высоко ставил. Из всех сил старался и никак не мог».

Но и Тургеневу часто их отношения в тягость.

«С Толстым я все-таки не могу сблизиться окончательно, слишком мы врозь глядим... Он слишком иначе построен, чем я. Все, что я люблю, он не любит – и наоборот... Думаю, если я похвалю суп, он тут же скажет, что суп дурен...»

Гром грянул посреди, казалось бы, безоблачного неба: во время дружеского визита в доме Фета, за завтраком, два

главных русских писателя заспорили о правильном воспитании детей, раскричались, перешли на оскорбления, выбежали из дома, разъехались, обменялись оскорбительными письмами и порвали отношения на многие годы. Письмо с вызовом на дуэль не дошло до нас, мы знаем его в пересказе Софьи Андреевны. Она записала в дневнике со слов Толстого, что тот «не желал стреляться пошлым образом, то есть что два литератора приехали с третьим литератором, с пистолетами, и дуэль бы кончилась шампанским, а желает стреляться по-настоящему и просит Тургенева приехать в Богуслов к опушке леса с ружьями».

Обмен оскорбительными письмами продолжался несколько месяцев (Тургеневу нужно было уехать за границу) и закончился короткой запиской Толстого: «Милостивый государь! Вы называете в своем письме мой поступок *бесчестным*, кроме того, вы лично сказали мне, что вы *дадите мне в розу*, а я прошу у вас прощения, признаю себя виноватым – и от вызова отказываюсь».

Так можно ли считать правомерной гипотезу, что три года спустя образ Тургенева всплыл в «Войне и мире» в облике Анатоля Курагина? Судите сами.

## ФРАНЦУЗСКАЯ АКТРИСА

Она потрясла холодный Петербург уже во время первых гастролей парижской Итальянской оперы в сезоне 1843/44.

«Раздались такие восхитительные бархатные ноты, каких, казалось, никто никогда не слыхивал... По залу мгновенно пробежала электрическая искра... В первую минуту – мертвая тишина, какое-то блаженное оцепенение... Но молча прослушать до конца – нет, это было свыше сил! Порывистые bravo! bravo! прерывали певицу, заглушали ее... Сдержанность, соблюдение театральных условий были невозможны; никто не владел собой... Да, это была волшебница! Уста ее были прелестны! Кто это сказал *некрасива?* Нелепость!»

Тургенев был мгновенно заморожен, окрылен, влюблен. Панаева не без сарказма описывает бурные проявления его чувств:

«Такого крикливого влюбленного, как Тургенев, я думаю, трудно было найти другого. Он громогласно всюду и всем оповещал о своей любви к Виардо, а в кружке своих приятелей ни о чем другом не говорил, как о Виардо, с которой он познакомился. Я помню, раз вечером Тургенев явился к нам в каком-то экстазе... Оказалось, что у него болела голова и сама Виардо потерла ему виски одеколоном. Тургенев описывал свои ощущения, когда почувствовал прикосновение ее пальчиков к своим вискам.

Не имея денег абонироваться в ложу, Тургенев без приглашения являлся в ложу, на которую я абонировалась в складчину со своими знакомыми. Наша ложа в третьем ярусе и так была набита битком, а колоссальной фигуре Тургенева требовалось много места. Он бесцеремонно садился в



ложе, тогда как те, кто заплатил деньги, стояли за его широкой спиной и не видели ничего происходившего на сцене. Но этого мало: Тургенев так неистово аплодировал и вслух восторгался пением Виардо, что возбуждал ропот в соседях нашей ложи».

Я воображала, что уж собрать подробные сведения об этом романе не составит большого труда. Ведь сохранились сотни писем И. С. к Полине Виардо. Но потом я узнала, что все не так просто. После смерти Тургенева весь его архив оказался в руках семейства Виардо, и Полина выдавала исследователям материалы из него с большим разбором. Свои письма она вообще оставила под замком. В хронологии писем Тургенева к ней зияют большие пробелы, хотя из его писем к дочери понятно, что в эти годы он писал к ней много раз. Полина Виардо не стеснялась в сохранившихся письмах исправлять не понравившиеся ей высказывания и оценки писателя на противоположные.

Всем нам свойственно желание приукрасить свой образ в глазах современников и потомков. Но простая скрытность – плохой прием. Мы не слышим волшебного голоса певицы Виардо (граммофон запоздал), мы не читали ее писем – и что же нам остается? Только одно – взглядеться в ее отражения, запечатленные в тургеневской прозе и драматургии.

Нет никакого сомнения в том, что именно она послужила прототипом для образа Натальи Петровны в пьесе «Месяц в деревне». И вся расстановка главных действующих лиц весь-

ма напоминает ситуацию, сложившуюся в поместье Виардо – Куртавнеле, когда Тургенев жил там в качестве друга-гостя в конце 1840-х. Себя он вывел под именем Ракитина. Ракитин дружит с хозяином дома, влюблен в его жену, ревнует ее к мужчинам, которых она одаривает своим вниманием. В одном из его монологов прорывается такая искренняя боль, что веришь: это *было* пережито самим автором:

«Без нее я жить не могу, в ее присутствии я более чем счастлив; этого чувства нельзя назвать счастьем, я весь принадлежу ей, расстаться с нею мне было бы, без всякого преувеличения, точно то же, что расстаться с жизнью... Я никогда себя не обманывал; я очень хорошо знаю, *как* она меня любит; но я надеялся, что это спокойное чувство со временем... Я надеялся! Разве я вправе, разве я смею надеяться? Признаюсь, мое положение довольно смешно... почти презрительно».

И в другом месте:

«Всякая любовь, счастливая, равно как и несчастная, настоящее бедствие, когда ей отдаешься весь... Погодите! Вы, может быть, еще узнаете, как эти нежные ручки умеют пытаться, с какой ласковой заботливостью они по частичкам раздирают сердце... Погодите! Вы узнаете, сколько жгучей ненависти таится под самой пламенной любовью!.. Вы узнаете, что значит принадлежать юбке, что значит быть порабощенным, зараженным – и как постыдно и томительно это рабство!.. Вы узнаете, наконец, какие пустячки покупаются

такой дорогой ценою...»

Есть косвенные указания на то, что Тургенев довольно долго был готов довольствоваться «пустячками». Эрос никогда не имел над ним полной власти. В письме Боткину в начале 1859 года он жалуется на какую-то даму петербургского полусвета: «Александра Петровна истощила меня до мозгу в костях. Нет, брат, в наши годы следует только раз в три месяца».

Пьеса «Месяц в деревне» имела цензурные затруднения и была впервые опубликована только в 1855 году. Но начата она в Куртавнеле, в 1849-м, поэтому можно считать, что Наталья Петровна – это портрет Полины Виардо «с натуры». Женщина эта часто бывает капризной, непредсказуемой, но может быть и доброй, отзывчивой, внимательной. Ее чувства бурлят, ей невозможно удовлетвориться мирным течением семейной жизни. Но и любовь Ракитина – это не то, что могло бы захватить ее целиком. Она говорит ему:

«Послушайте, Мишель, вы меня знаете, вы должны меня извинить. Наши отношения так чисты, так искренни... и все-таки не совсем естественны. Мы с вами имеем право не только Аркадию (мужу), но всем прямо в глаза глядеть... Вот оттого-то мне иногда и тяжело бывает, и неловко, я злюсь, я готова, как дитя, выместить свою досаду на другом, особенно на вас... Я вас люблю, и это чувство так ясно, так мирно... Оно меня не волнует, я им согрета, но... Вы никогда не заставили меня плакать... Все дело в том, что вы слишком

добры... Вы мне слишком потакаете... Вы слишком добры, слышите?»

Не исключено, что в эти годы жизни втроем Тургенев довольствовался ролью вздыхающего поклонника, жил смутными надеждами, маленькими знаками внимания. С хозяином дома, месье Луи Виардо, его связывала общая страсть – охота. Кроме того, они вдвоем переводили на французский произведения русских писателей, а впоследствии – и самого Тургенева. Месье Виардо вовсе не был из тех покладистых французских мужей, которые описаны в романе «Опасные связи». Его взгляды на человеческие отношения были окрашены пуританскими чертами. За повесть «Первая любовь» он устроил Тургеневу настоящий разнос:

«Мой дорогой друг, хочу сказать Вам напрямик, что я думаю о *Первой любви*. Вы даже не подозреваете, к какому сорту литературы эта повесть принадлежит. Все персонажи вызывают отвращение: и старая графиня, пристрастившаяся к куреву, и девушка с ее продажным кокетством, и гусар, и поляк – все они одинаково неинтересны. Кого же предпочтет эта новоявленная дама с камелиями? Конечно же, женатого человека. Все та же набившая оскомину супружеская измена, которая весьма приветствуется. Этот человек женат по расчету на женщине много старше его и прожигает ее средства, покупая себе любовниц. Не важно, что он обаятелен, прекрасен, неотразим. Но почему хотя бы не сделать его вдовцом? И зачем здесь эта унылая, невыразительная фигу-

ра его жены? Кто же рассказывает эту скандальную историю? Ее сын, какой стыд!»

Тургенев старается относиться бережно к чувствам месье Виардо. В одном письме с тревогой спрашивает у Полины, чем недоволен ее муж. Не тем ли, что этот чужой русский живет у них в доме? Если перо Тургенева срывается на слишком интимные нежности – с перечнем того, что именно он целует у своей адресатки, – он переходит на немецкий (этого языка месье Виардо не знает).

В 1850 году Тургенев должен был покинуть Куртавнель и вернулся туда только шесть лет спустя. Он продолжает время от времени писать Полине Виардо нежные письма из России. «Я хочу склониться к Вашим ногам и поцеловать край Вашего платья, дорогой, дорогой, добрый, благородный друг мой. Да хранит Вас небо». Она отвечает редко. «Вы не поверите, какую пустоту вызывает во мне отсутствие Ваших писем; я так давно уже лишен известий о Вас, это приводит меня в полную растерянность».

Письма от Полины – редкость. Зато она совершает поступок, на который бы и не всякая влюбленная решилась: принимает в свой дом на воспитание восьмилетнюю дочку Тургенева. Девочка приезжает во Францию неграмотной дикаркой. Но через несколько лет она превращается в парижскую мадемуазель, учиться рисовать, играть на фортепьяно, забывает русский и пишет отцу письма только на французском, хотя и с ошибками, за которые Иван Сергеевич постоянно

корит ее.

В ноябре 1850 года маменька Варвара Петровна скончалась, поднеся сыновьям напоследок еще несколько сюрпризов. «Мать моя, – пишет Тургенев Виардо, – в последние минуты не думала ни о чем, как (стыдно сказать) о разорении нас – меня и брата. В последнем письме, написанном ею своему управляющему, она давала ему ясный и точный приказ продать все за бесценок, поджечь все, если это было бы нужно».

А каковы сердечные дела Ивана Сергеевича в эти годы?

Да так же, как и десять лет назад: на поверхности – светская жизнь в салонах Москвы и Петербурга, флирт с дамами, легкие романы. У себя же, в помещичьем доме в Спасском, унаследованном от покойной маменьки, – красивая крепостная наложница, купленная у кузины за 700 рублей (при том, что средняя цена на девок в те времена колебалась от 20 до 50 рублей).

Итак, даже став богатым и независимым наследником имения, пламенный борец с крепостничеством по-прежнему уклоняется от брачных уз, предпочитает купить себе подругу, которая ни на что не посмеет претендовать. Все, что угодно, лишь бы не возлагать на свои любовные влечения хомут моральных обязательств!

Из воспоминаний современника:

«Новый барин накупил ей сейчас же всяких богатых материй, одежд, украшений, белья из тонкого полотна, посадил

ее в карету и отправил в Спасское; а потом приехал туда и сам.

Но в предмете его страсти оказались большие недостатки: прежде всего страшная неразвитость... С нею не было никакой возможности говорить ни о чем другом, как только о соседских дрязгах и сплетнях. Она была даже безграмотна! Иван Сергеевич пробовал, было, в первые медовые месяцы... поучить ее читать и писать, но увы! это далеко не пошло: ученица его смертельно скучала за уроками, сердилась... Потом явились на сцену обыкновенные припадки замужних женщин, а вслед за тем произошло на свет прелестное дитя».

Тургенев позаботился о матери, но родившемуся ребенку не достался счастливый удел его сводной сестры Полины. Сам И. С. так рассказывает об этом:

«Я впоследствии помог ей выйти замуж за маленького чиновника Морского министерства – и она теперь благоденствует в Петербурге. Отъезжая от меня в 1853 году, она была беременна, и у ней в Москве родился сын Иван, которого она отдала в воспитательный дом. Я имею достаточно причины предполагать, что этот сын не от меня; однако с уверенностью ручаться за это не могу. Он, пожалуй, может быть мое произведение. Сын этот попал в деревню к мужику, которому был отдан на прокормление».

В 1853 году Тургеневу разрешено было вернуться из деревенской ссылки в столицы. Возобновляются романтические

увлечения. В 1854-м – дальняя родственница, Ольга Александровна Тургенева, крестница Жуковского. Одновременно – многозначительная задушевность с замужними дамами: графиней Ламберт, Марией Николаевной Толстой. Не исключено, что именно его вздохи и намеки привели к тому, что брак Марии Николаевны вскоре распался. Но брачный хомут – нет, ни за что! Он объясняет Константину Леонтьеву:

«Нехорошо художнику жениться. Если служить музе... так служить ей одной; остальное надо все приносить в жертву. Еще несчастный брак может способствовать развитию таланта, а счастливый никуда не годится. Конечно, страсть к женщине – вещь прекрасная, но я вообще не понимал никогда страсти к девушке; я люблю больше женщину замужнюю, опытную, *свободную*, которая может легче располагать собой и своими страстями... Надо подходить ко всякой с мыслью, что нет недоступной, что и эта может стать вашей любовницей».

Только летом 1856 года, после окончания Крымской войны и смерти императора Николая Первого, Тургенев получает возможность поехать за границу, посетить любимый Куртавнель. Шесть лет пролетело—и как все изменилось! Он уезжал нищим, безвестным, зависимым от любого каприза маменьки. Теперь он богат, автор многих нашумевших произведений, друг известных литераторов. Надо думать, такое преобразование должно было произвести сильное впечатле-



ние на Полину Виардо. Мы ничего не знаем о том, как она встретила старинного поклонника. Знаем только, что девять месяцев спустя у нее родился сын Поль, по поводу чего Тургенев прислал пламенные поздравления – но не обоим родителям, а по отдельности каждому – и по-русски:

Месье Виардо он писал: «Мой дорогой друг, начинаю с того, что целую и поздравляю вас от всего сердца, а затем благодарю вас за память обо мне. Приятно все-таки иметь сына – не правда ли? А когда имеешь трех дочерей, то это становится еще более приятным. Вероятно, вам пришлось пережить мучительные минуты, но теперь вы должны быть очень счастливы».

Письмо Полине было отправлено в тот же день:

«*Hurrah! Ура! Lebehoch! Vivat! Evxhva! Zito!* Да здравствует маленький Поль! Да здравствует его мать, да здравствует его отец, да здравствует вся семья! Bravo! Я говорил вам, что все пойдет хорошо и что у вас будет сын! Поздравляю и целую вас всех».

Никогда рождение детей в семействе Виардо не вызывало у Тургенева такой бури восторга. Но Полина явно отказывалась разделить его ликование. Уже осенью 1856 года она явно за что-то прогневалась на своего русского друга. (Вправе ли мы предположить, что за непрошеную беременность, которая наверняка разрушила какие-то планы ее гастрольных поездок?) С этого момента она избегает его, не отвечает на письма. Почти в каждом письме к дочери, Полине Тургене-

вой, И. С. умоляет ее сообщать сведения о мадам Виардо, которая ему не пишет. (Его письма этого года к самой Виардо впоследствии не были предоставлены исследователям.)

Опала длится почти пять лет, и именно в эти годы Тургенев пишет «Дворянское гнездо». В этом произведении Полина Виардо выведена под именем беспутной жены Лаврецкого, Варвары Павловны. И мучения, которые эта женщина доставляет Лаврецкому-Тургеневу пострашнее того, что довелось пережить Ракитину-Тургеневу в пьесе «Месяц в деревне».

Варвара Павловна, как и ее прототип, – талантливая музыкантша, герой тоже встречает ее в театре и влюбляется без памяти. Она также проявляет необычайную деловую хватку, умеет превратить свою квартиру в салон, где дают «преlestнейшие музыкальные и танцевальные вечеринки».

Но вот герой узнает об измене жены:

«...Голова у него закружилась, пол заходил под ногами, как палуба корабля во время качки. Он и закричал, и задохнулся, и заплакал в одно мгновение.

Он обезумел... Этот Эрнест, этот любовник его жены, был белокурый смазливый мальчик лет двадцати трех, со вздернутым носиком и тонкими усиками, едва ли не самый ничтожный из всех ее знакомых...»

Лаврецкий оставляет неверную жену, возвращается в Россию, влюбляется в Лизу Калитину. Но Варвара Павловна настигает его и там и разрушает его счастье. И уж тут ей нет

пощады от автора. Она – воплощенное лицемерие, умелая интриганка, бессердечная манипуляторша, ненасытная развратница. Не зная уже, чем бы доконать ненавистную, Тургенев в конце романа дает ей в любовники отставного гвардейца с гоголевской фамилией Закурдало-Скубырников.

Один из знакомых записал оброненную им реплику: «Вот уж не понимаю, как это люди ревнуют! Для меня изменница уподобляется мертвому телу, труп бездыханному».

Довольно странное заявление для человека, много лет влюбленного в замужнюю женщину. Кроме того, не мог Тургенев не знать и о других увлечениях Полины. Труаяя утверждает, что о ее романе с художником Ари Шеффером знал весь Париж. (Кстати, «Дворянское гнездо» писалось как раз в те месяцы, когда протекал этот роман.)

Но несмотря на все обиды, на все терзания ревности – реальные или вымышленные, – мир и дружба постепенно возвращаются в обширное семейство Виардо. Тургенев поселяется рядом с ними в Баден-Бадене, в 1867 году начинает строить себе там шикарную виллу. В доме живут прелестные ученицы Полины Виардо, регулярно устраиваются музыкальные вечера, ставятся оперетты, в которых Тургенев – и автор, и актер, а мадам Виардо – композитор. Немецкая аристократия любит посещать эти представления, бывают даже коронованные особы.

«Эти представления долгое время давались в вилле Тургенева, более удобной, чем наша, – вспоминает Поль Виар-

до. – Из актеров мужского персонала нас было только двое: Тургенев и я. Для меня писались роли, подходящие к моему росту... Король Вильгельм смеялся до слез политическим намекам, которыми Тургенев пересыпал свой текст...»

Но не все было безоблачно в этом существовании. Русские друзья смотрели со смесью сочувствия и презрения на баденский треугольник. Строгая графиня Ламберт перестала отвечать на письма Ивана Сергеевича. «Жаль мне, что Тургенев не на дело, а для роли шута треплет свое влияние», – пишет Герцен в письме. Князь Петр Вяземский сочиняет злую эпиграмму:

Талант он свой зарыл в «Дворянское гнездо».  
С тех пор бездарности на нем оттенок жалкий,  
И падший сей талант томится приживалкой  
У спавшей с голоса певичы Виардо.

Да и сам И. С. болезненно переживает свою ситуацию. «Должен сознаться, что когда я в роли паши лежал на земле и видел, как на неподвижных губах вашей надменной крон-принцессы играло легкое отвращение холодной насмешки, что-то во мне дрогнуло! Даже при моем слабом уважении к собственной персоне мне представилось, что дело зашло уж слишком далеко».

Эта горечь потом выплеснулась в повести «Вешние воды» (1871), в которой герой Санин губит свою жизнь, поддавшись чарам властной и обаятельной женщины. «Дойдя в

своих воспоминаниях до той минуты, когда он с таким уни-  
зительным молением обратился к госпоже Полозовой, когда  
он отдался ей под ноги, когда началось его рабство – он от-  
вернулся от вызванных им образов, он не захотел более вспо-  
минать... Он страшился того чувства неодолимого презре-  
ния к самому себе, которое... непременно нахлынет на него  
и затопит, как волною... А там – житье в Париже – и все  
унижения, все гадкие муки раба, которому не позволяется  
ни ревновать, ни жаловаться и которого бросают, наконец,  
как изношенную одежду...»

Больше всего Марья Николаевна Полозова ценит свобо-  
ду и возможность отдавать приказания. Она и замуж вышла  
за своего «пышку» Полозова именно потому, что, при своей  
бесхарактерности, он никогда не посмеет стеснять ее свое-  
волие. Супруги иногда даже заключают пари, удастся ли Ма-  
рье Николаевне заманить в любовные сети очередную жерт-  
ву. Господин Полозов прекрасно сознает свою роль и место.  
«И полезный же я ей человек! Ей со мной – лафа! Я – удоб-  
ный!»

Видел ли себя и месье Виардо в таком же свете?

Этого мы не знаем.

## ТЕАТР ТУРГЕНЕВА

С молодых лет, с того момента, как вырвался он из-под  
власти маменьки и попал в столицы, Иван Сергеевич был

обуян сильней всего одной страстью: чаровать и впечатлять. Поначалу его позирование было таким простодушным, что вызывало серьезные нарекания окружающих.

«От Белинского, – вспоминает Панаева, – Тургеневу досталась сильная головомойка, когда дошло до его сведения, что Тургенев в светских дамских салончиках говорил, что не унизит себя, чтобы брать деньги за свои сочинения; что он их дарит редакторам журнала.

– Так вы считаете позором сознаться, что вам платят деньги за ваш умственный труд? стыдно и больно мне за вас, Тургенев.

Тургенев чистосердечно покаялся в своем грехе и сам удивлялся, как мог говорить такую пошлость».

«Он... тщательно разыскивал, примеривал к себе множество ролей и покидал их с отвращением, убедаясь, что они казались всем не делом, а *гениальничаньем* и скоро забывались» (П. Анненков).

«Хлестаков, образованный и умный, внешняя натура, желание выказываться...» (А. Герцен).

Будучи за границей, Тургенев часто посещал Герцена и очень старался понравиться дамам в его кружке. Но их обостренное чутье к малейшей фальши создавало здесь для него серьезные трудности.

«С приятелем твоим Тургеневым мы все неприятели, – пишет Натали Герцен своей подруге, Наташе Тучковой. – Талантливая натура, я слушаю его с интересом, даже люблю

его, но мне никогда не бывает его *нужно*... Я сношу его посещения иногда три раза в день, но не могу выносить его в хорошие минуты. Мне случалось увлекаться и говорить с ним от души – и всякий раз жалела об этом. Но человек он очень, очень хороший, интересный и иногда приятный».

Чувствуя это холодноватое отчуждение, Тургенев пытался растопить его, превращая вечера в настоящие театральные представления.

«У Тургенева являлись удивительные фантазии, – вспоминает Огарёва-Тучкова. – Он то просил у нас всех позволения кричать, как петух; влезал на подоконник и, действительно, неподражаемо хорошо кричал и вместе с тем устремлял на нас неподвижные глаза; то просил позволения представить сумасшедшего. Мы обе с сестрой радостно позволили, но Наталья Александровна Герцен возражала ему:

– Вы такие длинные, Тургенев, вы все тут переломаете... да, пожалуй, и напугаете меня.

Но он не обращал внимания на ее возражения... Он всклопочет себе волосы и закроет ими себе весь лоб и даже верхнюю часть лица; огромные серые глаза его дико выглядывают из-под волос. Он бегал по комнате, прыгал на окна, садился с ногами на окно, делал вид, что чего-то боится, потом представлял страшный гнев. Мы думали, что будет смешно, но было как-то очень тяжело... Мы все вздохнули свободно, когда он кончил свое представление, а сам он ужасно устал».

Иногда он устраивал представления для единственного зрителя – самого себя.

«Тоска напала на меня однажды в Париже – не знал я, что мне делать, куда мне деваться. Сажу я у себя дома и гляжу на шторы, а шторы были раскрашены, разные были на них фигуры, узорные, очень пестрые. Вдруг пришла мне в голову мысль. Снял я штору, оторвал раскрашенную материю и сделал из нее длинный – аршина в полтора – колпак. Горничные помогли мне – подложили каркас, подкладку, и, когда колпак был готов, я надел его себе на голову, стал носом в угол и стою... Тоска стала проходить, мало-помалу водворился какой-то покой, наконец, мне стало весело».

Но главный театр Тургенева, его любимые подмостки – это письма к женщинам, пробудившим в нем лирические чувства. С бесконечной изобретательностью он расцветчивает их вариациями на несколько тем, проходящих сквозными нитями через его огромное эпистолярное наследие: грусть одиночества; благодарность за нежное участие; смутные надежды на возрастание сердечной близости; восхваление исключительного обаяния и добродетелей адресатки.

Если бы Тургенев оказался в своей любимой Франции на шесть веков раньше, он наверняка пополнил бы ряды провансальских трубадуров. Один из наших лучших переводчиков куртуазной поэзии той эпохи, А. Г. Найман, так описал культ любви-влюбленности, царивший у бардов XIII—XIV веков: «Главной темой, содержанием и сутью поэзии



трубадуров является любовь к Даме... Трубадур, как правило, неженатый, влюблен в Даму, обычно замужнюю и поставленную выше него в обществе. Дама относится к нему более или менее сурово – самое большее, чего он иногда удостоивается, это улыбка или приветливый взгляд; поцелуй считается уже высшей наградой... По своей природе куртуазная любовь не заинтересована в результатах, она ориентирована не на достижение цели, а на переживание, которое одно способно принести высшую радость влюбленному».

Именно такой культ Дамы необычайно близок душевному настрою Тургенева. Порой кажется, что трепетная влюбленность живет в нем постоянно и только и ждет, на кого бы ей излиться. И да, предпочтительно на замужнюю, чтобы не было угрозы низвергнуться вдруг в повседневную прозу брачной жизни. Когда Мария Николаевна Толстая разошлась с мужем, переписка Тургенева с ней начала угасать. Проницательный Лев Толстой однажды заметил: «Тургенев никого не любил. Он влюблен в любовь».

Плотские мотивы любовного влечения редко всплывают в письмах – по крайней мере в тех, которые стали нам известны. Из письма Полине Виардо (по-немецки): «Тысяча благодарностей за милые ноги; взамен посылаю Вам свои волосы. Прошу Вас прислать мне лепесток из-под Вашей ноги. Целую милые, дорогие ноги».

Из письма графине Ламберт:

«С радостью думаю о вечерах, которые буду проводить

нынешней зимою в вашей милой комнате. Посмотрите, как мы будем хорошо вести себя, тихо, спокойно – как дети на Страстной неделе. За себя я отвечаю».

Тургеневу было под пятьдесят, когда объектом его пламенной нежности стала вторая дочь Полины Виардо, семнадцатилетняя Клоди. В письме к ней есть фраза: «Целую все твое тело, везде, где только ты мне позволишь его целовать». (Куда смотрела мамаша Полина – публиковать такое письмо?!). Но такие же вспышки интимности, почти слово в слово, проскользнут впоследствии в письмах к актрисе Марии Савиной.

Увы, каждая женщина, получавшая письма с такими нежными излияниями, имела право воображать, что это ей одной. И открывать свое сердце чаровнику. И горько упрекать его потом за обман, неискренность, «измену». Однако эпистолярный «театр» Тургенева не был одним лицедейством. В письмах он оттачивал литературный стиль и позже использовал отрывки из них, как живописец использует зарисовки в блокноте. Борис Эйхенбаум отыскал десятки фраз и пейзажных зарисовок, которые впоследствии дословно перекочевали из писем в прозу Тургенева.

Нет, он не лицемерил. Он изображал на своих подмостках сильные и искренние чувства, которые он испытывал. Только он их испытывал задолго до появления очередной Прекрасной Дамы, и они оставались в нем надолго после ее исчезновения.

И при этом он часто бывал глубоко и искренне несчастен. Он очень боялся смерти, много думал о ней. Из дневника последних лет: «Полночь. Сажу я опять за своим столом... а у меня на душе темнее темной ночи... Могила словно торопится проглотить меня; как миг какой пролетает день, пустой, бесцельный, бесцветный. Смотришь: опять вались в постель. Ни права жить, ни охоты нет; делать больше нечего, нечего ожидать, нечего даже желать».

Эдмон Гонкур записал в дневнике разговор с Тургеневым. Тот говорил, что тоска его – от невозможности более любить. «Я уже не могу любить, понимаете?.. А ведь это – смерть... Что касается меня, то вся жизнь моя насыщена женственностью. Нет ни книги, ни чего бы то ни было на свете, что бы могло заменить мне женщину. Как это выразить? По-моему, одна только любовь дает тот полный расцвет жизни, которого ничто не дает».

Милая Юлия Петровна, кажется мое «досье» непомерно затянулось. Надеюсь, по крайней мере, что оно достаточно ясно дает понять, чем Вы рискуете, идя на сближение с таким человеком, как И. С. Тургенев. Он будет искренне стараться найти для Вас любовную роль в спектакле, разыгрываемом им на протяжении всей жизни. Но согласится ли он покинуть ради Вас свою командную и безопасную позицию режиссера, автора, суфлера? Я не могу Вам этого обещать. С тревогой и сердечным участием буду ждать Вашего решения. Желая

Вам счастья и мира душевного.

Увы, дорогой Иван Сергеевич!

Моя машина времени сломалась, «досье» о Вас не попало в руки Юлии Петровны Вревской. Она приехала к Вам в Спасское летом 1874 года и провела там пять дней. Приехала с братом, так что приличия были соблюдены.

Потом началась переписка. И как умело Вы тревожили сердце женщины своим искусственным пером! Помните эти письма?

«Милая Юлия Петровна! Когда Вы сегодня утром прощались со мною, я... не довольно поблагодарил Вас за Ваше посещение. Оно оставило глубокий след в моей душе – и я чувствую, что в моей жизни с нынешнего дня одним существом больше, к которому я искренне привязался, дружбой которого я всегда буду дорожить, судьбами которого я всегда буду интересоваться... От души желаю Вам всего хорошего, целую Ваши милые руки и остаюсь искренне Вас полюбивший Иван Тургенев».

«...Мне все кажется, что если бы мы оба встретились молодыми, неискушенными – а главное – свободными людьми... Докончите фразу сами... Я часто думаю о Вашем посещении в Спасском. Как Вы были милы! Я искренне полюбил Вас с тех пор. Можете Вы прислать мне хорошую Вашу фотографию?.. Мне приятно даже заочно целовать Ваши

руки, что я и делаю теперь...»

«Уж как там ни вертись, а должно сознаться, что если и не веревочкой и не черт – а кто-то связал нас... Со времени посещения в деревне узелок опять завязался – и на этот раз довольно плотно. Смотрите, не вздумайте ни перерубить, ни развязывать этот узелок».

Следующая встреча – через год, на водах в Карлсбаде. Что-то произошло там, что оставило горький след в душе Юлии Петровны. Она пишет про какой-то ров, который остался между вами, «по которому смирнехонько бежит карлсбадская водица», упрекает Вас в скрытности. Раззадоренный упреками, Вы отвечаете с необычной для Вас прямотой: «Вы меня называете скрытным; ну, слушайте же – я буду с Вами так откровенен, что Вы, пожалуй, раскаетесь в Вашем эпитете. С тех пор как я Вас встретил, я полюбил Вас дружески – и в то же время имел неотступное желание обладать Вами; оно было, однако, не настолько необузданно, чтобы попросить Вашей руки, к тому же другие причины препятствовали; а с другой стороны – я знал хорошо, что Вы не согласитесь на то, что французы называют *unepassade*... Вот Вам и объяснение моего поведения».

Но Юлия Петровна так увлечена Вами, что, кажется, готова и на *unepassade*. Вы продолжаете рассыпать в письмах приманки и намеки: «Чувствую, что старею... и несколько меня это не радует. Напротив. Ужасно хотелось бы перед концом выкинуть какую-нибудь несуразную штуку... Не по-

можете ли?»

Судя по всему, она «помогла». Когда вы встречаетесь в Петербурге летом 1876 года, там и тут мелькают знаки, указывающие на интимную близость. Ведь вряд ли Вы стали бы просить *простую знакомую* заказать Вам номер в гостинице, прислать на вокзал карету, вряд ли стали бы появляться вместе с ней в ресторанах и у общих друзей. Она, в свою очередь, приглашает Вас остановиться у нее в квартире. Но потом – неизбежно! – начинается Ваше вечное умелое ускользание.

«А Вы все еще считаете нужным меня успокаивать и умоляете меня не „пугаться“ и обещаете не ввести меня в беду. Могу Вас уверить, что между мною и прекрасным Иосифом столь же мало общего, как между Вами и женой Потифара; боюсь я холеры – но уж никак не милых дам – и особенно таких добродушных, как Вы... Я искренне к Вам привязан, но иногда замечаю, что Вы молодая, милая женщина – и „напрасность“ этого замечания меня смущает.

Крепко и дружески жму Вашу руку и остаюсь...»

Уже только «жму руку» – не «целую».

Юлии Петровне ничего не остается, как попытаться забыть Вас. И она выбирает для этого довольно сильное средство: уезжает медсестрой на русско-турецкую войну (1877). И вскоре заболевает там тифом и умирает.

Нет, не мне бросать Вам горький упрек, Иван Сергеевич, не мне корить Вас за разбитые сердца, разрушенные судьбы. Да и не дошли бы до Вас мои упреки. Вы сумели – может

быть, единственный из русских писателей XIX века – увернуться навеки от чувства вины. Прожили свою жизнь в зоне вечной невиноватости. Сожалений – сколько угодно, пилить себя за совершенные ошибки – хоть с утра до вечера. Но не боль вины за причиненные кому-то страдания. Чистый Анатолий Курагин!

Не мне обвинять Вас – идолопоклонника любви. Потому что я и сама живу распростертой перед тем же кумиром. Пока мы окружены миллионами людей, верующих в других идолов, и прежде всего – в идола обязательной, принудительной моногамии, – Ваш выбор еще не самый худший. Брачные узы, требующие отказа от всех будущих – возможных – невозможных – влюбленностей, – не для нас. А наказание? Кажется, Вы его получили сполна. Ведь не притворялись же Вы, когда так страстно и горько уговаривали одного молодого человека жениться:

«Да, да, женитесь, непременно женитесь. Вы себе представить не можете, как тяжела одинокая старость, когда поневоле приходится приютиться на краешке чужого гнезда, получать ласковое отношение к себе как милостыню и быть в положении старого пса, которого не прогоняют только по привычке и из жалости к нему. Послушайте моего совета! Не обрекайте себя на такое безотрадное будущее!»

## 8. ИСХОД

«Сокровища» – от слова «сокрыть», «скрывать».

Главные книжные сокровища в Публичной библиотеке были скрыты-сокрыты от глаз читателей. Требовалось сначала рыться в каталоге, выписывать название, автора и регистрационный номер нужной книги с карточки на бланк заказа. Потом нести пачку заказов библиотекарю. Потом ждать часами, пока книгу отыщут где-то на недоступных для тебя полках, сдуют пыль, доставят в читальный зал.

Библиотекари все были женщины, причем попадались препротивные. Одна крашенная толстуха ухитрилась придрасться к любой мелкой ошибке в бланке, брезгливо тыкала в нее пальцем, страдальческим шепотом требовала исправить. Добрые библиотекари старались запомнить тебя, чтобы потом подойти к твоему столу и известить о прибытии фолианта. Эта же предпочитала, чтобы ты по десять раз подходила к конторке справляться, давая ей возможность урвать свое тиранское удовольствие от очередного «нет», «не нашли еще», «ишь нетерпеливые, разогнались». Часто оказывалось, что после долгого ожидания – целый день потерян! – ты получала книгу и видела, что в ней нет того, что ты надеялась найти.

И все же мне поначалу чудилось что-то даже отрадноторжественное в этой волоките. Видимо, я заразилась – унасле-



довала – от матери ее культовое поклонение книжному царству. Возможно, я была бы даже разочарована, если бы каждого пускали к полкам и позволяли рыться на них без помощников-надсмотрщиков. Этак ведь и разворуют сокровища, глазом не успеешь моргнуть! Но вот именно на Андрее Белом я вдруг сорвалась.

Мне нужна была его книга «В царстве теней». Он написал ее в начале 1920-х годов, вернувшись из недолгой эмиграции. В Берлине все его разочаровало, встречи с российскими литературными беглецами не принесли радости. Он вернулся в Совдепию и пытался – надеялся – как-то приладиться к новым порядкам, новым владыкам. Я подала заполненный бланк и часа через два подошла справиться.

– Что за растяпство! – зашипела на меня крашенная толстуха, тыча пальцем в листок с заказом. – Даже карточку правильно переписать не могут!

– В чем дело? Автор, название, номер – все на месте.

– А где буквы СХ? На карточке ясно указано СХ – спецхран.

– Ну хорошо. Вы обнаружили мою ошибку, исправили. Могу я теперь получить нужную мне книгу?

– Да вы что – вчера родились? С луны свалились? На книги из спецхрана нужно специальное подтверждение-разрешение на бланке вашего института. Принесете подтверждение – тогда будем разговаривать.

«Ах ты, выдра крашенная! – хотелось закричать мне. – Ах

ты, книжная тюремщица! Да кто ты такая, чтобы прятать от меня нужные мне книги? Это я прочитала все письма Андрея Белого, все его статьи и романы. Это для меня он стал за последние месяцы как кровный родственник – трудный, истеричный, непредсказуемый. Но родной! А для тебя он – только зэк в полосатом коленкоре, с номером на спине. И ты, ты будешь решать, пускать меня на свидание с ним или нет?»

Я вышла из библиотеки, все еще внутренне бурля и пыхтя. Впервые в жизни я так остро почувствовала себя обделенной, насильственно отрезанной от чего-то бесконечно важного. И сколько у них там упрятано, в этих спецхранах? Сотни тысяч томов? И может быть, среди них – самые нужные для меня книги? Книги, о существовании которых я даже не подозреваю?

С этого дня сдавленное возмущение начало нарастать во мне, как снежный ком. Любую житейскую передрагу я подхватывала клювом и вплетала в гнездо, в котором созревало яйцо моей обиды. В гастрономе подсунули колбасу с зеленым пятном? Это все «они», «их» проделки. Троллейбус приехал промерзший, с выключенным отоплением? Ясное дело: «они» решили электричество экономить в конце квартала. Ни в одной аптеке не найти валидола для матери? Тащу туда же, вплетаю, наращиваю.

И впервые начала прислушиваться к слухам и шепотам, шелестевшим – протекавшим – журчавшим тогда в еврейских семьях. Неужели правда выпускают? Вот так просто:

подашь заявление – и разрешат уехать? Нет, сначала нужно получить вызов-приглашение от родственников из одного маленького обетованного государства, название которого лучше не произносить вслух. У вас нет там родственников? Это ничего, это просто формальность. Вы даете свой адрес кому-то из отъезжающих, сообщаете имена членов своей семьи, желающих уехать, и через месяц-другой получите приглашение по всей форме. Никто не станет проверять, от настоящего родственника оно или от выдуманного.

Да, такие сегодня правила игры. Их могут в любой момент изменить, но пока – так.

Главная опасность – рогатка – препона – не в приглашении, а в сборе документов. Если у вас есть доступ к «их» военным секретам, тогда пиши пропало – не выпустят. Но если и нет, нужно собрать кучу бумажек. Справку с работы, что уволился и никаких претензий к тебе нет, из жилконторы, из военкомата, кажется, даже из библиотеки – что нет за тобой зажиленных книг. А самое трудное – от отца и матери, если они остаются. Старики от страха часто упрутся—и ни за что не дают разрешения. Но все равно уже многие уехали. И каждый уехавший увозит пачку адресов новых желающих, и приглашения из обетованной страны летят и летят.

Ну а если все же не разрешат уехать?

Да, тогда плохо. Ты попадаешь «в отказ» и называешься «отказник». На работу никуда не примут, даже чернорабочим. Из-за границы присылают посылки, но на это не про-

жить. Кто-то дает частные уроки, кто-то выучился ремонтировать электроприборы, кто-то делает дома рамки для картин и фотографий. И никогда не известно, сколько может продлиться отказ. Ждут и год, и два, и три. После каждого отказа новое заявление на отъезд можно подавать только через шесть месяцев.

Долго и жадно собирала я эти слухи, складывала картину по кусочкам. Отметала явные легенды, проверяла достоверность каждого рассказа. Наконец решилась заговорить с Додиком. Конечно, издалека, конечно, намеками. «Представляешь, у подруги Вали один редактор увольняется. Причина? Решил эмигрировать. Каково! Да, теперь это вроде разрешают. Ты что-нибудь слышал?»

Оказалось, что Додик тоже весь последний год собирал истории про эмигрантов и отказников. И тоже не решался заговорить со мной.

– Я думал, что для тебя это – как лететь на Марс. Тебе ведь не только у родителей пришлось бы просить разрешения. Еще у Пушкина, Гоголя, Толстого, Тургенева... А они упрямые, ни за что не отпустят. Твоя страна – язык, а оттуда выездную визу не дают. Как ты можешь уехать от русских рифм и суффиксов?

– А ты? Ты бы решился?

– Мне-то что. Формулы в переводе не нуждаются. Помнишь, я тебе рассказывал про американского профессора, который подходил ко мне после доклада на конференции?

Он сказал, что на его кафедре, в университете под Нью-Йорком, всегда найдется место для меня.

– Ну а Марик? Говорят, что дети эмигрантов быстро теряют родной язык. Представь себе, что наш сын, у нас на глазах, станет превращаться в иностранца.

– Зато ему не надо будет носить пионерский галстук и салютовать портретам на стене.

– И родители! Моя мать такого не переживет. Она Марика обожает. Не представляю, чтобы она дала мне разрешение на отъезд.

– Мои старики тоже встанут на дыбы. Видимся раз в год, но этот раз для них – как свет в окошке. Наверное, ты права – лучше не пытаться. Застрянем в отказе, и вся жизнь полетит под откос.

После этого разговора все происходящее вокруг меня, все привычные кинокольца будней, стали как будто двоиться в глазах. Я сидела на заседании кафедры, смотрела на знакомые лица коллег, что-то отвечала на их вопросы – это была гладкая, налаженная жизнь, немного рутинная, немного надоевшая, но зато нестрашная, легко переводимая на понятный язык. И одновременно те же самые лица виделись каким-то дрожащим, прощальным миражом, будто уже кинохроника прошлого, будто сквозь иллюминатор взлетающего самолета. Протекающий потолок в квартире, хамящая гардеробщица, опоздавший автобус, сочащийся презрением официант, колесо грузовика, плеснувшее грязью на светлое

пальто, – от всего этого теперь стало можно спастись, прыгнуть в мечтательно-предотъездные «чурики».

И все же, я думаю, мы с Додиком еще долго колебались бы и тянули, если бы не пожар. Пожар словно провел черту, после которой мы сказали: «Хватит, довольно».

Правда, и пожаром-то это назвать можно было с большой натяжкой. Просто посреди ночи мы почувствовали запах дыма, вскочили, забегали по квартире в поисках огня. Дым шел из-под наружной двери. Горит лестница? Мы заперты? Что делать? Звонить пожарным? Приготовиться прыгать с четвертого этажа?

Додик набрал ведро воды, изготовился.

Я отперла замок, нажала на ручку.

Пламя змеилось по полу, начало лизать обшивку. Оказалось, ничего страшного – хватило одного ведра, чтобы придушить его. Теперь пахло не только дымом, но и чем-то химическим. Кто-то, видимо, притащил под нашу дверь тряпья, газет, плеснул бензином и поджег. Хотел просто развлечься? Выбрал дверь наугад? Хулиганистые подростки? Или мы, сами того не ведая, отравили своими интеллигентными рожами жизнь кому-то из соседей?

Милиция пыталась расследовать, но виновных не нашла. А мы? Мы вдруг оба ужасно ожесточились. Какой-то дымный остаток – осадок – чужой злобы остался в душе и висел там черным облаком. Ах так? Вы с нами так? Тогда мы... И через неделю передали по цепочке наши имена и адрес оче-

редному отъезжавшему.

Потянулись дни ожидания. Павлу Пахомовичу я ничего не говорила, но он заметил, что во мне что-то переменялось.

– Как-то странно ты на меня смотришь сегодня, – сказал он, упершись локтем в подушку. – Как-то задумчиво и прощально.

– Я недавно перечитывала «Путешествие Онегина». И подумала: как много разъезжали по свету герои русской литературы. Чацкий, Штольц, Лаврецкий, Мышкин. Заграница была частью их жизни. А мы всю жизнь сидим, как под колпаком. Вот тебя когда-нибудь выпускали за рубеж?

– Только один раз – с делегацией, в Чехословакию. У нас как-то быстро кончились выданные деньги, и мы последние дни просто голодали. Мой сосед по номеру придумал варить макароны в умывальнике.

Да-да, не смейся. У него с собой был электрический кипяtilьник. Мы затыкали слив, заполняли раковину водой, совали туда кипяtilьник. Вода через полчаса закипала, мы кидали туда макароны – так и питались. К сожалению, не было масла. Но есть можно. Отец тоже заподозрил неладное. Но он почему-то решил, что затрещал наш семейный корабль.

– Все кругом разводятся. Неужели и до вас дошло?

– С чего ты взял?

– Я на днях разговаривал с Додиком по телефону. Он вдруг вспомнил, что год назад одолжил у меня наушники

для приемника. Я сказал, что этого добра у меня на работе полно. В любой момент могу получить бесплатно. Но он все равно хотел зайти и вернуть. Вы правда не ссорились?

– Нет, с Додиком у нас все хорошо. Он надежный.

– Он-то надежный, а вот...

– Ну, договаривай. Ты во мне не уверен?

– Не то чтобы... Но мы с тобой так во многом похожи...

Всегда ищем нового... Готовы погнаться за любым миражом... А потом жалеем...

Наконец через полтора месяца приглашение прибыло. Какой-то Арон Менделевич Гиткин, житель города Хайфа, вспомнил о своем кузене Давиде и жаждал воссоединиться с ним и его семьей. Он надеется, что советские власти не будут препятствовать столь гуманному и естественному порыву чувств.

Топор упал, перерубил якорный канат. Наш кораблик начал соскальзывать в океан неведомого. В институте хотели созвать специальное собрание, чтобы публично заклеить двух изменников-беглецов. Но потом предпочли не поднимать шума. Почему знать – вдруг найдутся подражатели?

В нашей квартире замелькали незнакомые лица. Нужны были деньги на выкуп, который тогда назывался «плата за отказ от гражданства». Мы продавали все: книги, холодильник, буфет, телевизор, серебряные ложки – подарок Додиковой семьи. Марик плакал, расставаясь с велосипедом, не



верил, что на новом месте ему купят другой. Я все откладывала самое трудное, но наконец решилась – пошла сообщить печальную новость матери.

Она выслушала спокойно. Долго сидела, сложив руки на подоле. Потом вдруг нагнулась лбом в колени, стала тихо выть:

– А-а-а-а-а-а...

– Что ты? Что? Перестань!.. – Я трясла ее, обнимала, целовала в затылок, в шею, в ухо.

– А-а-а-а-а-а! – продолжала она все тоньше и жалобней. – Не хочу жить!.. Не хочу жить!... – И снова: – А-а-а-а-а!..

Наверное, так выли женщины, получая похоронки с фронта.

– Ну успокойся!.. Не мучай меня!.. Не умирать же мы собрались... Как только доберемся и устроимся, первым делом позовем тебя в гости... Марик будет водить тебя по улицам за руку и все объяснять... Мы пришлем тебе новые книги, пластинки...

Она постепенно утихала, утирала слезы со щек. Отъезд – это было что-то неслыханное, не по правилам, ни в каких циркулярах не объясненное, ни в каких романах не описанное. Как на него реагировать? Можно ли помешать?

– Нет, – бормотала она. – Это все неправильно, это какой-то перегиб... Я не разрешаю... Буду писать в газеты... Ты сама мать – должна чувствовать, сострадать... Так сразу, вдруг... Как обухом по голове...

Я промучилась с ней полдня. Уговаривала, обещала, сочиняла всякую небывальщину. В конце концов она подписала нужную бумагу. Но вымолила, чтобы Марик оставшиеся недели прожил у нее.

Зато отец согласился сразу и даже подбадривал:

– Ничего не бойся... Там тоже люди живут. Увидишь свет... Мне-то не удалось – так хоть вы хлебнете вольного воздуха.

Но Додик – бедный Додик! Он улетел за нужными подписями к родителям и пропал. Ни телефонного звонка, ни письма, ни телеграммы. Умирая от беспокойства, я проводила вечера за чтением Библии.

«Царь Египетский повелел повивальным бабкам Евреянок и сказал: если будет сын, то умерщвляйте его; а если дочь, то пусть живет. Но повивальные бабки боялись Бога и не делали так, как говорил им Царь Египетский; и оставляли детей в живых. А фараону сказали: Еврейские женщины не так, как Египетские; они здоровы, ибо прежде нежели придет к ним повивальная бабка, они уже рожают. За сие Бог делал добро повивальным бабкам; а народ умножался и весьма усиливался».

Мне нравились смелые повивальные бабки, послушавшиеся фараона. Но читать историю Исхода как сказку я не могла. Никуда не денешься – примеряла древние легенды к нашим векам. «И повелел царь Российский не принимать сынов Израилевых в университеты, запрещал им владеть зем-

лей, селиться в больших городах...» Но тут же мой въедливый ум филолога возвращался к старинному тексту, начинал цепляться к деталям, ловить противоречия и несуразности.

Что это за непослушная дочь фараона, нашедшая младенца в корзине? Отец приказал убивать всех новорожденных еврейских мальчиков, а она приютила младенца Моисея, найденного в камышах у реки? Откуда она догадалась, что он из еврейских детей и что ему нужна еврейская кормилица? Он был уже обрезан? Но тогда бы он, достигнув зрелости, знал, что принадлежит к еврейскому племени, и соблюдал бы обряды. Он же бежит в землю Мадиамскую, опасаясь возмездия за убийство египтянина, там женится на Сепфоре, плодит детей и не вспоминает о своей вере. Только годы спустя, на обратном пути в Египет, жена его Сепфора обрезала их сына Гирсама.

А откуда Аарон узнал, что Моисей его брат? Господь ничего не говорит ему об этом. Сказано только: «Пойди навстречу Моисею в пустыне». Их родство всплывает только две главы спустя, в родословной. Причем любопытная деталь: сказано, что их отец Амрам женился на собственной тетке, которая и родила ему двух сыновей. Видимо, на инцест тогда смотрели сквозь пальцы. И почему бабка-тетка-мать оставила Аарона при себе, а Моисея положила в корзинку и пустила на волю речных волн? Вообще, не логичнее ли предположить, что Моисей был просто пришелец из земли Мадиамской, – это и объясняет его косноязычие. Он про-

сто не владел в достаточной мере ни египетским, ни ивритом, и все его пророчества и требования поначалу переводил – пересказывал – Аарон.

Смущала меня и история казней египетских. Каким образом надеялись Аарон и Моисей облегчить участь еврейского народа, совершая на глазах у всех свою диверсию на нильских водах? «И поднял Аарон жезл, и ударил по воде речной пред глазами фараона и пред глазами рабов его, и вся вода в реке превратилась в кровь. И рыба в реке вымерла, и река воссмердела, и Египтяне не могли пить воды из реки».

Не отсюда ли пошел весь мировой антисемитизм? Не за песьих ли мух, и моровую язву, и саранчу, и смерть первенцев возненавидели избранный народ Господень?

В наше время, как подсмотрел Павел Пахомович, воду превратили не в кровь, а в соляную кислоту, нодохлая рыба в воде, надо думать, тоже воссмердела, как в Библии. Однако, по крайней мере, на этот раз не догадались свалить на евреев. И другие казни российские – мы должны ценить! – не были на них свалены. Ни колорадские жуки, якобы засланные империалистами и губившие урожаи картошки, ни тьма египетская, нависшая над Москвой от пожаров окрестных торфяников, ни вечные неурожаи, заставлявшие ввозить зерно из Канады, фрукты – из Болгарии, овощи – из Венгрии. Правда, евреев объявили однажды «убийцами в белых халатах» – но тут уж вмешался сам Господь, пережал крохотный кровеносный сосудик в голове злого грузинского

фараона.

А если отвлечется на другие важные дела и в следующий раз не вмешается?

Он ведь непредсказуем. Наставляя Моисея, учил его, как спасти народ еврейский, а на пути в Египет вдруг передумал, наверное. Читаем: «Дорогою на ночлеге случилось, что встретил его Господь и хотел умертвить его» (Исход, 4: 24). Почему «умертвить»? За что? С какой целью? А как же спасение Израиля? Тайна. Загадка. Непостижимость.

Додик вернулся только через неделю.

– Да, подписи на разрешении получил. Не спрашивай, какой ценой, чего я им наобещал. Тебе нравится, чтобы у меня были тайны, – вот пусть будет еще одна в копилке. Могу только рассказать про последнее испытание: визит к генералу Самозванову. Да-да, они потребовали, чтобы я выслушал танкового Тамерлана. Я провел у него в кабинете чуть не пять часов.

Рассказывая, Додик очень похоже изображал Николая Гавриловича, иронизировал. Но мне было не до смеха. Генерал запер дверь кабинета, повесил на стену карту Ближнего Востока и под большим секретом прочел Додику стратегическую лекцию. По его объяснениям выходило, что дни маленькой страны, где у нас обнаружился мифический родственник, сочтены. Как только будет завоеван плацдарм в Ливане, вся российская военная техника перебрасывается в

район Ближнего Востока.

– Ракеты «земля—воздух» – в Египет, вдоль всего Суэцкого канала. Сирия наносит удар вот отсюда. Не исключено, что и нашу дивизию в какой-то момент пошлют туда. На Иорданию надежда слаба, но Ирак двинет свою миллионную армию с востока. Простая арифметика, считайте сами: как могут четыре миллиона устоять против ста? Вы же математик, вы должны понимать, что это математический нонсенс! И вы, со всей семьей, попадете как раз под бомбы и снаряды.

Поверьте, когда танки идут атакующей колонной, всегда лучше быть позади их гусениц, чем впереди. О сыне подумайте, о жене.

Конечно, не обошлось и без стихов. Бедному Додиду пришлось выслушать лермонтовский «Валерик», блоковских «Скифов», большие куски из «Василия Тёркина». В поэтическом тумане казалось, будто границы Российской советской империи расширяются на глазах, заливают всю карту.

– Скифы на танках – вот образ, ждущий нового поэта! «Нас тьмы и тьмы, попробуйте сразиться с нами...»

Хитрый Додик благодарил за науку, за доверие, обещал серьезно обдумать еще раз. Про то, что наш путь лежит не на Ближний Восток, а дальше, – не сказал. Ведь генерал мог войти в такой раж, что начал бы выдавать секретные планы одновременного десанта на Аляску (с Чукотки) и во Флориду (с Кубы). А что? Наверняка в каких-нибудь сейфах Генерального штаба лежат и такие. И нас бы тогда не выпустили

как обладателей важных военных секретов.

Сознаюсь, рассказ Додика нагнал на меня страху. Я была воспитана в *их* школах, по уши залита *их* речами из репродукторов. Как я могла не верить, что танковая гусеница – лучший инструмент для разрубания международных узлов? И что все будет решаться тем, у кого окажется больше гусениц и артиллерийских стволов? Я верила.

Впрочем, и в далекой древности с международной справедливостью не все было гладко. Особенно когда Господь решал взять какой-нибудь народ под свое особое покровительство. Ведь это Он поучал евреев перед Исходом: «Когда пойдете, то пойдете не с пустыми руками. Каждая женщина выпросит у соседки своей и у живущей в доме ее вещей золотых, и одежд; и вы нарядите ими и сыновей ваших и дочерей ваших, и оберете Египтян» (Исход, 3: 21—22).

И так ведь оно и вышло: «И сделали сыны Израилевы по слову Моисея, и просили у Египтян вещей серебряных и вещей золотых и одежд. Господь же дал милость народу Своему в глазах Египтян; и они давали ему, и обобрал он Египтян» (Исход, 12: 35—36).

Но в наши дни Господь явно махнул рукой на избранный народ свой. Нам приходилось, наоборот, платить, платить и платить. Уже нечего больше было продать – пришлось занимать деньги у матери, у отца, у друзей.

Последний грабеж умело разыгрывался на таможне.

– Что это? Шуба из барсука? Вспорите подкладку... Так... Где печати госконтроля на шкурках? Их нет!.. Сварганили шубу из браконьерского меха. Конфискуем!

– Сервиз? Какого завода? Кузнецовский с прошлого месяца к вывозу запрещен.

– Книги?.. Разрешение на вывоз?.. Так... А на эти? Кто вам сказал, что на издания после сорокового года не надо? Библиотека? Месяц назад? А вот неделю назад вышло новое постановление: разрешение требуется на все издания до пятидесятого года. Не пропускаем!

Из окна взлетающего самолета мы пытались бросить прощальный взгляд на оставляемую землю. Видели игрушечные березки, покосившиеся поля, блестящие ниточки ручьев и речушек. Потом все исчезло в облачной вате. Нам оставалось только вспоминать прощальную прогулку по ночному городу, которую мы устроили себе за два дня до отлета.

Мы вышли по Фонтанке к знаменитому мосту. Погладили на прощанье бронзовые копыта всех четырех коней. Колдовство белой ночи – все залито светом, но нет теней. Невский был ясно виден в оба конца. Ни одного прохожего, ни одного автомобиля. Как музей, куда нас пустили по благу до открытия.

Мы тихо брели в сторону Дворцовой площади.

Аничков дворец, где я танцевала пионеркой. Возможно, те же самые мазурки, что и Наталья Николаевна Пушкина



задолго до меня. Под теми же лепными потолками.

Памятник Екатерине. Ее верные вельможи и полководцы – кольцом у ее ног, впервые не ссорясь, не интригуя. Взор императрицы устремлен на самый вкусный, сверкающий магазин и на самый веселый театр в городе. За спиной ее – театр-соперник, красные плюшевые пещеры, в одной из которых мы с Додиком так самозабвенно мучили друг друга когда-то.

Дальше – тоже лицом к лицу – два главных базара, два капища торговли, где, казалось, было все, но нам почему-то доставалось так мало.

Еще один канал, еще один мост, и за ним – заветный дом с глобусом на крыше, книжное царство и вечная охотничья мечта: а вдруг именно сегодня завезли книги любимого писателя, поэта, драматурга? Ну если не полное собрание сочинений, то хотя бы «Избранное»?

Наш заветный зеленый «Лягушатник», где все у нас началось, где загорелись наши свечки друг о друга и вот уже десять лет горят – не гаснут.

Под высоченной аркой выходим на пустыню Дворцовой. И вдруг – невесть откуда – волна запоздалой гордости: а ведь никогда еще вражий сапог не топтал эти камни! Много ли есть столиц на свете, способных похвастать тем же? Лондон, Стокгольм – какая еще?

Но тут же гордость смывает встречной волной – горечи и обиды. Да, снаружи враг не входил. Но кого же тогда изго-

няли из этого города толпами и поодиночке в течение двух столетий? На каторгу и в ссылку, в рудники и в лагеря? Того врага, что коварно проникал не через стены, а через утробы матерей? И как его опознавали? И почему я чувствую такое тайное родство со всеми изгнанниками? Которых выбрасывали из этого города на юг и на север, на запад и на восток, а многих – и напрямиком в могилу?

И если мы – изгоняемые – и вправду все одного – вражьего – племени, то каким же, каким же именем нам пора называться?

Дайте, о дайте нам имя!

## 9. ПОТЕМКИ ЧУЖОЙ ДУШИ

За окном кафе очередной автобус выпускал под дождь новую порцию пассажиров. Люди прикрывали голову портфелями, распускали зонтики, смело топали по лужам. Глеба среди них не было. Я достала пачку листочков из пишущей машинки Павла Пахомыча, взялась перечитывать.

Самый доходный товар в Америке – надежда. Игровой бизнес торгует надеждой на выигрыш, музыкальный – надеждой на славу, спортивный – надеждой на победы и деньги, университетский – надеждой на успешную карьеру, страховой и медицинский – надеждой на здоровье, церковно-религиозный – надеждой на жизнь вечную.

Сердце наше жаждет чудес. Но разум стоит с розгой и твердит нам, что чудес не бывает. Здесь кроется объяснение успехов сюрреализма в живописи, кино, литературе. Сюрреализм – это разрешенные разумом чудеса.

Женщины! Перестаньте любить богатых. 95% преступлений совершается с единственной целью – привлечь богатством ваше внимание.

Мы любим свободу в близком человеке. Но это включает его свободу причинить нам боль – равнодушием, нелюбо-

вью, презрением. Мы целиком зависим от благорасположения любимого. А разве можно любить того, от кого ты так зависишь? Отсюда вечное правило: неизбежность умирания любви.

Самые высокие вещи на свете: Правда, Доброта, Справедливость, Истина.

И самая трагическая несовместимость на свете – несовместимость правды, доброты, справедливости, истины.

Душа любого человека открыта отчаянию. Помочь отчаявшемуся можно, только приняв часть его отчаяния в собственную душу. Но принимать на себя чужое отчаяние – слишком больно. Поэтому мы развели целые толпы платных утешителей: священников, психиатров, проповедников. Мы суем отчаявшемуся человеку прозак и валиум, поливаем душем Шарко, дергаем электрошоком, отнимаем водку и марихуану, запикиваем в закрытые лечебницы. И от всего этого можно по-настоящему прийти в отчаяние.

Внушать своим детям с младенчества высокие недостижимые идеалы – самый верный способ разбить им сердце и искалечить на всю жизнь.

Две вещи тянутся под покров тайны с одинаковой силой: любовь и предательство. И это естественно: ведь любовь к кому-то одному – это и есть предательство всех остальных.

Ребенка легче полюбить, потому что душа его мягка и прикосновение к ней всегда приятно. Потом душа затвердевает в характер и давит на тебя всеми своими буграми и предрассудками в тесном пространстве семейной жизни.

Вы хотите помочь ученым находить объективную истину? О, это очень просто! Убивайте или, по крайней мере, увольняйте всех ученых, истина которых окажется недостаточно объективной.

Счастливая смерть? Умереть влюбленным.

Мы всемогущи, стоя на краю поля ржи: наша рука может вырвать любой вредоносный василек с этого поля.

Мы беспомощны перед полем ржи: нашей жизни не хватит, чтобы руками вырвать все васильки, не помяв колосьев.

Точно так же и Господь одновременно всемогущ и беспомощен перед бескрайним полем своего Творения, усеянным сонмом грешников, посеянных Им Самим.

Забыть себя ради ближнего своего считается самым похвальным делом. Но и просто забыть себя есть вполне достойный первый шаг к победе над Чудищем эгоизма. Именно ради этого Господь даровал нам вино, гашиш, марихуану, опиум, героин и прочих помощников, включая быстрые танцы.

Каждый из нас несет в жизни свой собственный маленький театр, в котором он сам – и драматург, и режиссер, и костюмер, и декоратор, и актер. Фестивали этого странного вида искусства называются вечеринка, салон, застолье, светский раут.

Нельзя отдать приказ: полюби! – эту книгу, картину, фильм, симфонию.

Но можно отдать приказ: признай! – эту картину, книгу, фильм, симфонию – наилучшими, потому что...

И дальше рационалист прет на нас, размахивая логической дубинкой, выбивая нас из последнего прибежища свободы и любви.

Каждая христианская церковь пытается выстроить земное царство по учению Того, Кто говорил: Царство Мое не от мира сего.

Наконец очередной автобус выпустил в толпе пассажиров и Глеба. И вот мы сидим с ним за столиком друг против друга, надрываем пакетики с сахаром, сыплем в чашки. И я говорю все заготовленные правильные слова. О том, что да, два года я была счастлива. И благодарна ему, и буду всегда помнить это время. Но сейчас пришла пора расстаться. Так будет лучше для всех. Свечка моя отгорела, погасла. (Вранье.)

И все эти прожекты с женитьбой – курам на смех. Для меня отец, оставивший троих детей, – не мужчина, не человек. Я и слова сказать ему не смогу. Не то что прикоснуться.

Глеб мешает ложечкой кофе, вглядывается в темный водоворот. На губах – слабая, снисходительная улыбка. Сарказм? Вдруг спрашивает совсем про другое:

– А что, у Марика новая девушка?

– Откуда ты знаешь?

– Видел, когда они приходили навещать родителей.

– Глеб, ты опять за свое? Опять следишь за мной? Пойми – с этими детскими играми пора кончать.

– Это ты ничего не хочешь понять. Мы знаем друг друга вот уже два года, а ты так ничего и не разглядела во мне, не поняла, что со мной происходит. Слышала про такую болезнь – диабет? Больной диабетом должен получать свою порцию инсулина каждый день. А если у кого-то больные почки, кровь нужно очищать специальным аппаратом два раза в неделю. Иначе – смерть. То же самое и у меня. Если я не вижу, не слышу тебя два-три дня – я задыхаюсь. Как дельфин, которому не дают хлебнуть воздуха. «Я утром должен быть уверен, что с вами днем увижусь я...» А ты – «пора расстаться»...

– Глеб, Глеб, ты все это сам себе внушил, выдумал сам, сам взвинчиваешь себя... Очнись – и увидишь перед собой просто немолодую тетку с крашеными волосами и потрепанными нервами.

– Нет, это ты не хочешь меня услышать. Тетка или нет, с растрепанными нервами или крашеными – ты *моя*. Изменить это невозможно. Я терпеливо ждал и буду ждать, когда это дойдет до тебя. Буду учить, втолковывать. За упрямство и лень – не обессудь – наказывать. Неужели ты думаешь, что меня можно остановить, размахивая идиолом супружеской верности? Давно ли ты сама стала ему поклоняться?

Мне нечего возразить. Последняя надежда – сменить тему, отвлечь.

– А хочешь, я тебя лучше познакомлю со своей новой студенткой? Умница, прелестная, ясноглазая, жадно ловит каждое слово про книги, про писателей. Стихи слышит – как никто! Будет ходить на все твои выступления.

Я начинаю расписывать ему Мариночку Гринберг, как заправская сваха. Он слушает рассеянно, роняет саркастические замечания. Мы говорим негромко, но, видимо, какое-то напряжение висит над нашим столиком, над вазочкой с гвоздикой. На нас оглядываются.

– Прости, мне пора бежать, – вдруг говорит он. – Я позвоню завтра в восемь. И лучше возьми трубку сама. Если опять подошлешь мужа, у нас с ним может выйти интересный разговор.

Он уходит. Я остаюсь над недопитой чашкой, с объедком круассана в руке. И с раздувающейся обидой в горле. Будто все мои правильные, разумные слова сбегаются обратно ко мне, как израненные солдаты после безнадежной атаки.



Стена его упорства неодолима. И вслед за обидой затекает страх. Тягучий, липкий. Не помню, когда я испытывала последний раз такой испуг, такую растерянность. Разве что в самые первые месяцы жизни в Америке.

Хотя грех жаловаться – по сравнению с многими другими эмигрантами наш приезд прошел почти без ухабов. Потом-то нам объяснили, какими мы оказались счастливыми. Получить работу в первый же месяц по приезду в Америку! Не обманул залетный профессор математики, взял Додика ассистентом на свою кафедру тут же. Но хлопоты по устройству, но «жизни мышья беготня» отнимали все силы, подбавляли черной краски каждому дню.

И ничего-то не знаешь, ничего не понять...

«Квартира с двумя спальнями вас устроит?» – «Как „с двумя“? А где же мы будем держать книги, готовиться к занятиям, обедать?.. Ах, есть еще кухня, столовая и гостиная?.. Почему же не сказать понятно: „квартира из четырех комнат“? Зачем пугать?»

«...Всем троим получить номер? Номер социальной безопасности? Дается на всю жизнь?.. Значит, каждый человек заклеен своим номером?.. Как в концлагере?.. Такого даже государственная безопасность с нами не делала...»

«...Хорошо, посуды нам надарили соседи, три разных стула мы нашли на свалке, обеденный стол обещали. Но кровати?! Я зашла в кроватный магазин – от их цен круги пошли

перед глазами. Месячная зарплата мужа. Но спать на чем-то нужно?.. В „Армии спасения“? Если в десять раз дешевле, наверное, кишат клопами и тараканами?..»

По субботам и воскресеньям мы всей семьей бродили по своему району в поисках дворовых распродаж. Как охотники в джунглях, мы выслеживали добычу, подкрадывались, вступали в схватку с владельцем-продавцом. И потом волокли добычу в свою – формально двуспальную, а на самом деле пятикомнатную! – пещеру: я – какую-нибудь замысловатую лампу с бисерным абажуром, Додик – картонный ящик с двадцатитомной энциклопедией «Американа» (да, пятидесятилетней давности, но ведь всего за десять долларов!), Марик – о, Марик уже катил на двухколесном велосипеде, издавая ржавое скрипение, но при этом сияя и распевая.

Постепенно быт налаживался. Вскоре мы уже могли принимать гостей. Бывшая учительница истории, а ныне – кассирша в магазине, приехавшая на пять лет раньше нас, почула, вытирая из углов губ малиновое варенье:

– Я вам расскажу, чем местные сбивают нас с толку. В родных пенатах мы ведь в одну минуту отличали своих от чужих: по речи, по манерам, по одежде. А здесь? Здесь так много вежливых, приветливых, прилично одетых, что мы всех готовы принять *за своих*. Оттенков языка не слышим, не понимаем и влипаем в неловкие ситуации, сами того не замечая.

– Неужели и с нас, с приезжих, такой же спрос? Эмигран-

там-то могли бы прощать ошибки в языке.

– Не надейтесь. Их хваленая свобода слова – только для политиканов и журналистов. А рядовому гражданину надо следить за каждым словесным воробушком, вылетающим изо рта. Если, конечно, он хочет обзавестись друзьями и сохранить их.

– Ну, дайте пример – какой-нибудь понятный пример, для второгодников.

– Пример? Пожалуйста. Я однажды, разлетевшись, говорю своему собеседнику на вечеринке: «А помните у Джека Лондона, в рассказе „Тысяча дюжин"...» Он вдруг помрачнел, отвернулся и исчез в толпе. Потом мне объяснили, что я сморозила жуткую бестактность. С незнакомым нельзя говорить о прочитанном. Если он не читал, он решит, что вы хотели его унижить, обнаружив его невежество.

– Но, Элла Иосифовна, а о чем же говорить с незнакомым?

– Только не о себе – это ему заранее неинтересно. Расспрашивайте о *его* работе, *его* семье, откуда родом, куда ездил в отпуск. О себе они готовы разливаться часами. И спорт, конечно, спорт. Как можно скорее выучите названия нескольких футбольных и бейсбольных команд, список чемпионов, имена знаменитых игроков. Но всякая культура, живопись там, литература, музыка – ни-ни, полная запрещенка. Даже география. Если вы проговоритесь, что знаете название столицы Норвегии, с вами могут порвать отношения. А уж история! За ужином однажды хозяин дома рассказы-

вал, как его отец воевал с японцами на Тихом океане, потом вежливо обернулся ко мне и спросил: «Россия, кажется, тоже участвовала во Второй мировой войне, не правда ли?»

Когда начались мои поиски работы, я старалась не забывать советов Эллы Иосифовны. Идя на филологический факультет очередного университета, отмахивалась от шуток Додика, советовавшего натянуть сарафан и кокошник, одевалась во все строгое и американское. В разговорах с членами кафедры по неуловимым признакам пыталась понять, какой язык предпочел бы мой собеседник. Заговоришь по-русски – он может подумать, что английский у меня слишком трухляв для серьезной беседы. Перейдешь на английский – собеседник подумает, что я выражаю презрение и недоверие к его знанию русского. А круг моих научных интересов? Назовешь какого-нибудь одного писателя – скажут «у нее слишком узкая специализация». Назовешь несколько – обвинят во всеядности, разбросанности, эклектизме. Куда ни ступи – ловушки, капканы, минные поля. Ужас!

На прощанье мне обычно давали славистские журналы, в которых печатались объявления о научных конференциях и предложения работы. Я жадно списывала адреса кафедр, объявлявших конкурс на открывшуюся вакансию, рассылала заявления и списки своих опубликованных статей и потом складывала в папку вежливые отказы. Только через год одна добрая душа – тоже из эмигрантов – открыла мне секрет полишинеля: кафедра помещает объявление о вакансии толь-

ко после того, как она уже выбрала кандидата на место. Все решается во внутренних тайных кабинетах филологической империи, но на фасаде должна красоваться икона свободно-го и открытого конкурса талантов.

Наконец один небольшой колледж предложил мне – не штатное место, о нет! – но несколько часов в неделю, помогать студентам, изучающим русский язык. Какое это было облегчение! Как я готовилась к занятиям! Как умилялась диковинным оборотам в студенческих сочинениях!

«Графиня была женщиной, уходящей из среднего возраста».

«Печорин считал донжуанство сильной слабостью своего организма».

«Главные черты Онегина: скептицизм, индивидуализм и бегство от действительности».

«Герой полон сексуально-бытовых подробностей, но принимает грозный вид беспощадности».

«С годами пушкинский эрос целиком проникся логосом и обрел устойчивость и внутренний свет».

Видеть перед собой молодые оживленные лица – одного этого было довольно, чтобы оттеснить повседневные тревоги, огорчения, стыдобы. Я верила, что рано или поздно мне удастся открыть перед ними заветную дверку, впустить в мое литературное царство. Не всех, конечно, но – кто знает? – двух, трех, четырех?

Нет, как ни поверни, в первые годы эмиграции мы с До-

диком оказались удачниками, «обрели устойчивость и внутренний свет». Убегать от действительности не было нужды.

Ночью, после встречи с Глебом в кафе, у меня разболелся зуб. Пришлось звонить дантисту, стонать в телефон, просить, чтоб срочно-срочно. Наглотавшись обезболивающего, долго ехала в метро, листала журнал. В разделе «Этика» наткнулась на занятную историю. Некий Томми Блосс был оставлен матерью в годовалом возрасте, усыновлен добрыми людьми, вырос добрым, хорошим человеком. Когда ему исполнилось двадцать лет, он встретил Энн Мэри Гарлет, они полюбили друг друга и поженились. Энн Мэри была значительно старше Томми, но она была так добра, что это все искупало. «Добра к нему, как мать родная», – говорили добрые люди кругом. Только через год Энн Мэри призналась мужу, что она и есть его родная мать.

Дальше все пошло не по Софоклу. Энн Мэри и не подумала кончать с собой, а хотела продолжать жить с сыном, которого она любила такой вот двойной любовью. Томми не стал выкалывать себе глаза, но все же со страху убежал в солдаты. Роль оракула взяло на себя недоброе американское правосудие. Оно предъявило Энн Мэри обвинение в злостном и преднамеренном кровосмешении. Если вина ее будет доказана, ей грозит двадцать лет тюрьмы.

«Ну а ты? – спрашивала я себя. – Нет ли в твоём чувстве к Глебу еще и материнской страсти? Конечно, не ты его ро-

жала. Но когда у вас все начиналось, не было ли в этом при-  
вкуса усыновления? Преподавательница и студент – так ли  
далеко это от матери и сына?»»

Мой дантист – немолодой еврей из Черновиц, добрый и  
смешливый. При первой встрече я порадовала его простой  
литературной шуткой: «Если специалист по Пушкину назы-  
вается пушкинист, как будет называться специалист по Дан-  
те?» С тех пор при каждом моем визите он со смехом го-  
ворит о себе в третьем лице: «А сейчас специалист по Дан-  
те сделает вам маленький обезболивающий укольчик... Нет,  
никаких удалений!.. Он будет сражаться за каждый ваш зу-  
бок... В вашем возрасте нельзя швыряться такими важны-  
ми частями тела... Вот так... Вот здесь... И еще немного  
здесь... А теперь посидите, пока я проявлю снимки...»

Очередное сражение длилось часа полтора. От зубного я  
вернулась домой уже в сумерках. Укольчик сработал, боль  
ушла из десны. Вернее, не ушла, а как-то ослабла и рас-  
теклась по шее и плечам. Я пыталась отвлечься, заняться  
домашними делами. Достала из морозильника индюшачий  
фарш, вымыла посуду, смазала наконец скрипевшую дверцу  
буфета. Потом вдруг поняла, что боль течет вовсе не от зуба.  
Что я каждые две минуты смотрю на часы. И стрелка неумо-  
лимо ползет к восьми. И тоскливое ожидание обещанного  
звонка докатывается болезненной волной до сердца, отдает-  
ся во всем теле.

Я вдруг почувствовала себя зверьком, загнанным в ло-

вушку, попавшим в капкан. Говорят, лиса может отгрызть свою ногу, зажатую железными челюстями. Какая-то лисья ярость и решимость накатили на меня. Я ненавидела собственный страх. Хорошо, что Додика не было дома, когда зазвонил телефон. Я схватила трубку и могла не таясь закричать в полный голос:

– Все! Надоело! Все твои выдумки, все вранье... Не хотел расстаться по-хорошему? Хочешь, чтобы захлопнули дверь перед носом?.. Вот и получай: ты мне надоел – понял? Не звони больше, не появляйся... Не дам я тебе так отравлять мне жизнь!.. Любовь? Что ты знаешь про любовь?! Думаешь, это когда ты согнул кого-то до земли, под свой каблук, и начал вытирать подошвы, как о коврик? Со мной не выйдет, слышишь?! Найди себе другую дичь для охоты... Тебе же все равно – кого... Главное, чтобы выслеживать, загонять, нацеливать объектив, нажимать на спуск... А потом и на все отысканные больные места... И чувствовать себя повелителем, хозяином чужой судьбы... Под гитарный перезвон... Ах, как красиво! И все эти разговоры о невыносимых страданиях... «Я утром должен быть уверен, что днем согну вас до земли» – вот твой вариант. И перегнул, перетянул. Лопнула струна, лопнуло терпение. Занавес опускается! Адье, бай-бай, оревуар, ариведерчи!

И бросила трубку.

Через минуту телефон зазвонил снова.

Я выдернула провод из стены.



Сердце колотилось, испарина покрыла лоб и щеки. Пальцы дрожали. Но я была очень довольна собой. Провод валялся на полу, как отгрызенная нога. И когда Додик вернулся домой, я уже спокойно стояла у плиты и жарила индюшачьи котлеты.

После того как я начала немного зарабатывать в колледже, мы смогли купить собственный домик. Три небольшие спальни наверху, гостиная и кухня внизу. Да еще подвал, в котором Додик устроил себе кабинет. Первые месяцы я была счастлива, бегала по магазинам, покупала стулья, торшеры, коврики, занавески. Весной превратилась в заправскую садовницу, обсадила крыльцо кустами азалий. За домом тоже была крошечная полоска земли – ее я отвела под табак и левкой. Солнце заглядывало туда всего часа на три, но мы по-охотничьи перехватывали его и иногда загорали в шезлонгах. Не верилось, что мы когда-нибудь сможем выплатить наш долг банку. Но все равно: домик был наш, наш! Приют, убежище, крепость! Мы любовно подкрашивали облупившиеся стены, латали протекавшую крышу, мыли окна.

Теперь вдруг все изменилось. Мысль, что Глеб может прятаться, красться где-то рядом, высматривать, выслеживать, наводить объектив фотоаппарата, наполняла сердце тоской. По вечерам, отодвинув занавеску, я всматривалась в силуэты машин, припаркованных на улице. Вот та «корейка» – я не помню, чтобы у наших соседей была такая. Приехали гости?

Позвонить и спросить? «Вы что – всю улицу закупили?» – ответят мне. И правильно сделают.

Три дня прошли в затаенной тревоге. Глеб не появлялся, телефон молчал. Я ждала наказания за бунт, но сдаваться не собиралась. На четвертый день Додику нужно было рано ехать в университет. Он чмокнул меня, полусонную, исчез. Но вскоре вернулся полный досады. Я слышала, как он вызывал такси по телефону.

– Что случилось? Что-нибудь с автомобилем?

– Какой-то гад залил замок в дверце эпоксидной смолой. Попробовал отпереть другую – то же самое. Затвердела так, что придется высверливать. Ох, попался бы он мне! В нос и в рот налил бы этой смолы.

Додик уехал. Я лежала в кровати ни жива ни мертва. Что делать? Сообщить в полицию? Но какие у меня доказательства? «Вы подозреваете своего бывшего возлюбленного? И не хотите, чтобы муж узнал о нем? Вас можно понять. Но чего же вы ждете от нас? Чтобы мы по вашему слову надели на него наручники, упрятали за решетку? Избавили вас от досадного беспокойства?»

У меня в тот день был только один семинар. Я вернулась домой рано. Достала почту из ящика. Один конверт, адресованный Додику, показался мне подозрительным. Обратный адрес – неизвестная страховая компания. Вид вполне официальный. Но на официальных письмах, как правило, стоит красный штемпель с датой. А тут – обычная почтовая марка,

проштемпелеванная черным.

Я вскрыла конверт, начала читать.

«Дорогой Давид! Клянусь, что Светлана – это я, но только *лучший*. Клянусь, что Она – святыня моей души... Клянусь, что *только* через Нее я могу вернуть себе себя и Бога. Клянусь, что я гибну без Светланы... Ведь нельзя же человеку дышать без воздуха, а Светлана – необходимый воздух моей души...»

Ах, негодяй, – ты так?! Так, да? Так я же...

Но откуда я знала – помнила – эти строчки? Да ведь это же... Это письмо Андрея Белого – Блоку. Глеб только заменил «Любу» на «Светлану». Я цитировала его в своем послании Дмитрию Александровичу Блоку, да... Как он узнал? Кажется, я была так глупа, что давала ему читать. А он скопировал и сохранил?

Я бросилась рыться в бумагах. Письмо лежало в отведенной для него папке, папка была на месте. Как там дальше? Чем кончалось письмо одного поэта, влюбленного в жену другого? Мне нужно было отвлечься, успокоиться, прийти в себя. Взялась перечитывать.

# ПИШУ ДМИТРИЮ АЛЕКСАНДРОВИЧУ БЛОКУ

Дорогой Дмитрий Александрович!

В Америке, в штате Юта, есть огромная библиотека, со-единенная с гигантским подземным архивом. Это хранилище устроено в таких прочных скалах, что оно должно уцелеть даже при ядерном взрыве. Год за годом хозяева и основатели библиотеки – христиане-мормоны – пополняют свой архив сведениями о ВСЕХ людях, живших когда-нибудь на Земле. Их посланцы разъезжают по всему свету, копируют или покупают родословники, генеалогические таблицы, записи смертей и рождений, хранящиеся в старинных церковных книгах и в архивах муниципалитетов. Мормоны твердо верят в воскресение из мертвых и хотят по мере сил способствовать тому, чтобы ни одна человеческая жизнь не затерялась в Торжественный день.

Не знаю, попало ли уже в их списки Ваше имя. Вы прожили на свете так недолго – всего семь дней. Но Вы были крещены, значит, запись о Вашем рождении должна где-то храниться. В любом случае я сама в ближайшее время пошлю им сведения о Вас.

Верю ли я в чудо воскресения?

А почему бы и нет!

Разве последние чудеса науки не толкают нашу мысль и надежды в эту сторону? По обломку позвонка мы научились восстанавливать облик животных, исчезнувших миллионы лет назад. Клонирование расширяет нашу способность управлять чудом жизни беспредельно. Уникальное ДНК каждого человека хранится веками в костях мумии, в обрезке ногтя, в клочке волос, спрятанном в медальоне.

Почему бы и нет?!

И вот, если это случится, если Вы сподобитесь воскресения и жизни новой, мне хотелось бы, чтобы Вы могли прочесть рассказ о своих родителях. О них написаны уже тома, и есть очень неплохие жизнеописания, но все они – не для Вас. Ибо писались они людьми, разделявшими с Вашими родителями все верования и предрассудки нашего века. Мне же хочется – кажется необходимым – рассказать Вам о них так, чтобы это было понятно инопланетянину. Чтобы все было объяснено подробно и даже – на современный взгляд – наивно. Как в детской сказке: «В некотором царстве, в заморском государстве жили-были Поэт и Княжна. Когда они встретились совсем молодыми, Поэт еще не знал, что он будет писать стихи, а Княжна не знала, что ей предстоит покорить множество сердец самых талантливых юношей. Они оба тогда страстно любили театр и подумывали о том, чтобы стать актерами...»

Сохранилось немало фотографий тех любительских спектаклей, которые ставились на домашней сцене в поместье Менделеевых – родителей «княжны» Любы. Александр Блок – в роли Гамлета, в роли Дон Жуана. Люба – конечно, Офелия. Спектакли готовились с большим увлечением, но реакция зрительного зала порой обескураживала молодых актеров.

«Публику, кроме родственников и соседей, составляли крестьяне ближайших деревень. Репертуар совершенно не подходил под уровень их развития. Происходило следующее: в патетических местах Гамлета, Чацкого, Ромео начинался хохот, который усиливался по мере развития спектакля... Чем патетичнее была сцена, тем громче был смех... Артисты огорчались, но не унывали. Их художественная совесть могла быть спокойна – игра их была талантлива. Блок, как исполнитель, был сильнее всех с технической стороны. Исполнение же пятнадцатилетней Любови Дмитриевны роли Офелии, например, было необыкновенно трогательно. Она не знала тогда сценических приемов и эффектов и на сцене – жила».

В те первые годы знакомства княжна Люба явно пренебрегала юным Поэтом. Он же был ею покорен, пленен, околдован. Писал ей страстные письма – и не отправлял. Не отправлял, но сохранял.

«Зову я Вас моей силой, от Вас исшедшей, моей молитвой, к Вам возносящейся, моей Любовью, которой дышу в

Вас, – на решающий поединок, где будет битва предсмертная за соединение духов утверждаемого и отрицаемого. Пройдет три дня. Если они будут напрасны, если молчание ничем не нарушится, наступит последний акт. И одна часть Вашего Света вернется к Вам, ибо покинет оболочку, которой больше нет места живой; а только – мертвой. Жду. Вы – спасенье и последнее утверждение. Дальше – все отрицаемая гибель. Вы – Любовь».

Разве последние чудеса науки не толкают нашу мысль и надежды в эту сторону? По обломку позвонка мы научились восстанавливать облик животных, исчезнувших миллионы лет назад. Клонирование расширяет нашу способность управлять чудом жизни беспредельно. Уникальное ДНК каждого человека хранится веками в костях мумии, в обрезке ногтя, в клочке волос, спрятанном в медальоне.

Почему бы и нет?!

И вот, если это случится, если Вы сподобитесь воскресения и жизни новой, мне хотелось бы, чтобы Вы могли прочесть рассказ о своих родителях. О них написаны уже тома, и есть очень неплохие жизнеописания, но все они – не для Вас. Ибо писались они людьми, разделявшими с Вашими родителями все верования и предрассудки нашего века. Мне же хочется – кажется необходимым – рассказать Вам о них так, чтобы это было понятно инопланетянину. Чтобы все было объяснено подробно и даже – на современный взгляд – наивно. Как в детской сказке: «В некотором царстве, в заморском

государстве жили-были Поэт и Княжна. Когда они встретились совсем молодыми, Поэт еще не знал, что он будет писать стихи, а Княжна не знала, что ей предстоит покорить множество сердец самых талантливых юношей. Они оба тогда страстно любили театр и подумывали о том, чтобы стать актерами...»

Сохранилось немало фотографий тех любительских спектаклей, которые ставились на домашней сцене в поместье Менделеевых – родителей «княжны» Любы. Александр Блок – в роли Гамлета, в роли Дон Жуана. Люба – конечно, Офелия. Спектакли готовились с большим увлечением, но реакция зрительного зала порой обескураживала молодых актеров.

«Публику, кроме родственников и соседей, составляли крестьяне ближайших деревень. Репертуар совершенно не подходил под уровень их развития. Происходило следующее: в патетических местах Гамлета, Чацкого, Ромео начинался хохот, который усиливался по мере развития спектакля... Чем патетичнее была сцена, тем громче был смех... Артисты огорчались, но не унывали. Их художественная совесть могла быть спокойна – игра их была талантлива. Блок, как исполнитель, был сильнее всех с технической стороны. Исполнение же пятнадцатилетней Любови Дмитриевны роли Офелии, например, было необыкновенно трогательно. Она не знала тогда сценических приемов и эффектов и на



сцене – жила».

В те первые годы знакомства княжна Люба явно пренебрегала юным Поэтом. Он же был ею покорен, пленен, околдован. Писал ей страстные письма – и не отправлял. Не отправлял, но сохранял.

«Зову я Вас моей силой, от Вас исшедшей, моей молитвой, к Вам возносящейся, моей Любовью, которой дышу в Вас, – на решающий поединок, где будет битва предсмертная за соединение духов утверждаемого и отрицаемого. Пройдет три дня. Если они будут напрасны, если молчание ничем не нарушится, наступит последний акт. И одна часть Вашего Света вернется к Вам, ибо покинет оболочку, которой больше нет места живой; а только – мертвой. Жду. Вы – спасенье и последнее утверждение. Дальше – все отрицаемая гибель. Вы – Любовь».

«Мне было бы страшно остаться с Вами. На всю жизнь – тем более. Я и так иногда боюсь и дрожу при Вас, незримый. Могу или лишиться рассудка, или самой жизни. Это бывает больше по вечерам и по ночам. Неужели же Вы каким-нибудь образом не ощущаете этого? Не верю этому, скорее думаю – наоборот».

И он был прав. Она чувствовала, догадывалась, заражалась его любовью – но и бунтовала против нее. Тоже писала ему письма – и не отправляла.

«Я не могу больше оставаться с вами в тех же дружеских отношениях. До сих пор я была в них совершенно искрен-

на, даю вам слово. Теперь, чтобы их поддерживать, я должна была бы начать притворяться. Мне вдруг... стало ясно – до чего мы чужды друг другу, до чего вы меня не понимаете. Ведь вы смотрите на меня как на какую-то отвлеченную идею; вы навоображали обо мне всяких хороших вещей и за этой фантастической фикцией, которая жила только в вашем воображении, вы меня, живого человека, с живой душой, и не заметили, проглядели...

Вы, кажется, даже любили – свою фантазию, свой философский идеал, а я все ждала, когда же вы увидите меня, когда поймете, чего мне нужно, чем я готова отвечать вам от всей души... Но вы продолжали фантазировать и философствовать... Я живой человек и хочу им быть, хотя бы со всеми недостатками; когда же на меня смотрят как на какую-то отвлеченность, хотя бы и идеальнейшую, мне это невыносимо, оскорбительно, чуждо... Вы от жизни тянули меня на какие-то высоты, где мне холодно, страшно и... скучно».

Может быть, эти отношения покажутся Вам, Дмитрий Александрович, из Вашего туманного будущего, странно надрывными. Но этому надрыву были основания. Дело в том, что в те времена книги, стихи, родители, учителя, священники учили молодых людей любить один раз в жизни. Это считалось похвальным и достойным: раз полюбив, вступить в брак и крепко захлопнуть в сердце все ворота и калиточки, через которые могла бы проникнуть новая любовь. Вы можете себе представить, каким страхом окрашивалось каждое

зарождавшееся чувство в отзывчивых сердцах? Не про это ли пишет юный Блок в своем письме – «мне было бы страшно остаться с Вами... на всю жизнь»?

Лирический поэт имеет право воображать, что все, что происходит в его душе, – уникально и неповторимо. Он не догадывается – не хочет знать – о том, что такой же страх болел в сердцах миллионов мужчин всех времен и народов. Что именно из него выростали нравы, обычаи, законы, лишавшие женщину свободы. Свободы отвергнуть любящего, уйти от него, увести с собой рожденных детей. Греки запирали женщину в гинекей, мусульмане – в гарем, русские – в терем. Но ведь любовь к несвободной женщине – это так тускло, убого. И вот наш поэт – вслед за провансальскими трубадурами, за Данте, за Петраркой – придумывает – нащупывает трюк, который кажется ему выходом из безнадежного тупика: он возводит возлюбленную на пьедестал! Она как бы остается свободной, он все время твердит ей о том, что она всевластная госпожа и может распоряжаться им, как ей вздумается. Но с другой стороны – попробуй убеги с пьедестала.

Княжна Люба инстинктом чувствует здесь ловушку, сопротивляется. Ведь ей тоже страшно отдать свое сердце поклоннику, который в любой момент может встать с колен и удалиться от пьедестала. А ты так и останешься торчать у всех на виду в роли отвергнутого – развенчанного – кумира.

И все же Поэт и Княжна одолели свои страхи. День 7 нояб-

ря 1902 года стал самым важным в их жизни и судьбе. Проезжая в санях по ночной петербургской улице, они признались друг другу в любви. У Блока была заготовлена записка на тот случай, если бы его любовь была отвергнута: «В моей смерти прошу никого не винить. Причины ее вполне „отвлеченны" и ничего общего с „человеческими" отношениями не имеют. Верую во единую святую соборную и апостольскую церковь. Чаю воскресения мертвых и жизни будущего века. Аминь. Поэт Александр Блок». (Дальше следовал адрес – видимо, чтобы знали, куда отвезти тело.)

Любовь Дмитриевна так вспоминала потом эту ночь:

«Блок продолжал говорить... Я отдавалась привычному вниманию, привычной вере в его слова... Помню, что я в душе не оттаивала, но действовала как-то помимо воли этой минуты, каким-то нашим прошлым, несколько автоматиче-ски.

В каких словах я приняла его любовь, что сказала – не помню.

Потом он отвозил меня домой на санях. Блок склонялся ко мне и что-то спрашивал. Литературно, зная, что так вычитала где-то в романе, я повернулась к нему и приблизила губы к его губам. Тут было пустое мое любопытство, но морозные поцелуи, ничему не научив, сковали наши жизни».

Казалось бы, после такого счастливого исхода ничто не мешало Блоку явиться на следующий день в квартиру Менделеевых и попросить у родителей руки их дочери. Почему

же он не пошел? Почему предпочитал хранить их отношения в тайне? Снял комнатку для свиданий – но и туда вырывался не очень часто, ссылаясь то на занятость, то на болезнь. Зато продолжал писать письма, полные страсти и поклонения. Но скрытый смысл этих писем был все тот же: «С пьедестала – ни шагу!»

«Ты – мое Солнце, мое Небо, мое Блаженство. Я не могу без Тебя жить ни здесь, ни там. Ты Первая моя Тайна и Последняя Моя Надежда. Моя жизнь вся без изъятий принадлежит Тебе с начала до конца. Играй ей, если это может быть Тебе Забавой. Если мне когда-нибудь удастся что-нибудь совершить и на чем-нибудь запечатлеться, оставить мимолетный след кометы, все будет Твое, от Тебя и к Тебе... Тебе нет имени. Ты – Звонящая, Великая, Полная, Осанна моего сердца бедного, жалкого, ничтожного. Мне дано видеть Тебя неизреченную... Мои мысли все бессильны, все громадны, все блаженны, все о Тебе, как от века, как большие, белые цветы, как озарения тех лампад, какие я возжигал Тебе».

«Помни все время, что я сердцем с Тобой, что Ты – властная, а я – подвластный, и нет больше моей Любви к Тебе... Для Тебя – мое сердце, все мое и моя последняя молитвенная коленопреклоненность».

Театральность? Выспренность? Импровизация сценического монолога из еще не написанной пьесы?

Любовь Дмитриевна как может сопротивляется, не принимает навязываемую ей роль. Она не хочет быть «Власт-

ной», не хочет быть «Осанной». Она мечтает быть просто любимой. Потому что сама она охвачена таким сильным чувством, что оно порой пугает ее.

«Долго мы еще не увидимся? Боже мой, как это тяжело, грустно! Я не в состоянии что-нибудь делать, все думаю, думаю без конца о тебе... Только бы не эта неизвестность! Ради Бога, пиши мне про себя, про свою любовь...»

«Настроение у меня теперь всегда одинаковое, когда я одна без тебя: полная нечувствительность ко всему, что не касается тебя, не напоминает о тебе; читать я могу теперь только то, что говорит мне о тебе, что интересуется тобой... Страшно это! Ведь после 7-го ноября, когда я увидела, поняла, почувствовала твою любовь, все для меня изменилось до самой глубины... Я всем существом почувствовала, что я могу, я должна и хочу жить только для тебя, что вне моей любви к тебе нет ничего, что в ней мое единственное возможное счастье и цель моего существования...»

Наконец 2 января 1903 года Блок сделал формальное предложение и получил согласие родителей. Но срок свадьбы не был определен. Все время выпрыгивали разные причины для отсрочки. Весной вдруг выяснилось, что Блок почему-то должен сопровождать свою мать, которая уезжала в Германию на лечение. Зато уж письма, письма! Что может быть лучше для эпистолярного жанра, чем туманная даль и километры разлуки?

«Нам будет хорошо. Ты знаешь, где счастье, я понимаю,

где счастье. Мне не изменяет мое чутье и моя молодость. Я вижу над головой звезду и знаю, куда Ты ведешь меня. Твой ученик, Твой жрец, Твой раб... Вижу близко Твои брови, Твои волосы, Твои глаза, Твое горящее лицо. А все-таки – ноги и платье, прости, я не могу не поклоняться. Я целую Твой горячий след. Я страстно жду Тебя, моя Огненная Царевна, Мое Зарево».

Л. Д. пытается уклониться от статуса рабовладелицы. «Милый, милый мой, ненаглядный, голубчик, не надо и в письмах целовать ноги и платье, целуй губы, как я хочу целовать – долго, горячо».

Но Блок не слышит. Он сознается, что пишет «не думая».

«Ведь я и сам не помню, как пишу, я скорей кричу, скорей ловлю пустой воздух руками, ветер вдыхаю полной грудью! Верить ли, верить ли Ты, это иногда меня мучит, представь! Знаю, что веришь, но повтори! Повторяй тысячи раз, повторяй, чтобы я метался здесь один, как безумный! Но и о мучениях пиши, умоляю, заклинаю, пиши, ничего не скрывай».

Блока огорчало то, что его литературные друзья и поклонники отнеслись к его свадебным планам иронично-скептически. Зинаида Гиппиус, со свойственным ей искусством ронять капли яда там и здесь, говорила, что Поэту не к лицу жениться на своей Прекрасной Даме. Самому Блоку она писала:

«Я была в Москве и видела Бугаева, мы с ним говорили о

вас и о том, что вы предлагали ему быть шафером... Бугаев вряд ли согласился бы шаферствовать, он был очень удручен вашей женитьбой и все говорил: „Как же мне теперь относиться к его стихам?“ Действительно, к вам, то есть к стихам вашим, женитьба крайне нейдет, и мы все этой дисгармонией очень огорчены... Вы простите, что я откидываю условности... и говорю лишь с точки зрения абсолюта. По-житейски это все, вероятно, совсем иначе, и я несколько не сомневаюсь, что вы будете очень счастливы».

Наконец в августе 1903 года свадьба состоялась. Естественно, переписка между влюбленными прекратилась на несколько лет. Какие-то сведения о первых годах супружеской жизни мы находим в воспоминаниях Л. Д. Из черновых записей к ним выясняется, что со стороны Блока была лишь «короткая вспышка чувственного увлечения, которая скоро, в первые же два месяца погасла». Л. Д. сознается, что не могла разобраться в сложной любовной психологии такого необыденного мужа и «только рыдала с бурным отчаянием».

Впрочем, она предвидела, что жизнь их не может быть безоблачной. Еще накануне свадьбы она пыталась поделиться с Блоком своими страхами:

«Ты понимаешь: жутко и непонятно, что „ты – для славы“, что для тебя есть наравне со мной... этот чуждый, сокрытый для меня мир творчества, искусства; я не могу идти туда за тобой, я не могу даже хоть иногда заменить тебе всех этих,



опять-таки чуждых мне, но понимающих тебя, необходимых тебе, близких по искусству, людей; они тебе нужны так, как я... Ведь и я-то, и твоя любовь, как и вся твоя жизнь, для искусства, чтобы творить, сказать свое „да“, я для тебя – средство для достижения высшего смысла твоей жизни. Для меня же цель, смысл жизни, все – ты. Вот разница. И она то пугает, то нагоняет грусть...»

Страхи ее оправдались. Вскоре после свадьбы из этого «мира творчества», закрытого для Л. Д., выделился – ворвался в их жизнь – один человек, с которым у Блока возникла необычайная дружба, близость, взаимопонимание. Однако разрушительная волна этого вторжения покатила со всем не в сторону вытеснения «приземленной» жены Поэта, смысла не те душевные мостики и плотины, за которые опасалась Л. Д.

Переписка между Блоком и Борисом Бугаевым (впоследствии Андреем Белым) возникла стихийно. Сам Белый так вспоминает этот момент:

«Начали мы переписку, скрестив свои письма: внезапная мысль осенила его и меня в тот же день: ему – написать мне; мне – написать ему; так: когда распечатывал я его синий конверт и читал извинения в том, что, не будучи лично знаком, он мне пишет, он тоже читал извинения мои, что, не будучи лично знаком, я пишу ему; письма эти пересеклись в дороге; так неожиданно для нас обоих началась наша переписка».

Оба поэты, оба – в поисках новых форм искусства, оба по-

клонники Владимира Соловьёва и его теории Вечной Женственности, оба увлечены французским и русским символизмом, оба отзывчивы ко всему нездешнему, астральному, неземному. Казалось бы, в этом трансцендентальном царстве и скамеечки не могло найтись для земной, жаждущей простого счастья Любови Дмитриевны. Но непредсказуема судьба, непредсказуемы поэты. Не то что скамеечка – все тот же пьедестал, в лучах обожания и поклонения, ждал бедную, не готовую к такому повороту княжну Любу. Тот самый пьедестал, на который Блок так упорно толкал ее еще до свадьбы. Теперь у него нашлись помощники.

В начале лета 1905 года Белый со своим другом, Сергеем Соловьёвым (племянником знаменитого философа), приехали погостить в имение Блоков – Шахматово. И оба сразу попали под обаяние Л. Д.

«В их восторгах, – запишет потом тетка Блока, Марья Андреевна Бекетова, – была изрядная доля аффектации, а в речах много излишней экспансивности. Они положительно не давали покоя Любови Дмитриевне, делая мистические выводы и обобщения по поводу ее жестов, движений, прически. Стоило ей надеть яркую ленту, иногда просто махнуть рукою, как уже „блоковцы" переглядывались со значительным видом и вслух произносили свои выводы. На это нельзя было сердиться, но это как-то утомляло, атмосфера получалась тяжеловатая».

О том же вспоминает и сама Л. Д. в своих мемуарах:

«Была я в то время и семьей Саши, и московскими „блоковцами" захвачена, превознесена без толку и на все лады, мимо моей простой человеческой сущности. Моя молодость таила в себе какое-то покоряющее очарование, я это видела, это чувала; и у более умудренной опытом голова могла закружиться».

Мы знаем, что лучшим лекарством, противоядием против высокопарности является ирония. Ни Блок, ни Белый не обладали этим чувством, поэтому могли воспарять в заоблачные дали и выси, не обращая внимания на окружающих. «Я не страдаю иронией», – с гордостью писал Белый в своих воспоминаниях.

Нет, друг Поэта и не подумал вытеснить Возлюбленную из его сердца. Наоборот – он загорелся страстным желанием оттеснить Поэта от пьедестала, остаться единственным поклонником и жрецом Л. Д. И перед отъездом из Шахматова передал ей письмо с признанием в любви. С этого момента началась запутанная треугольная драма, тянувшаяся три года. Но чтобы рассказать о ней подробно, я должна сделать историко-психологическое отступление.

В любую эпоху настоящий художник немножко бунтует против оков морали. Гёте в «Вертере», Пушкин в «Евгении Онегине», Флобер в «Мадам Бовари», Ибсен в «Кукольном доме» – все они по мере сил раздвигали рамки условностей, и миллионы читателей с благодарностью и облегчением следовали за ними. Но в первые годы 20-го века российский

Парнас был просто охвачен пожаром настоящего восстания против условностей. Поэты и художники состязались друг с другом в низвержении признанных канонов искусства и норм поведения. «Хочу быть дерзким, хочу быть смелым, хочу одежды с тебя сорвать! Хочу упиться роскошным телом...» и т. д. – писал один из кумиров того времени. Долг и вера объявлялись врагами, жестокими тюремщиками, если они пытались ограничить бушевание страстей. Владислав Ходасевич так описал атмосферу в литературных кругах того времени:

«Жили в неистовом напряжении, в обостренности, в лихорадке. Жили разом в нескольких планах. В конце концов были сложнее запутаны в общую сеть любвей и ненавистей, личных и литературных... От каждого, вступавшего в орден, требовалось лишь непрестанное горение, движение. Разрешалось быть одержимым чем угодно: требовалась лишь *полнота одержимости*».

О том же самом пишет жена Ходасевича, Нина Берберова: «Все, что выпадало на долю поэта, считалось благом, лишь бы удалось пережить побольше новых, острых ощущений. Таким образом, личность уподобилась мешку, в который без разбора сваливали все пережитые чувства. И самой богатой и замечательной индивидуальностью обладал, по видимому, тот, чей мешок оказывался больше. В этой „погоне“ растрчивалась... немалая доля творческой энергии, и мгновения жизни утекали, оставляя в душах пустоту и изне-

можение».

И вот на долю поэта А. Белого выпало сильное чувство – любовь к жене поэта А. Блока. Должен ли он мучиться и скрывать свою страсть, как Вертер? Избави бог! Белый открыто начинает требовать от Блока и членов его семьи, чтобы никто не препятствовал разгоранию этого священного огня.

«Саша, милый, милый, мой неизреченно любимый брат, прости, что я этим письмом нарушаю, быть может, тишину, необходимую для Тебя теперь. Но причина моего письма внутренне слишком важна, чтобы само письмо я мог отложить...

Ты знаешь мое отношение к Любе; что оно все пронизано несказанным. Что Люба для меня самая близкая из всех людей, сестра и друг. Что она понимает меня, что в ней я узнаю самого себя, преображенный и цельный. Я сам себя узнаю в Любе. Она мне нужна духом для того, чтобы я мог выбраться из тех пропастей, в которых – гибель...

Но я еще и влюблен в Любу. Безумно и совершенно. Но этим чувством я *умею управлять*».

«Умею управлять» длилось недолго. Вскоре в письмах начинают проскальзывать скрытые и явные угрозы: «Если же все мои отношения к Любе мерить внешним масштабом... тогда придется отрицать всю несказанность моей близости к Любе; придется сказать: „Это только влюбленность“. Но тогда мне становится невозможным опираться на несказанный

критерий: тогда я скажу Тебе: „Я не могу не видеть Любу. Но признаю Твое право, взглянув на все *слишком просто*, налагать veto на мои отношения к Любе". Только, Саша, тогда начинается драма, которая должна кончиться смертью одного из нас... Милый брат, знай это: если *несказанное* во мне будет оскорблено, если *несказанное мое* кажется Тебе оскорбительным, мой любимый, единственный брат, *я на все готов!* Смерти я не боюсь, а ищу».

Сам Блок большей частью отмалчивается. Да и что он может ответить? Он ведь тоже верит, что полыхание чувств превыше всего. Но мать его и жена пытаются урезонить расходившегося поэта, умоляют его пока не приезжать в Петербург.

Александра Андреевна Блок пишет 12 августа 1906 года: «Милый Боря, никогда я не переставала любить Вас и помню все драгоценные моменты, когда начала сознавать Вас... И чтобы Вы, Боря... могли вернуться ко мне и ко всем нам, любящим Вас... надо нам не видеться некоторое время, надо Вам не видеть Любу... Моя любовь к Вам выдержала жесточайшее испытание. Вы два раза угрожали смертью Саше, и я не перестаю любить Вас... Умоляю Вас, ради нас всех четырех, *тайно связанных, не нарушайте, не разрывайте связь, не приезжайте теперь*».

Любовь Дмитриевна просит о том же:

«Боря, Боря, что ты наделал своими нахальными письмами, адресованными Александре Андреевне для меня! Ведь

это же дерзко, и она совершенно обижена... Боря, у нас сегодня Бог знает что было, так мы поссорились с ней. Не надо больше ставить меня в трудное положение, Боря, веди себя прилично. Мучительно и относительно Саши – он верит, что Александра Андреевна хорошая, а я не хочу же против этого идти. Твой приезд осложнился невероятно – благодаря твоим выходкам, Боря».

Но могла ли молодая женщина, ставшая объектом такого пламенного обожания, остаться холодной, равнодушной, неприступной? Из мемуаров Л. Д.:

«Как могла я удержаться от соблазна испытывать власть своих взглядов, своих улыбок на окружающих? И прежде всего – на Боре, самом значительном из всех? Боря же кружил мне голову, как самый опытный Дон-Жуан, хотя таким никогда и не был. Долгие, иногда четырех– или шестичасовые его монологи, теоретические, отвлеченные, очень интересные нам, заканчивались неизбежно каким-нибудь сведением всего ко мне; или прямо, или косвенно выходило так, что смысл всего—в моем существовании и в том, какая я».

Своими терзаниями Л. Д. делилась с другом Блока, Евгением Ивановым. Сохранился его дневник тех весенних месяцев 1906 года. Вот запись от 11 марта:

«Я Борю люблю и Сашу люблю, что мне делать? Если уйти с Б. Н., что станет Саша делать... Б. Н. я нужнее. Он без меня погибнуть может. С Б. Н. мы одно и то же думаем: наши души это две половинки, которые могут быть сложены. А с

Сашей вот уже сколько времени идти вместе не могу... Я не могу понять стихи, не могу многое понять, о чем он говорит, мне это чуждо... Саша вдруг затосковал и стал догадываться о реальной возможности ухода с Борей».

Как далеко зашли их отношения? Нам остается верить только тому, что рассказала в своих воспоминаниях сама Л. Д.:

«...С этих пор пошел кавардак. Я была взбудоражена не менее Бори. Не успевали мы оставаться одни, как никакой уже преграды не стояло между нами, и мы беспомощно и жадно не могли оторваться от долгих и неутоляющих поцелуев. Ничего не предвещая в сумбуре, я даже раз поехала к нему. Играя с огнем, уже позволяла вынуть тяжелые черепаховые гребни и шпильки, и волосы уже упали золотым плащом... Но тут какое-то неловкое и неверное движение (Боря был в таких делах явно не многим опытнее меня) – отрезвило, и уже волосы собраны, и уже я бегу по лестнице, начиная понимать, что не так должна найти я выход из созданной мною путаницы... Я попросила Борю уехать».

Требования «уехать», «не приезжать» были восприняты Белым как нелепая жестокость. Идолопоклонник «несказанного» требовал от своих единоверцев, чтобы они подчинились расплывчатому догмату «любовь превыше всего».

«Милый Саша... клянусь, что Люба – это я, но только *лучший*. Клянусь, что Она – святыня моей души... Клянусь, что *только* через Нее я могу вернуть себе себя и Бога. Клянусь,



что я гибну без Любы; клянусь, что моя истерика и мой мрак – это не видеть Ее... *Клянусь Тебе, Любе и Александре Андреевне, что я буду всю жизнь там, где Люба*, и что это не страшно Любе, а необходимо и нужно... Ведь нельзя же человеку дышать без воздуха, а Люба – необходимый воздух моей души... К встрече с Любой в Петербурге (или где бы то ни было) готовлюсь, как к таинству».

Теперь уже и сам Блок поддается этому напору и пишет Белому дружески увещательное письмо:

«Боря, милый! Прочтя твое письмо, я почувствовал опять, что люблю Тебя... Все время все, что касалось твоих отношений с Любой, было для меня непонятно и часто неважно. По поводу этого я не могу сказать ни слова, и часто этого для меня как будто и нет... Внешним образом я ругал Тебя литератором, так же, как Ты меня, и так же думал о дуэли, как Ты. Теперь я больше не думаю ни о том, ни о другом. Я думаю совершенно определенно, так же, как Люба и мама, что Тебе лучше теперь не приезжать в Петербург – и лучше *решительно для всех нас*».

Но, уверенный в своих «правах влюбленного», Белый отвечает:

«Милый Саша, право, я удивляюсь, что ты меня не понимаешь. Ведь понять меня вовсе не трудно: для этого нужно только *быть человеком* и действительно знать... *что такое Любовь*... Я готов написать Тебе хоть диссертацию, объясняющую по пунктам то, что было бы во мне понятно всяко-

му *живому* человеку, раз в жизни испытавшему *настоящую* любовь.

Ты прекрасно знаешь, что я не могу не видеть Любы и что меня хотят этого лишить. Я считаю последнее бессмыслицей, варварской, *ненужной* жестокостью... Весною (в апреле) я уже решился на самоубийство, и меня вы все (ты, Люба, Александра Андреевна) предательски спасли моим переездом в Петербург – но только для того, чтобы через две-три недели *опять* предъявить мне смертный приговор и заставить протомиться три месяца».

Всю свою треугольную драму Белый тут же переплавлял в прозу и стихи и печатал при первой возможности. Это переполнило чашу терпения Любови Дмитриевны. Она пишет Белому в октябре 1906 года по поводу опубликования рассказа «Куст»:

«Нельзя так фотографически описывать какую бы то ни было женщину в рассказе такого содержания; это общее и первое замечание; второе – лично мое: Ваше издевательство над Сашей. Написать в припадке отчаяния Вы могли все; но отдавать печатать – поступок вполне сознательный, и Вы за него вполне ответственны».

И далее, по поводу опубликования цикла стихов в журнале «Весы»:

«Скажу Вам прямо – не вижу больше ничего общего у меня с Вами. Ни Вы меня, ни я Вас не понимаем больше... Вы считаете возможным печатать стихи столь интимные, что ко-

гда-то и мне Вы показали их с трудом... Возобновление наших отношений дружественное еще не совсем невозможно, но в столь далеком будущем, что его не видно мне теперь».

Не следует думать, что Блок все время только устранялся и страдал. В конце 1906 года у него загорается роман с актрисой Натальей Николаевной Волоховой. «Влюбленность Блока скоро стала очевидной для всех, – вспоминает актриса Веригина. – Каждое стихотворение, посвященное Волоховой, вызывало острый интерес среди поэтов. Первые стихи ей он написал по ее же просьбе. Она просто попросила дать что-нибудь для чтения в концертах. 1 января 1907 года поэт прислал Волоховой красные розы с новыми стихами».

Вот явилась. Заслонила  
Всех нарядных, всех подруг,  
И душа моя вступила  
В предназначенный ей круг.

И под знойным снежным стоном  
Расцвели черты твои.  
Только тройка мчит со звоном  
В снежно-белом забытьи.

Ты взмахнула бубенцами,  
Увлекла меня в поля...  
Душишь черными шелками,  
Распахнула соболя...

Похоже, Любовь Дмитриевна нисколько не ревновала к Волоховой. Они сохраняли дружеские отношения, вместе ходили в театры, на заседания Религиозно-философского общества, ездили в гастрольные поездки. И Блок не делал тайны из своего романа:

«У меня душа какая-то омытая, как я сам сейчас в ванне, – писал он жене в мае 1907 года. – Чувствую себя как-то важно и бодро. Ты важна мне и необходима необычайно; точно так же Н. Н. – конечно – *совершенно* по-другому. В вас обеих – роковое для меня. Если тебе это больно – ничего, так надо... Хорошо, что вы обе так относитесь друг к другу теперь, как относитесь... Напиши мне, что ты думаешь об этом теперь и не преуменьшай этого ни для себя, ни для меня. Помни, что ты для меня необходима, я твердо это знаю».

Белый между тем продолжал досаждать обоим письмами, но они явно разочаровались в нем. Л. Д. пишет Блоку в июне 1907 года:

«Ты был совершенно прав относительно Бори... Получила от него многолистное повествование о его доблести и нашей низости, в прошлогоднем подлом тоне. Отвратительно! Сожгла сейчас же и пепел выбросила. Не хочу повторять его слова письменно, если тебе интересно будет, лучше расскажу... Буду впредь отсылать его письма нераспечатанными. Господи, как хорошо, что ты приедешь... Какой ты надежный, неизменно прямой, самый достоверный из всех...»

У Блока же с Белым личный конфликт сплетался с лите-

ратурным, и дело чуть не дошло до дуэли. Белый присылал секундантов, но Л. Д. сумела разрушить их миссию – отвлечь разговором, очаровать, пристыдить, усадить за обед. Однако обмен словесными выстрелами между двумя поэтами продолжался. В августе 1907-го Блок пишет:

«Милостивый государь Борис Николаевич! Ваше поведение относительно меня, Ваши сплетнические намеки в печати на мою личную жизнь, Ваше последнее письмо, в котором Вы, уморительно клевета на меня, заявляете, что все время „сидели за мной издали“, – и, наконец, Ваши хвастливые печатные и письменные заявления о том, что Вы только один на всем свете „страдаете“ и никто, кроме Вас, не умеет страдать, – все это в достаточной степени надоело мне... Я склонен приписывать Ваше поведение... или какому-нибудь грандиозному недоразумению, или особого рода душевной болезни».

Впоследствии, в своих воспоминаниях, Белый попытался отомстить Л. Д. «за непонимание». Куда девалась «святыня моей души», «сестра», «самая близкая из всех людей»? Он нарисовал ее пошлой мещанкой, лишенной всякой духовности:

«Л. Д., нагибаясь, покачиваясь, с перевальцем, всходила, округло сутулясь большими плечами, рукой у колена капот подобравши и щури глаза на нос, – синие, продолговатые, киргиз-кайсацкие, как подведенные черной каймой ресниц, составляющих яркий контраст с бело-розовым, круглым ли-

цом и большими, растянутыми, некрасивыми вовсе губами... Я подметил в медлительной лени движений таимый какой-то разбойный размах... Любовь Дмитриевна, сдвинув брови и морща свой маленький лобик, как будто прислушивалась напряженно к молчаниям нашим; и стала совсем некрасивой; и снова поднялся в ней точно разбойный размах; и его погасила она».

Но в 1920 году, в разговоре с юной поэтессой Одоевцевой, Белый описал себя и свою любовь совсем по-другому:

«Ну зачем я ломаюсь? Зачем я безумствую? Скажите, зачем?.. Я ведь всегда ломаюсь. Всегда ломался. Не мог не ломаться – это моя самозащита – с самого младенчества... Гувернантка мне говорила: „Зачем ты, Боренька, ломаешься под дурачка? Ведь ты совсем другой...“ Строю себе и теперь гримасы в зеркале, когда бреюсь. Ведь гримаса – та же маска. Я всегда в маске! Всегда... Я, знаете, однажды семь дней не снимал маски, не символической, настоящей, черной, бархатной. Я ее нашел в шкафу у мамы. Я тогда сходил с ума по Любови Дмитриевне Блок. Хотел покончить с собой... С тех пор я всегда ношу маску. Даже наедине. Боюсь увидеть свое настоящее лицо. И знаете... это тяжело. Не-вы-но-си-мо-тя-же-ло! Не-вы-но-си-мо-о!»

Сам ломался в жизни, а в своих писаниях – ломал и насиловал язык. Вместо трудной погони за свежим, незатертым словом легко достигал иллюзии новизны, наугад прилепляя к корневищам слов «незаконные» приставки и окон-

чания: «закид», «слепительный», «расклон», «учувствовал», «задох», «обветр», «убег». А также «круглота глаз», «сдержи движений», «вздерги бровей», «щур ресниц».

Мне кажется, дорогой Дмитрий Александрович, Ваша мать в какой-то момент бесконечно устала от окружавшего ее ломанья и надрыва. И решила скрыться от всех, от всех. Просто удрать. Приняла приглашение театральной труппы и весной 1908 года уехала в гастрольную поездку на юг России. С дороги она писала Блоку:

«Конечно, вспоминаю я о тебе, милый, но творится со мной странное. Я в первый раз в жизни почувствовала себя на свободе, одна, совершенно одна и самостоятельна. Это опьяняет, и я захлебываюсь. Я не буду писать тебе фактов. Бог с ними. Знаю одно, что вернусь к тебе, что связана с тобой неразрывно, но теперь, теперь – жизнь, мчащаяся галопом, в сказочном весеннем Могилёве... Сцена – необходимое для меня совершенно. Я еще не актриса, ну буду, буду ей. О, как бы хорошо, если бы ты ждал меня и не отрывал от себя. Мне так будет нужно вернуться. А теперь надо и хорошо, чтобы я жила моей безумной жизнью... Не хочется писать мои похождения – может быть, сейчас уже все кончено, может быть, и еще хуже будет – не знаю. Много хорошего в этой безалаберности все-таки».

Письмо от 17 марта, из Николаева:

«Дорогой мой, безумно тебя люблю и тоскую о тебе... Я свободна, смотрю на голубое небо и голубой разлив и тоскую

о тебе. А горький осадок последних дней тает в душе, уходит... Хочется окружить тебя нежностью, заботиться о тебе, быть с тобой в Шахматове. А тут опять налетят эти огни кулис и „красные плащи"... Но посмотрим, посмотрим, как встречу я их теперь».

Видимо, она встретила «красные плащи» с распростертыми объятиями, потому что в какой-то момент сама испугалась. Письмо от 29 марта, из Могилёва:

«Я не писала ничего прямо, зная, что ты не любишь знать точно все мое личное, вне тебя. Теперь должна сказать... Я не считаю больше себя даже вправе быть с тобой связанной во внешнем, я очень компрометирую себя. Как только будет можно, буду называться в афишах Менделеевой. Сейчас не вижу, и вообще издали говорить об этом нелепо, но жить нам вместе, кажется, невозможно; такая, как я теперь, я несовместима ни с тобой, ни с какой бы то ни было уравновешенной жизнью, а вернуться к подчинению, сломиться опять, думаю, было бы падением, отступлением, и не дай этого Бог. Ты понял, конечно, что главное тут влюбленность, страсть, свободно их принимаю. Определенней сказать не хочу, нелепо. Вернусь в Петербург в 20-х числах мая, тогда все устроим внешнее. Деньги твои получила... Если присылаешь сам – не надо, я не могу больше брать у тебя, мне кажется... Нельзя мне больше жить с тобой... нечестно».

Блока эти излияния мучат несказанно. Он засыпает жену письмами и телеграммами:



«4 апреля, Петербург. Милая, ты знаешь сама, как ты свободна. Но о том, о чем ты пишешь, нельзя переписываться. Я совершенно не знаю ваших маршрутов и не имею понятия, куда писать. Это письмо я пишу наугад. Твоего письма я не понимаю, т. е. не понимаю того чувства, которое было у тебя, когда ты писала... Ты пишешь до такой степени странные вещи о деньгах, о „честности" и т. п. Из этого я заключаю, что ты не понимаешь больше меня. Писать это письмо мне трудно...

Если ты еще будешь писать о том же и если уж надо об этом писать, то нельзя ли более досказанно? Мне нужно знать – полюбила ли ты другого или только влюбилась в него? Если полюбила – кто это?.. Помни о том, что, во-первых, я считаю пошлостью разговоры о правах и обязанностях и считаю тебя свободной. Во-вторых, ненавижу того человека, с которым ты сейчас».

Судя по датам, этот неизвестный нам человек и был Вашим, Дмитрий Александрович, биологическим отцом. Вы родились в феврале 1909 года – как раз девять месяцев от апреля – мая 1908-го. Но я смею утверждать, что каким-то непостижимым (на их жаргоне – «несказанным») образом Вы родились от любви, вновь разгоревшейся в разлуке между Поэтом и Княжной. Они оба так тонко, привычно и точно различали любовь и влюбленность! И письма их переполнены той неповторимой любовью, которая выпала на их долю, – легкость и тяжесть, радость-страданье, вместе и врозь.

«Ни с тобой, ни без тебя жить невозможно...»

Блок пишет 14 июня из Шахматова:

«Милая... твое письмо я получил третьего дня и ношу с собой. На него я могу ответить тебе только, что думаю о тебе каждый день, тебя недостает каждый день, и я живу все время тем, что жду тебя... Я теперь переживаю эту одинокую жизнь и знаю, что она очень хороша, но бесплодна, бесплодна – другого слова не придумаешь».

В тот же день Л. Д. писала мужу:

«Люблю тебя одного в целом мире. Часто падаю на кровать и горько плачу: что я с собой сделала? Что

Пусть эта смерть была понятна —  
В душе, под песни панихид,  
Уж проступали злые пятна  
Незабываемых обид.

.....  
Я подавлю глухую злобу,  
Тоску забвению предаю,  
Святому маленькому гробу  
Молиться будут по ночам.

Но – быть коленопреклоненным,  
Тебя благодарить, скорбя? —  
Нет. Над младенцем, над *блаженным*  
Скорбеть я буду без Тебя.

«Без Тебя» – то есть без Господа. У многих русских поэтов мелькает похожая нота отпада, отказа, своего рода вопль Иова. Лермонтов: «Лишь сделай так, чтобы Тебя отныне недолго я уже благодарил...»; Цветаева (возмущенная начавшейся войной): «На Твой безумный мир – ответ – один. отказ»; Бродский: «Твой дар я возвращаю...»

В богословии есть огромный раздел, который называется «Теодицея» – оправдание Творца. Видимо, Господь очень нуждается в квалифицированных адвокатах, раз лучшие христианские умы исписывали тома на эту тему. И действительно, как верующему понять – принять – оправдать страдания и смерть невинного младенца?

Среди других истолкований мне запомнилось одно: Провидение, мол, предвидело, что этому младенцу предстоит в жизни невыносимые страдания, и Оно милостиво решило удалить его из мира в самом начале жизненного пути. И действительно, что могло ждать Вас впереди? Быть расстрелянным в подвалах НКВД, как Ваш ровесник Борис Корнилов? Гнить в лагере бок о бок с сыном Ахматовой, Львом Гумилёвым? Погибнуть на фронте, как сын Цветаевой – Мур? Или мучиться холодом и голодом в ссылке, как ее дочь, Ариадна Эфрон?

Так или иначе, Блок не забывал о Вас и годы спустя записал в дневнике: «Сегодня день рождения Мити. 5 лет».

Между тем совместная жизнь Ваших родителей продолжалась. С 1909 по 1912 год все шло более или менее мирно,

они даже съездили вместе за границу. Но впоследствии Любовь Дмитриевна охарактеризовала этот период двумя словами: «Без жизни». А Блок написал стихи:

Весенний день прошел без дела  
У неумытого окна;  
Скучала за стеной и пела,  
Как птица пленная, жена.

Я, не спеша, собрал бесстрастно  
Воспоминанья и дела;  
И стало беспощадно ясно:  
Жизнь прошумела и прошла...

«Пленная птица» – такой он видел ее. Однако в дневнике 1910 года написал горестные строки, в которых было много страсти, но мало справедливости. «Люба довела маму до болезни...» Но разве не ездила Александра Андреевна лечиться от затяжного недуга в Германию еще до их свадьбы? «Люба отогнала от меня людей...» Да разве в другом месте он не жалуется, как ему самому тяжело общение с прежними знакомыми? «Люба создала всю ту невыносимую сложность и утомительность отношений, какая теперь есть». Действительно, застыла бы послушно на пьедестале, и не было бы никакой сложности.

Поэтому не приходится удивляться, что в конце 1912 года новая страсть вырвала Любовь Дмитриевну из домашней

клетки, снова «завернула в синий плащ», «унесла в сырую ночь». И снова начались письма и телеграммы, тоска, уверения в любви, попытки выяснить отношения, горькие обвинения:

«Я убеждаюсь с каждым днем... что ты погружена в непробудный сон... То, что ты совершаешь, есть заключительный момент сна, который ведет к катастрофе... Ты можешь назвать эту катастрофу новым пробуждением, установлением новой гармонии (для себя и для третьего лица). Я в эту новую гармонию не верю, я ее *проклинаю* заранее... Прощу тебя оставить домашний язык в обращении ко мне. Просыпайся, иначе – за тебя проснется другое. Благослови тебя Бог, помоги он тебе быть не женщиной-разрушительницей, а – созидательницей».

Любовь Дмитриевну ранят эти укоры.

«Милый Лалочка, не посылай мне больше злых писем, они меня мучат невыносимо своей жестокостью... Я знаю, что тебе диктует их *твое* нервное состояние, а не отношение ко мне, но это не помогает, и слова бьют прямо в сердце... Мой Лала, надо очень много силы, всякой, ты уж поверь, чтобы... видеть тебя, милого и любимого моего Лалаку, а не какого-то с кнутиком».

Душевные качели Блока, как всегда, раскачиваются между убийственным холодом и пламенной нежностью:

«Милая, сегодня пришло твое письмо. Пиши, милая, почаще. Теперь здесь тоже весна, часто солнце и тает, мне бы-

вает хорошо... О тебе думаю сквозь все с последней нежностью, все меньше хочу для тебя театра... все больше хочу, чтобы ты была со мной. По-прежнему мы оба не знаем, что ты будешь делать, но все больше я знаю, что я – с тобой».

Л. Д. бесконечно благодарна ему за теплоту и понимание. Письмо от 27 марта 1913 года: «Милый, я не хочу еще уезжать отсюда. Я думаю, что в сущности ты понимаешь, как и почему я здесь... Ты знаешь тоже, что, если бы я почувствовала, что я *должна* быть у тебя, я могла бы разбить все свое и уехать к тебе, потому что я люблю тебя и могу себя забыть для тебя. Но и ты меня любишь и отпустил меня сюда, и я так тебе за это благодарна... Ты не захотел отнять у меня счастье, которое судьба вдруг мне послала... Я знаю, что это... совсем не измена тебе, потому что это хорошее, потому что связь с тобой я тут знаю куда лучше, чем все последние годы рядом с тобой. Милый, я очень неуклюже говорю, но посмотри на все эти слова как на условные знаки, которыми я стараюсь тебе сказать то, что, опять-таки, думается мне, ты сам знаешь. Господь с тобой, мой родной Лала, целую тебя».

И опять потоком идут стихи.

Приближается звук. И, покорна щемящему звуку,  
Молодеет душа.

И во сне прижимаю к губам твою прежнюю руку,  
Не дыша.

Снится – снова я мальчик, и снова любовник,

И овраг, и бурьян, И в бурьяне – колючий шиповник,  
И вечерний туман.

.....

Этот голос – он твой, и его непонятному звуку  
Жизнь и горе отдам,  
Хоть во сне твою прежнюю милую руку  
Прижимая к губам.

\*\*\*

Да, был я пророком, пока это сердце молилось, —  
Молилось и пело тебя, но ведь ты – не царица.

Царем я не буду: ты власти мечты не делила.  
Рабом я не стану: ты власти земли не хотела.  
Вот новая ноша: пока не откроет могила  
Сырые объятия, – тащиться без важного дела...

Но я – человек. И, паденье свое признавая,  
Тревогу свою не смирю я: она все сильнее.  
То *ревность по дому*, тревогою сердце снедая,  
Твердит неотступно: *Что делаешь, делай скорее.*

Последнее стихотворение датировано февралем 1914 года. Но уже в марте сердце Блока открывается другой любовью, другой Любе – Любови Александровне Дельмас. Она тоже актриса (театр, видимо, имел над Блоком неодолимую власть) – оперная певица, восхищавшая зрителей-слушателей исполнением роли Кармен.

Вот – мой восторг, мой страх в тот вечер в темном зале!  
Вот, бедная, зачем тревожусь за тебя!  
Вот чьи глаза меня так странно провожали,  
Еще не угадав, не зная... не любя!

Сама себе закон – летишь, летишь ты мимо,  
К созвездиям иным, не ведая орбит,  
И этот мир тебе – лишь красный облак дыма,  
Где что-то жжет, поет, тревожит и горит!

И в зареве его – твоя безумна младость...  
Всё – музыка и свет: нет счастья, нет измен...  
Мелодией одной звучат печаль и радость...  
Но я люблю тебя: я сам такой, *Кармен*.

В сущности, начиная с 1908 года отношения Блоков вошли в некую колею, которую в сегодняшней Америке назвали бы «открытый брак». Оба отдавались своим любовным увлечениям с полной самоотдачей, но оба уже признавали свою неотделимость друг от друга, неразрывность до конца дней. Летом 1915 года Л. А. Дельмас приезжала к Блоку в Шахматово, провела там несколько дней, и Блок не скрывал этого от жены. Та служила в эти месяцы медсестрой в прифронтовом госпитале и переживала очередную роман – с вольноопределяющимся офицером Кузьминым-Караваевым, сыном генерала. Но Блок, похоже, относился к этому без горечи. Его письма полны нежности и заботы.



«Ты пишешь, что я должен не беспокоиться. Это ведь только способ выражения – беспокойство. Теперь особенно – все, что я о тебе чувствую, – превышает все беспокойства; то есть беспокойство достигло предела и перешло уже в другое, в какой-то „огненный покой“, что ли. Благодарю тебя, что ты продолжаешь быть со мною, несмотря на свое, несмотря на мое. Мне так нужно это».

Тем же чувством полны и стихи:

Пусть я и жил, не любя,  
Пусть я и клятвы нарушу, —  
Все ты волнуешь мне душу  
Где бы ни встретил тебя!

О, эти дальние руки!  
В тусклое это житье  
Очарованье свое  
Вносишь ты, даже в разлуке!

.....  
Старые снятся минуты,  
Старые снятся года...  
Видно, уж так навсегда  
Думы тобою замкнуты!

Кто бы ни звал – не хочу  
На суетливую нежность  
Я променять безнадежность —

И, замыкаясь, молчу.

Именно «безнадежность» окрасила последние дни Блока. Все его надежды на российскую революцию, которой он отдал много сил и души, обернулись кровавым кошмаром большевизма. На его глазах сочиненные им двенадцать апостолов мятежа сняли с плеча свои трехлинейки и начали палить уже не «в Святую Русь», не в «сытых», которым Блок пророчил гибель в 1905 году, а в голодающих крестьян и кронштадтских матросов.

В 1921 году у Блока начались – усилились – симптомы тяжелого душевного заболевания. Л. Д. так описывает истерические припадки, накатившие на него весной:

«Мрачность, пессимизм, нежелание – глубокое – улучшения и страшная раздражительность, отвращение ко всему – к стенам, картинам, вещам, ко мне. Раз как-то утром он встал и не ложился... Я уговаривала его опять лечь, говорила, что ноги отекут, – он страшно раздражался, с ужасом и слезами: „Да что ты с пустяками!.. Мне сны страшные снятся, видения страшные, если начинаю засыпать...“ При этом он хватал со стола и бросал на пол все, что там было, в том числе большую голубую вазу, которую я ему подарила и которую он прежде любил, и свое маленькое зеркало, в которое он всегда смотрел, когда брился...»

Мать Блока жила в той же квартире, к Л. Д. у нее была застарелая нелюбовь. Их постоянные ссоры действовали Бло-

ку на нервы. Плюс недоедание, холод, отсутствие элементарных лекарств...

«Вообще у него в начале болезни была страшная потребность бить и ломать: несколько стульев, посуду, а раз утром... он вошел в свою комнату, закрыл за собой дверь, и сейчас же раздались удары, и что-то шумно посыпалось. Я вошла, боясь, что он себе принесет какой-нибудь вред; но он уже кончал разбивать кочергой стоявшего на шкафу Аполлона».

С медицинской точки зрения смерть Блока, наверно, останется такой же загадкой, как смерть Гоголя. Ведь врачам до сих пор не разрешено писать в графе «Диагноз»: «отчаяние». Но сама Л. Д. так описала суть его болезни:

«Трепетная нежность наших отношений никак не укладывалась в обыденное, человеческое: брат – сестра, отец – дочь... Нет!.. Более, нежнее, невозможней... И у нас сразу же, с первого года нашей общей жизни, началась такая игра: мы для наших чувств нашли „маски“, окружили себя выдуманными, но совсем живыми для нас существами; наш язык стал совсем условный... Как бы ни терзала жизнь, у нас всегда был выход в этот мир, где мы были неизбежно неразлучны, верны и чисты. В нем нам всегда было легко и надежно, если мы даже и плакали порой о земных наших бедах.

Когда Саша заболел, он не смог больше уходить туда... Болезнь отняла у него и этот отдых. Только за неделю до смерти, очнувшись от забытья, он спросил вдруг на нашем

языке, отчего я вся в слезах, – последняя нежность».

После смерти мужа Любовь Дмитриевна писала сестре: «...Просто кончено все житейское, что мы называем жизнью... Сашина смерть – гибель гения, не случайная, подлинная, оправдание подлинности его чувств и предчувствий... Сердце мое уже по ту сторону жизни и неразрывно с ним».

Злые языки могут заявить, что Ваша мать, Дмитрий Александрович, сильно приукрасила свою роль, когда писала воспоминания. Но ведь и сам Блок записал однажды в дневнике: «У меня женщин не 100– 200—300 (или больше?), а всего две: одна – Люба, другая – все остальные».

Все, что я узнала о Вашей матери, вызывает у меня смесь восхищения и зависти. Сквозь все испытания она сумела пронести свою врожденную благодарную любовь к жизни, уверенность в своих душевных силах. «Да, я себя очень высоко ценю, – с этим читателю придется примириться, если он хочет дочитать до конца; иначе лучше будет бросить сразу. Я люблю себя, я себе нравлюсь, я верю своему уму и своему вкусу».

«Только в своем обществе я нахожу собеседника, который с должным (с моей точки зрения) увлечением следует за мной по всем извилинам, которые находит моя мысль, восхищается теми неожиданностями, которые восхищают и меня – активную, находящую их». Конечно, если на Страшном суде ее дело будет разбираться по нынешним правилам, обвинение легко отведет меня как свидетеля пристрастного, име-

ющего свой личный, корыстный интерес, боящегося за исход собственного «дела», столь похожего на дело Л. Д. Но никакой изощренный прокурор не сможет отвести «показания» самого Блока, так и озаглавленные:

## ПЕРЕД СУДОМ

Что же ты потупилась в смущеньи?  
Погляди, как прежде, на меня.  
Вот какой ты стала – в униженьи,  
В резком, неподкупном свете дня!

Я и сам ведь не такой – не прежний,  
Недоступный, гордый, чистый, злой.  
Я смотрю добрей и безнадежней  
На простой и скучный путь земной.

Я не только не имею права,  
Я тебя не в силах упрекнуть  
За мучительный твой, за лукавый,  
Многим женщинам сужденный путь...

Но ведь я немного по-другому,  
Чем иные, знаю жизнь твою  
Более, чем судьям, мне знакомо,  
Как ты очутилась на краю.

Вместе ведь по краю, было время,  
Нас водила пагубная страсть,

Мы хотели вместе сбросить бремя  
И лететь, чтобы потом упасть.

Ты всегда мечтала, что, сгорая,  
Догорим мы вместе – ты и я,  
Что дано, в объятьях умирая,  
Увидать блаженные края...

Что же делать, если обманула  
Та мечта, как всякая мечта,  
И что жизнь безжалостно стегнула  
Грубою веревкою кнута?

Не до нас ей, жизни торопливой,  
И мечта права, что нам лгала.  
Все-таки, когда-нибудь счастливой  
Разве ты со мною не была?

Эта прядь – такая золотая  
Разве не от старого огня?  
Страстная, безбожная, пустая,  
Незабвенная, прости меня!

## 10. ОСАДА

От дома до автобусной остановки – пять минут ходьбы. Я изображаю полное спокойствие, иду не озираясь. Но взгляд невольно впивается в каждую припаркованную машину, в окна лавчонок – не притаился ли там? – в фигуры людей, плывущих в утренней мгле.

«Вот так начинается паранойя», – говорю я себе.

Полчаса в автобусе – передышка, безопасность. Можно почитать конспекты, подготовиться к лекции. Но проход до дверей института – голая полоса, простреливаемая местность. Сколько раз он подкарауливал меня здесь до разрыва. Появлялся вот из этой фруктовой лавчонки со свежим букетом гвоздик и свежим полароидным снимком, только что сделанным через окно. Что скрывать – тогда мне это льстило. Я ворчала на него, но весь день окрашивался какой-то потаенной нежностью. А теперь? Неужели только страх? Или немножко – чуть-чуть – и надежда тоже?

За дверьми института – людской водоворот. Студенты и преподаватели спешат в свои аудитории, на ходу доедают бутерброды, окликают друг друга, машут руками, кепками, книгами. У меня – лекция об особенностях русского романа. Группа составлена из детей русских эмигрантов. Простая хитрость – ребята хотят получить необходимые кредиты по иностранному языку, записываются на мой курс, который я

веду по-русски. Их расчет прост: не пропадать же добру – хоть на что-то сгодится русский язык в трудной Америке.

Глеб в свое время тоже записался на этот курс. Что я буду делать, если он сегодня войдет в аудиторию? Звать охрану, полицию? «Мне не нравится взгляд этого студента, удалите его!»

Нет, слава богу – пронесло. Двадцать молодых мордочек смотрели приветливо, только отличники строчили конспекты, не поднимая глаз. Я рассказывала о жанре плутовского романа. Разве не любопытен тот факт, что в девятнадцатом веке мы находим только один яркий пример этого жанра – «Мертвые души», а в веке двадцатом у нас по стопам Чичикова маршируют и Хулио Хуренито, и Остап Бендер, и Сандро из Чегема, и солдат Чонкин, и много других, помельче? Чем это объяснить? Больше плутовства стало в жизни? Или меньше серьезности? Подготовьте свои ответы к следующему занятию.

В перерыве мне нужно было забрать несколько книг из своего кабинета. Один пролет лестницы вверх, налево по коридору, но у второго – последнего – поворота – замедлить шаг, осторожно высунуть голову из-за угла. В первые месяцы своего студенчества Глеб часто караулил меня здесь, у дверей. У него всегда находились каверзные вопросы о прослушанной лекции.

«Почему Печорина называют лишним человеком? Он не валялся в кровати, как Обломов, честно служил в россий-



ской армии, воевал с чеченцами. Не его вина, что война эта тянется до сих пор».

«У Достоевского из романа в роман кочует образ богатого старика, соблазнившего невинную девушку.

Отразилась ли в этом его собственная история с Аполлинарией Сусловой?»

После перерыва – часовой семинар с аспирантами профессора Розенштока. Как всегда, иду на него с тяжелым чувством. Дело в том, что профессор Розеншток свято верит в Теорию прототипа. То есть в то, что за каждым персонажем в произведениях мировой литературы стоит реальный, когда-то живший человек. Все романы на самом деле – зашифрованные мемуары или хроники. И роль литературоведа – неустанно расшифровывать эту тайнопись, отыскивать эти прототипы среди современников писателя.

Путеводной нитью может служить сходство имен, приметы внешности, похожие повороты судьбы. Моя догадка-гипотеза о том, что в Анатоле Курагине Толстой изобразил Тургенева, привела профессора Розенштока в восторг. А если вы не верите в Теорию прототипа, вам лучше покинуть кафедру, на которой трудится создатель Теории. Но «покинуть кафедру» – такой роскоши я не могу себе позволить. Приходится тащиться на семинар.

В этот раз аспирантам поручено проанализировать «Собачье сердце» Булгакова. В своей лекции научный руководитель наметил для них главные направления поиска. Про-

фессор Преображенский – это, безусловно, Ленин. Почему? Потому что Ленин *преобразил* Россию. Его ассистент, доктор Борменталь, скорее всего Троцкий. Ведь настоящая фамилия Троцкого – Бронштейн. Пять букв совпадают, этого вполне довольно. Кто такой пес Шарик? Ну, это ясно: ведь псу были пересажены половые железы усопшего трактирного балалаечника Чугункина. Где чугун, там рядом и сталь. Ответ – Сталин.

Несколько сложнее с горничной – Зиной Буниной. Имя горничной намекает на то, что в ней изображен член Политбюро Григорий Евсеевич Зиновьев. Но как объяснить фамилию? А вот как: у писателя Бунина есть известный рассказ «Антоновские яблоки». Настоящая же фамилия Зиновьева – Апфельбаум, что по-немецки означает «яблоня». Вот вам и связь.

Аспирантам было предложено заняться второстепенными персонажами повести. Не обнаружится ли в образе кухарки Преображенского – Дарьи – какие-то черты Дзержинского? Ведь в именах обоих есть буквы Д и Р. Кот с голубым бантом, с которым подрался Шарик-Сталин, – кто стоит за ним? Ищите, ищите в газетах, журналах, мемуарах. Даже в пациентах профессора Преображенского наверняка изображены реальные лица. Нужно хорошенько проштудировать московскую периодику того времени, чтобы расшифровать их одного за другим.

Всё же два часа булгаковского семинара сделали свое де-

ло – приглушили сквозняк страха, отвлекли. Одержимость – она свойственна многим мужчинам. С этим надо смириться, принимать как данность. Профессор Розеншток одержим Теорией прототипа. Додик – математикой. Павел Пахомович – спасением вод, лесов и полей. Глеб – мною. Зябко, конечно, быть для кого-то идеей фикс, но нужно терпеть.

На кафедре я пришла расслабленной, почти беззаботной. Стала перебирать почту. Реклама, счета, призывы к доброте и щедрости, обещания здоровья, приглашения на конференции. А это что? Синий конверт без обратного адреса. Пальцы начали дрожать. Именно в таких конвертах он присылал мне записки в стихах. «У этой памятной скульптуры вас встреча ждет сегодня в шесть». И приложенная фотография какого-нибудь городского памятника. Я должна была проявить смекалку, угадать – разузнать – отыскать его местоположение. «Ах ты, моя недогадливая! Разве не видишь, что на заднем плане – перекресток и табличка с номерами улиц. Их вполне можно прочесть, я специально оставил эту подсказку для недоразвитых».

Но в этот раз – никаких скульптур. Просто улица, уставленная машинами счастливых, которые нашли местечко для стоянки. Боже мой! Да это же дом, в котором Марик и его шведка сняли квартиру. Совсем недавно... Как он узнал, выследил?! А вот и сам Марик в толпе, идет к своей машине.

Сердцу стало так больно, будто оно упало на ржавый гвоздь, будто свалилось в пасть крокодилу. Острые зубы со

всех сторон.

Что этот сумасшедший может выкинуть? Хорошо если просто замажет замки в дверцах автомобиля. А если...

Телефон Марика не отвечал.

Пока бежала к метро, вспомнила, наверное, все автомобильные аварии, виденные в кинохронике. Сплюсненные капоты, обгоревшие остовы, вырванные моторы... И дела-то всего – проколоть трубку с тормозной жидкостью. Кап, кап, кап... И вот уже машина несется под уклон, и нога отчаянно бьет по педали тормоза, и та утопает легко, не сопротивляясь...

Слава богу! – они уже были дома. Когда ворвалась в квартиру, накинулась на Марика, как вампир, как влюбленная ведьма. Перепуганная Кристина застыла с соленым огурчиком на вилке. Марик тоже не мог понять, откуда – за что – ему такие нежности, и слезы, и поцелуи. Бедный мой, бедный – чего только не довелось ему уже хлебнуть за пятнадцать лет на чужбине! Лицо затвердело, губы истончились, поперек молодого лба – морщина забот. Это я – я лишила его нормального детства, отняла бабушку с дедушкой, родную страну, родной язык. Нет мне прощенья – это ясно. Но как хорошо хоть подержать его иногда в руках – живого и невредимого.

Наш сын начал уплывать от нас уже в школьные американские годы. Не в какое-то сказочное – лучшее – королевство, а именно и только бы – прочь *от нас*. В двенадцать лет

он полностью перешел на английский. Додик пытался купить его деньгами: платил десять долларов за каждую прочитанную русскую книгу. Марик поддавался зову золотого тельца, укладывался с томиком Горького на диван, но поминутно окликал нас: «Что такое *сызмала?*.. *А невдомек?*.. *Головотяп?*.. *Умаялся?*.. *Давеча?*.. *Рюха?*.. *Пазуха?*.. *Пагуба?*..»

Если мы в разговоре просили его перейти на русский, он отвечал: «Мой русский годится только для пустяков. Хотите говорить про погоду и отметки? Пожалуйста. Но тогда о важном и серьезном забудьте».

Если все же уступал нашим просьбам, возникали моменты, когда мы не могли понять его, вынуждены были переспрашивать. Граница между двумя языками таяла, английские идиомы прорывались в русские фразы в диковинно преображенном виде. «Положи свои деньги туда, где твой рот», – кричал нам наш сын. «Не бейся вокруг куста». «Я умер на своих ногах». «Твоя догадка не хуже моей».

Мы поддавались, пятились, отступали. Моя мать корила меня в письмах и по телефону, возвращала поздравительные открытки внука, усыпанные красными исправлениями – двадцать ошибок в пяти строчках. Да, она согласилась на нашу эмиграцию из страны. Но из ее книжного царства?! Это было уже слишком.

Потом начались мучения с выбором колледжа. Марик мог бы бесплатно учиться в том институте, где преподавал Додик, льгота для штатных преподавателей. Но он и слышать

не хотел о том, чтобы оставаться под нашим крылом. Вырваться! Дохнуть воздуха свободы! Выбрал городок в трех часах езды на север и уверял нас, что именно там обитают – преподают – лучшие светила в области изменений климата. Да, его интересуют ветры, дожди, ледники, смерчи, молнии, штормы. Он станет главным специалистом погодных предсказаний и вовремя предупредит нас о новом потопе, чтобы мы успели построить себе Ноев ковчег.

В колледже он отказался жить в общежитии, но в складчину с приятелями арендовал полуразвалившийся дом. Спальни в нем были на втором этаже, они выходили дверьми на галерею, шедшую вокруг большого центрального зала. Крыша над залом давала возможность мгновенно узнавать об изменениях погоды над городком. Ночью через нее можно было любоваться звездами и пролетающими самолетами. Свет луны помогал обитателям обходить дыры в полу галереи. Свет в доме часто отключали за неуплату счетов.

Мы старались помогать нашему сыну входить в самостоятельную жизнь. Это было непросто. Наши советы отвергались с порога. Наша моральная поддержка объявлялась попыткой вторжения в личную жизнь. «Да-да, вы настоящие взломщики! Все эти свои моральные догмы вы используете, как отмычку, как топор, чтобы вломиться в кабинку моей независимости!» Деньги принимались, но при условии полной безотчетности. «На что потратил? Не ваше дело».

Додик придумал хитрый ход: вместо денег стал посылать

ящики с продуктами. Макароны, рис, банки с горошком, с сардинами, с компотом, пакеты с сухим супом – залей кипятком и ешь. На почте на него смотрели с подозрением. «Что вы посылаете? Продукты? Неужели в тех краях наступил голод? Нет? Нормальный супермаркет, все есть на полках? Тогда почему не послать просто чек?» Марик раздражался на наши посылки. Но его приятели-студенты потом сознавались с благодарностью, что не раз им пришлось бы идти спать голодными, если бы не Додиковы ящики.

Учился Марик жадно, с азартом. Когда приезжал на каникулы, главной темой разговоров становилась именно погода. Дожди, ураганы, молнии, град, снежные штормы, раскаты грома перестали быть для него просто опасными капризами скандалистки-природы. Они превращались для него в чьи-то невнятные и грозные послания, в свистящую и грохочущую речь, которую ему предстояло расшифровать. У него открылась необычайная чувствительность к переменам атмосферного давления. Приближение бури он ощущал заранее, как птица или пчела. «Упало на две десятых дюйма», – говорил он, качая головой. Додик бежал к барометру проверить – почти всегда совпадало.

Особенно Марика увлекали – поражали – зачаровывали – смерчи. Эти черные чудовища, которые могли спрыгнуть на землю в любой момент и начать крутить-крушить все на своем пути, жили в его воображении воскресшими динозаврами, драконами из сказки, экранными Годзиллами. А смель-

чаки, которые пытались приблизиться к ним и отыскать разгадку их рождения и смерти, представлялись смелыми рыцарями, кидавшимися в неравную схватку. Он хотел стать одним из них.

Их профессор метеорологии летом устраивал экспедиции для охоты за штормами и смерчами, нанимал по дешевке своих студентов и растягивал их в цепочку наблюдательных пунктов поперек главной тропы атмосферных хищников. Техас, Оклахома, Арканзас, Канзас страдали сильнее других. Не проходило года без того, чтобы несколько городков в этих штатах и десятки ферм не были сметены, раздавлены, разбросаны обломками по окрестным полям.

Я помирала от страха каждый раз, когда по телевизору показывали очередное нападение, кидалась к телефону. Но конечно, именно в такие моменты Марика не было – и не могло быть – в мотеле. Ибо при первых же признаках непогоды они с напарником кидались к арендованному автомобилю и мчались наперехват. Увидеть своими глазами, подъехать поближе, заснять на пленку, замерить скорость ветра – это была их охота, их страсть. И как они гордились, если это удавалось!

На мои мольбы и уговоры Марик только отмахивался.

– Пойми, – говорил он, – на сегодняшний день смерч – это террорист номер один. От него – от них – гибнут каждый год десятки, если не сотни людей. В тысяча девятьсот семьдесят четвертом за два апрельских дня – триста погибших, шесть тысяч раненых. В мае восемьдесят пятого за один день



– сто убитых, тысяча раненых, три тысячи разрушенных домов. Ураган виден со спутника, о его приближении нас извещают за два-три дня. Смерч нападает внезапно, его приходится ловить – изучать – на земле. Пока мы не поймем природу его возникновения, мы не сможем вовремя предупредить людей.

Он объяснял нам – недоумкам – новейшие теории. Мелькали слова: радар Допплера, шкала Фуджиты, пыльный дьявол, индюшачьи башни. Град следовало различать по размерам: горошина, пенни, четвертак, гольфовый мячик, теннисный, бейсбольный и самый крупный – град-убийца – грейпфрут. У молний тоже были свои имена: шар, цепочка, синяя струя, ветка, паук, вилка, лента, стаккато.

– А знаете, как фотографируют молнии? Это ведь такой непредсказуемый персонаж – никакой фотографический гений не успеет навести камеру и нажать на спуск. Поэтому камеру устанавливают неподвижно и затвор открывают заранее. Объектив смотрит в ночь. Ливень приближается, слышен гром. Секрет в том, чтобы открыться природе и терпеливо ждать. Молния сама осветит и пейзаж, и себя в нем, над ним. Она попадет на пленку, как рыба в расставленную сеть. Или как небесный гость, которого надо ждать с открытой дверью.

Но у меня перед глазами плыли только картины разрушений. Моторная лодка, пробившая крышу дома. Водосточная труба, обмотавшаяся вокруг дерева с содранной ветром ко-

рой. Алюминиевые полотнища лопнувших зернохранилищ. И ошеломленные, измазанные грязью и кровью люди, бродящие среди развалин, подбирающие то разбитую лампу, то альбом с фотографиями, то раздавленную куклу. А Марик был где-то совсем-совсем рядом, мчался навстречу этим чудовищам. Хуже, чем война, бомбежки, артобстрел. Его летние каникулы оборачивались для меня мучительной бессонницей.

Он мечтал сделать какое-нибудь – хоть маленькое – открытие. Однажды выскочил полуголый из ванной, стал звать нас. «Смотрите, смотрите! Да не сюда – на слив. Видите, как вода уходит и образует вращающуюся воронку. Она так похожа на маленький смерч! Если в верхних слоях атмосферы скопится тяжелый от влаги воздух, он может как бы пробить нижние слои и устремиться к земле со страшной силой, вот так же вращаясь. Эх, построить бы модель, провести испытания!»

Вращение и устойчивость – как они связаны? Почему Земля вращается, а Луна – нет? Купил большую детскую юлу и подолгу смотрел, как она делает свои пируэты на полу. Потом вдруг увлекся автомоделями. Ему хотелось построить тяжелую и плоскую, как камбала. Чтобы она умела вползти в середину смерча и по радиокоманде вцепиться в землю специальными винтами. Так, чтобы никакой ветер не смог оторвать ее и унести. Тогда бы измерительные датчики на ее спине могли сделать нужные замеры в самой утробе чудови-

ща.

И вдруг все оборвалось. Как всегда, несчастье ударило не там и не тогда, где и когда его ждали и боялись. Опасные летние каникулы уже кончились, Марик вернулся в колледж, занятия возобновились. В теплое осеннее воскресенье поехал с подружкой Глорией на озеро искупаться. Легкий дождь подкрался неспешно, вежливо погромыхая издали. Подружка не хотела портить прическу, убежала в автомобиль. Марик весело плескался под дождем, нырял, распевал, звал ее обратно. Потом он рассказывал полицейским, что самой молнии не видел, только слышал удар грома над головой. Видимо, она полыхнула, когда он был под водой. Вынырнул, поплыл к берегу. Собрал валявшуюся одежду, помчался к автомобилю.

Глория сидела как-то странно выгнувшись, с оскалом улыбки на лице. Он подумал, что у нее случилась судорога. Или даже эпилептический припадок. Схватил ручку двери, но тут же отдернул обожженные пальцы. Только тогда заметил, что краска оплавилась в нескольких местах. Он обернул руку рубашкой, открыл дверцу. Девушка выпала из машины, как застывший манекен...

Вскрытие подтвердило: убита молнией. Марик во всем винил себя. Ведь он знал, знал, что в грозу не следует оставлять машину на возвышении! На несколько недель он впал в какую-то омертвелость. Забросил занятия, не отвечал на письма, на звонки. Психиатр, осмотревший его, посоветовал от-

дых. Мы приехали, чтобы забрать его домой. Он подчинился безвольно, равнодушно. В машине несколько раз повторил:

– Я знаю, знаю... Это они в меня метили... В следующий раз, наверное, не промахнутся.

Приходил в себя месяца два. Разузнал, что существует общество людей, переживших удар молнии. Стал ходить на их собрания, читать их ежемесячный листок. Видимо, событие это оставляет в человеке такой глубокий след, что они могут делиться своими переживаниями только друг с другом. Остальные не поймут. У них есть свои герои. Один егерь в Калифорнийском парке был задет молнией шесть раз за свою жизнь. Потерял два пальца на ноге и получил сильный ожог на спине, который потребовал пересадки кожи. Другой пока еще не был задет, но прославился фотоохотой за молниями. Это он придумал технику ловли с открытым затвором. Его альбомы бережно хранит каждый член общества. Марик показывал на собрании свои снимки штормов и смерчей, они тоже произвели сильное впечатление.

В конце второго месяца сын ошарашил нас: с метеорологией покончено, он поступает в семинарию. Хочет стать священником. Ясно, что одними приборами небесные тайны не разгадать. Ему нужно испробовать другие пути, иные подходы. Легенда о Вавилонской башне не на пустом месте родилась. В Евангелии от Луки приход на Землю Сына Человеческого, то есть Мессии, обещан в виде молнии от края неба до края. В Откровении Иоанна громы и молнии исходят от

престола Всевышнего на небесах. Там же град величиною с большую монету низвергается на землю. Несколько недель он обхаживал эту идею – потом остыл, увял, снова понурился, затосковал.

Все же он закончил колледж, получил диплом. Но прежнего страстного увлечения не осталось. Никакие уговоры профессора продолжить охоту за смерчами – «ведь ты живой барометр! Такой дар пропадает!» – не помогли. В глубине души я тихо радовалась этому. Хотя порой было тяжело смотреть на потухшее, задумчивое лицо моего мальчика. Он устроился на работу в бюро погоды, аккуратно, два раза в день запускал гелиевые шары с радиозондом, переводил небесные тайны на язык цифр: скорость ветра, температура, влажность. Послушать прогноз погоды на нашем семейном языке называлось «послушать Марика». «Парит в облаках», – говорил про него Додик, разводя руками. И было непонятно – одобряет он, недоумеваает, сожалеет?

Марик и Кристина смотрели на меня оторопело, ждали ответа на невысказанный вопрос. Я начала плести какую-то чушь про телевизионные новости, да-да, показали большую аварию на 87-й дороге, мне вдруг взбрендило, что и ты мог там оказаться, – чушь, конечно, материнская истерика – не обращай внимания. Но вообще-то, как у тебя автомобиль? Не подводит? Тормоза в порядке? Когда был последний техосмотр?

– Два месяца назад. Ничего, бегаёт нормально. Хотя уже семьдесят тысяч на одометре.

– Все же покажи завтра механику. Очень прошу. Я заплачу, пусть осмотрит как следует.

– К механику не поеду, нечего зря деньги выбрасывать. А вот в автомойку придется. Какая-то сволочь вчера подложила под заднее колесо пластиковую банку с машинным маслом. Такая черная, в форме плоской фляжки. Конечно, я не заметил. Начал выезжать – хлоп! Лопнула, весь бампер забрызгала. И машину соседа, белую «хонду». Крику было! А что с такими сволочами поделаешь? Проглотить и умыться – только и остается.

Я почувствовала, что снова проваливаюсь в яму страха. Будто все смерчи, и штормы, и молнии снова начали сгущаться над головой моего сына. С одной лишь разницей: в этот раз я сама наслала их на него. Накликала.

## 11. АРЕСТ

– Знаешь, что тебе нужно? – сказал Павел Пахомович. –

Телефонная исповедь.

– Это еще что такое?

– Год назад я встретился с одной женщиной. Русская, приехала тогда же, когда и я. Созналась, что получила работу в странной телефонной фирме. За небольшую плату каждый человек может позвонить им и излить душу. Первая минута – три доллара, следующие – по сорок пять центов.

– Неужели звонят?

– Не знаю, верить ей или нет. Сказала, что до десяти тысяч звонков в день. Им нужен был оператор с русским языком. И с приятным голосом. Ей повезло, у нее было и то и другое. Поначалу она уставала от всех этих признаний, потом привыкла.

– А в чем сознаются?

– Чаще всего – твой случай. Супружеская измена. С соседом, с другом мужа, с сослуживцем. На шринка<sup>1</sup> не у всякого хватит денег, а людям нужно покаяться вслух, очистить душу – но так, чтобы не было никаких последствий. Оператору нет нужды утешать или расспрашивать. Только ронять замечания, показывать интерес и готовность все простить. Тем

---

<sup>1</sup> Shrink (англ., разг.) – психоаналитик.

более что звонящий часто обращается даже не к тому, кто на другом конце провода. «Папа, мама, я понял, что я гомосексуалист. И это навсегда. Пожалуйста, не сердитесь». «Роберт, Роберт, в прошлом году я была беременна и сделала аборт. Простишь ли ты меня? Но я и до сих пор совсем-совсем не готова к материнству!»

– Для таких вещей мне телефон не нужен. Мне повезло – у меня есть вы. Моя любимая подруга.

– Сознаются и в криминальных делах. Одна женщина со слезами рассказала, что заснула за рулем, выехала на левую полосу. Встречная машина пыталась объехать ее и разбилась о дерево. Шоссе было пустынным, женщина проснулась и удрала. Так и не знает, погиб водитель или выжил.

– Но ведь о таких вещах нужно сообщать полиции?

– Ни в коем случае. Фирма гарантирует тайну и анонимность. Еще она рассказала, что не обязательно звонят, чтобы каяться. Бывает и хвастовство, которое некому излить. Один позвонил сообщить, что это он – он! – обокрал свою фирму на десять миллионов. Никто до сих пор этих денег не нашел, а он живет припеваючи на Бермудах и необычайно доволен собой и жизнью.

У Павла Пахомовича новое увлечение – он каждый день смотрит по телевизору программы «Из зала суда». Говорит, что устал от голливудского варева, потому что там все предсказуемо. А в истории многих преступлений ты и вообразить не можешь, как все повернется, что люди способны проде-



лывать друг с другом и из-за чего.

Поначалу я пугалась этих историй, отмахивалась. Но теперь слушаю как замороженная. Все примеряю на себя. Вернее – на Глеба. Вот на такое – способен он? А на такое? Если смотрю передачу сама, разыскиваемым преступникам невольно подставляю его лицо.

Павел Пахомович потом записывает содержание передач, сортирует преступления по мотивам-причинам. Деньги, конечно, на первом месте. Потом секс. Насильники всех сортов, извращенцы, педофилы. Запомнилась одна история, случившаяся лет десять назад на Западном побережье. Молодая супружеская пара подобрала на шоссе девушку-подростка. Жена держала на руках младенца, поэтому девушка села в автомобиль без опаски. И напрасно. Парочка оказалась лихая – завезла ее в свой дом, заперла в подвале, и для нее началась жизнь рабыни-наложницы.

Это длилось несколько лет. С ведома, а порой и при участии жены муж насиловал девушку, издевался, подвешивал, обнаженную, к потолку подвала и стегал ремнем. Добился такого подчинения, что в какой-то момент разрешил ей позвонить домой родителям, умиравшим от беспокойства. Она заверила домашних, что с ней все в порядке, что она устроилась на работу, требующую частых разъездов, поэтому у нее нет постоянного адреса и телефона. Но обещала звонить и писать. Видимо, для мужа главным стимулом-наслаждением было даже не сладострастие, а именно порабощение. Через

год он так уверился в покорности своей жертвы, что разрешил ей навестить родной дом. Сам привез на автомобиле и оставил там на день, уехав по делам. Девушка представила его как своего жениха. Сохранились фотографии этого визита: парочка стоит обнявшись, в кругу родственников, улыбается в объектив. Оставшись в родном доме без своего господина, девушка ни словом, ни знаком не дала близким знать о том, что с ней происходит. Все хорошо, все чудно, все впереди!

А впереди было вот что: по возвращении муж купил двуспальную водяную кровать и устроил под ней большой ящик. Девушку поместили в этот ящик и выпускали только два-три раза в день. Так она и прожила в этом ящике еще два года. Потом ее начали выпускать для всяких домашних работ, для ухода за огородом и садом. Видимо, муж преувеличил меру покорности своей рабыни, потому что девушка наконец сбегала. Вернулась к нормальной жизни, но никому не рассказывала о своей эпопее.

Потом все же история раскрылась. Жена сделалась очень религиозной, призналась священнику в давнишнем грехе. Священник нарушил тайну исповеди, сообщил полиции. Новоявленных рабовладельцев привлекли к суду по обвинению в похищении и многочисленных изнасилованиях. Но их защитник уверенно доказывал, что все происходило по взаимному согласию. Иначе как вы можете объяснить визит к родным, когда девушка была оставлена без присмотра на це-

лый день? Он показывал присяжным фотографии с обнимающейся парочкой, веселые лица родни кругом. Те растерялись, раскололись и не смогли вынести единодушный обвинительный приговор.

Конечно, с особенным интересом я вслушивалась в истории трагических разрывов. Похоже было, что большинство мужчин не могли смириться с тем, что женщина решила выйти из-под их власти. Они либо нанимали убийц, либо сами пытались осуществить «возмездие». Часто делали это крайне неумело, легко попадались. Один, например, застрелил бывшую жену и закопал труп в саду. Каким-то образом это открылось, его потащили в суд. Обвиняемый стал уверять, что жена застрелилась сама, а он ее закопал, испугавшись, что его обвинят в убийстве.

– Ах вот оно что, – ядовито сказал прокурор. – А как же вы объясните тот факт, что в черепе убитой было обнаружено два пулевых отверстия? Покойной не понравился первый выстрел и она решила добить себя вторым?

Другой разведенец решил прикончить «изменницу» автомобилем. Адвокат на суде доказывал, что его подзащитный действовал под влиянием эмоционального порыва, что это скорее несчастный случай и уж ни в коем случае не преднамеренное убийство.

– Непреднамеренно можно переехать жену один раз – тут мой коллега абсолютно прав, – возразил прокурор. – Но врубить задний ход и переехать лежащую еще раз, а потом – для

верности – повторить всю операцию сначала – это уж, извините, мало похоже на несчастный случай.

В моем институте в те дни тоже мелькали стражи порядка. Один наш студент-третьекурсник, Слава Бакишвили, замешался в уличную драку, окончившуюся увечьями. Как водится, началось с ссоры из-за девицы. Полиция пыталась выяснить обстоятельства: кто, где, когда, кого – видел, знал, ревновал, запугивал? Приходил адвокат Славы, спрашивал меня, соглашусь ли я подтвердить на суде, что Слава мальчик добрый и воспитанный, что кто-то должен был вывести его из себя, спровоцировать, чтобы он пустил в ход кулаки. Я согласилась. И поэтому не удивилась и не испугалась, когда посреди дня раздался телефонный звонок на кафедре и сержант-детектив-офисэр Крескил попросил меня – очень вежливо, с тысячью извинений – зайти к ним в отделение и ответить на несколько вопросов.

Полицейское отделение легко было заметить издалека – вокруг него толпились машины с красными фонарями на крыше. Вот так они всегда: нас штрафуют за малейшее нарушение правил парковки, а сами бросают свои автомобили как попало, перегородив половину проезжей части. В том же здании размещался местный суд и небольшая тюрьма. А через улицу – контора бондсмена. Так все удобно: судья рассматривает улики против арестованного, назначает дату разбора дела и сумму залога. У вас нет десяти тысяч? Перейди-

те через улицу и займите у бондсмена. Не хотите платить такие зверские проценты? Тогда и на улицу выходить не надо – будете ждать суда в камере.

Уже во время телефонного разговора я догадалась по выговору, что детектив-офисэр Крескил принадлежит к угнетенному меньшинству. Под светом лампы кожа на его черепе переливалась всеми оттенками густо-фиолетового. Не отражает ли их мода на бритые головы вечный порыв к равенству? В данном случае – к равенству облысевших с волосатыми? Похоже, что лысина – такое же горькое переживание для мужчин, как ожирение – для женщин. Иначе экраны телевизоров не были бы залиты рекламой новейших средств против облысения.

Детектив Крескил привстал, не выходя из-за стола, пожал мне руку. Но не улыбнулся. Вглядывался в меня пытливо и, как мне показалось, сочувственно.

– Не знаю, чем я смогу помочь вам, – сказала я, – Кажется, я рассказала про Славу все, что могла. Он хороший мальчик и в драку замешался случайно.

– Речь у нас пойдет не о нем, – сказал детектив. – Тем делом занимаются наши специалисты по уличным бандам. Мое отделение расследует убийства.

Глаза его катались в глазницах, как черные оливки в масле. Он был в штатском, щеголеватый галстук с красными переливами туго прижимал воротник рубашки к мощной шее.

– О, убийства, – сказала я. – Да, это посерьезнее. И какая

роль отведена мне в вашем расследовании? Свидетельница? Сообщница? Подозреваемая?

– Первое – нет, второе – нет, третье – тоже нет.

– Тогда кто же я?

– Жертва, – сказал он. И опять без улыбки. – Вернее, предполагаемая, намеченная жертва.

Я видела, что он был абсолютно серьезен. Моя ирония тоже куда-то улетучилась.

– Я вас слушаю.

– В нашем ремесле нам приходится очень четко разделять две вещи: информацию о совершенном или готовящемся преступлении и улики. Вы понимаете разницу?

– Думаю, что да.

– Так вот, улик у нас на сегодняшний день никаких. Только информация. О том, что некто готовит покушение на вас. Оплаченное убийство.

Почему я не воскликнула «какой вздор»? Или – «этого не может быть»? Почему первым делом подумала: «Неужели Глеб и на такое способен?»

– Могу я спросить, откуда вы получили такую информацию?

– У нас не принято раскрывать наши источники. Позднее я уточню кое-какие детали. Но сначала я хотел бы задать несколько вопросов о вашей семье. Понимаю, что это может показаться вам вторжением в личную жизнь, и спешу заверить, что отвечать вы не обязаны.

– Я постараюсь. Что бы вы хотели знать?

– Вы приехали в Америку вместе с мужем и сыном пятнадцать лет назад. А давно вы замужем?

– Скоро будет двадцать пять лет. Серебряная свадьба не за горами.

– Ваш муж, профессор Армавиров, преподает математику в пригородном колледже.

– Да, это так.

– Как бы вы охарактеризовали ваши отношения с ним?

– Что вы имеете в виду?

– У вас случаются ссоры, скандалы? Семейные раздоры?

– Не больше, чем у других.

– Рукоприкладство?

– Никогда в жизни.

– Случаи супружеской неверности?

– Знаете, это уже слишком. Тут я должна провести черту.

Не могли бы все-таки уточнить, какого сорта информацию вы получили? Должна же я знать, что мне грозит.

– Конечно, конечно.

Крескил открыл папку, лежавшую на его столе. Перебрал сложенные в ней листки. Вынул один, пробежал его, катая свои оливки слева направо.

– Два дня назад наш информатор подслушал разговор за соседним столиком в кафе «Венди». Двое мужчин что-то обсуждали. Они говорили по-русски. Приглушенными голосами, но все же недостаточно тихо. Видимо, не думали, что

кто-то из посетителей знает их язык. Информатор понял по обрывкам фраз, что они планируют убийство какой-то женщины. Якобы при попытке ограбления. Он расслышал сленговое слово «прэ...», «прышть...».

– Да, «пришить». Означает «убить».

– В конце разговора один мужчина передал другому плотный коричневый конверт. Потом вышел из ресторанчика. Сел в машину, припаркованную рядом с окном. Информатор запомнил номер и сообщил его нам. По номеру мы легко обнаружили владельца.

– Вы арестовали его?

– На каком основании? Пока у нас есть только информация. Как я объяснял, нужны улики.

– Но почему вы решили, что намеченная жертва – я? Информатор расслышал мое имя?

– Нет, имя не было названо.

– Тогда почему же?..

– Потому что автомобиль, замеченный информатором, принадлежит вашему мужу.

Поверила ли я? Не помню. Помню только, что мысли заметались в голове, как мухи, – одна чернее другой.

«А что?.., что тут невозможного?.. Узнал про Глеба и решил избавиться... Кавказская месть... Два письма я перехватила – ну и что? Могли ведь быть и другие, посланные в колледж... И неизвестно, что в них... Постельные подробности, смонтированные фотографии... Глеб знает, как при-



вести в ярость... А убийство, говорят, стоит теперь не очень дорого... Плюс получит страховку...»

– Это абсолютно невозможно, – сказала я вслух. – Не верю. Произошла явная ошибка.

– Не исключено. Но мы посоветовались и сошлись на том, что рисковать не имеем права. Решили на время задержать вашего мужа. Под вымышленным предлогом, конечно.

– Как «задержать»? Где он сейчас?

– В этом здании. Нет-нет, не в камере. В комнате для допросов свидетелей.

– Вы с ума сошли! Немедленно отпустите его!

– Чтобы он вышел и довел задуманное дело до конца?

– Нет никакого «задуманного дела». Все это фантазии, детективный роман, недоразумение...

– Вы не хотите, чтобы мы допросили его? Потребовали назвать того человека, с которым он встречался в кафе, кому передал пакет – скорее всего с деньгами?..

– Не хочу.

– А не могли бы вы на время уехать куда-нибудь? Мы бы установили скрытое наблюдение за вашим мужем. Возможно, он захочет снова встретиться с тем человеком. Мы бы засняли встречу на пленку. Это была бы важная улика для суда.

– Какого суда? Вы уже мысленно посадили его на скамью подсудимых?

– Поверьте, я понимаю, в каком вы сейчас состоянии.

Невозможно поверить, что близкий вам человек способен на такое. Но знали бы вы, сколько мы видели семейных раздоров, закончившихся убийством или хотя бы покушением. Причем совершенно непредсказуемым. Родственники и друзья только ахают и разводят руками. Вот помню, один отец семейства...

– Нет, довольно с меня этих примеров.

– Поймите, в сложившейся ситуации мы несем ответственность за вашу жизнь.

«Если все это правда, – хотела сказать я, – моя жизнь все равно кончена». Но промолчала.

– А хотите взглянуть на него?

Крескил, не дожидаясь моего ответа, включил телевизор. На экране возникла комната с голыми стенами. Стол, лампа, два стула. Додик сидел на одном из них, закинув ногу за ногу, что-то помечал в записной книжке. Видимо, обкатывал какую-нибудь формулу-теорему. Я заметила, что его ботинки были без шнурков. Не было также ни галстука, ни ремня. Да, кажется, таковы полицейские правила. Чтобы задержанный не повесился.

Мужчина без ремня – как унизительно. Если встанет, ему придется держать штаны руками. Хорошо еще, что не раздели догола. Все же нешуточное подозрение.

Почему-то вспомнила Бунина. Как ему – нобелевскому лауреату – пришлось раздеваться перед немецкими полицейскими при проезде через Германию. Кажется, его обыскива-

ли на глазах у жены. Когда я писала Буниным? Лет пять назад? А Додик... Вот уж действительно, от тюрьмы и от сумы не зарекайся.

– Отпустите его. Пожалуйста, – тихо сказала я.

– Ну хорошо. Я продержу его еще час после вашего ухода. Ждите его дома. Получится простой, но важный тест. Если, придя домой, он расскажет вам о задержании, это будет важным свидетельством его невиновности. Но если промолчит, утаит... Вот вам моя карточка с номером мобильного. Если заметите что-то подозрительное, звоните в любое время дня и ночи.

Автобус тащился как-то особенно долго, нехотя переползал из одной пробки в другую.

Оставленное открытым окно напустило в дом сырого холода. Я прикрыла его, задернула штору, добавила температуру в отоплении.

Поставила чайник на плиту, пошла в ванную – прополоскать сдавленное горло.

Уселась в кресло с чашкой в руках, закуталась пледом.

Чтобы заполнить тоскливое время ожидания, взяла перечитать свое давнее письмо Буниным.

# ПИШУ БУНИНУ И ДРУГИМ ОБИТАТЕЛЯМ ЕГО ГРАССКОГО ПРИСТАНИЩА

Дорогие соотечественники из страны Эмиграция!

За годы вашей совместной жизни в Грасских горах вы, все трое, исписали тысячи страниц. Половина этих страниц – если не больше – записи дневникового характера. Видимо, все трое считали важным оставить потомству – хотя все трое остались бездетными – память о своей жизни. Дневник – это младший брат летописи, и на нем всегда лежит если не религиозный, то какой-то мистический отблеск. Запечатлеть бег времени, отвести поток уплывающих дней в навеки неподвижные строчки – миллионы людей находили в этом занятии источник утешения, примирения с горестями жизни, душевного очищения.

Однако дневник – не исповедь. Мы не вправе требовать и ждать от него такого же полного самообнажения, каким окрашены исповеди Блаженного Августина, агностика Руссо, еретика Толстого. И Вы, Иван Алексеевич, и Вы, Вера Николаевна, и Вы, Галина Николаевна, должны были писать с оглядкой на нравы своего времени, на принятый этикет своего круга, на требования приличия, такта, деликатности.

Я все это понимаю, но смириться с этим не могу. Волею судеб, сами о том не думая, вы, своим тройным союзом, породили – оживили – для меня библейскую легенду об Иакове и его двух женах – Лии и Рахили. И есть причины, по которым эта сторона вашей жизни вызывает во мне – нет, не эротическое любопытство, не зуд припасть к замочной скважине, – но смутное ощущение родства, сопричастности, полного и приемлющего сопереживания. Я так хотела бы узнать, *как это было на самом деле*, а главное – чего это вам стоило, какой душевной болью приходилось платить.

Что мы знаем о вашем союзе? Обрывки, фрагменты, намеки... Фраза из чьего-то письма, расплывчатая сплетня в чьих-то мемуарах. Знаем, что в 1926 году, живя во Франции, в эмиграции, вместе со своей женой Верой Николаевной, Иван Алексеевич Бунин встретил Галину Николаевну Кузнецову, по мужу Петрову, которая была на тридцать лет моложе его. Он влюбился в нее, она ответила ему страстной любовью, ушла от мужа. Запылал роман. Кроме общей страсти к литературе их связывала еще и интимная любовь к произведениям одного, особенно близкого обоим, русского писателя – Ивана Бунина. Кажется, за всю жизнь у Ивана Алексеевича не было более тонкого ценителя и поклонника, чем Галина Кузнецова.

Что оставалось делать?

По представлениям и правилам того времени (они не изменились и в наши дни) ответ был простой: либо свеча люб-

ви, либо долг доброты, либо гордое сознание собственной порядочности должны были быть принесены в жертву. Миллионы мужчин до и после Бунина в такой ситуации бросали своих жен и женились на новых возлюбленных. Тысячи и тысячи прятались в туман-обман адюльтера. Считанные единицы подчинялись требованиям долга и оставались верны брачной клятве. Но и в том, и в другом, и в третьем случае кто-то был обречен на горе, боль, стыд, ложь, страх, страдание, одиночество.

Вы посмели восстать против этого безнадежного «или-или». Вера Николаевна была верной и преданной подругой своему мужу в течение двадцати лет – и каких океанных лет! Как он мог бросить ее одну, оставшуюся без родных, в океан нищеты и неустройства эмигрантского прозябания? С другой стороны, как мог мужчина на шестом десятке лет отказаться от такого дара судьбы – любви молодой, прелестной, талантливой женщины?

Вы попытались прорвать порочный круг. «Можно достичь Индии, плывя на Запад», – догадался Колумб и отправился на поиски неведомого. Как вы плыли, в какие штормы попадал ваш грасский кораблик, какие спруты и кашалоты выпрыгивали на вас из морской глубины – вот что мне хотелось бы разглядеть на мерцающей, полустертой киноленте ваших жизней. Но чтобы расслышать ваши голоса, чтобы что-то понять в потаенных переboях сердца, я должна буду отбросить деликатность, почтительность, уважение к личным тайнам.

Я собираюсь устроить вам настоящий перекрестный допрос. И начать хочу с Веры Николаевны Буниной. Ибо в начале ей досталась самая тяжелая, самая болезненная, самая уязвимая роль.

Дорогая Вера Николаевна!

Каждая женщина страшится этого удара – узнать, что у мужа появилась «другая». Как это произошло у Вас? Вы догадались о происходящем сами? Донесли «добрые» друзья? Иван Алексеевич пришел и объявил в открытую? И попросил разрешения принять новую любовь под Ваш кров?

Опубликованные отрывки из Ваших дневников только чуть-чуть приподнимают завесу. У меня нет возможности поехать в Англию и прочесть их полный текст, хранящийся в рукописном отделе библиотеки Университета города Лидс. Мне остается лишь поверить рассказу другой парижской эмигрантки, поэтессы Ирины Одоевцевой, сохранившемуся среди ее писем:

«Уехав из отеля, в котором Галина жила с мужем, она поселилась в небольшом отеле на улице Пасси, где ее ежедневно, а иногда и два раза в день навещал Бунин, живший совсем близко.

Конечно, ни ее разрыва с мужем, ни их встреч скрыть не удалось. Их роман получил широкую огласку. Вера Николаевна не скрывала своего горя и всем о нем рассказывала и

жаловалась: „Ян сошел с ума на старости лет. Я не знаю, что делать!“ Даже у портнихи и у парикмахера она, не считаясь с тем, что ее слышат посторонние, говорила об измене Бунина и о своем отчаянии. Это положение длилось довольно долго – почти год, если я не ошибаюсь».

Что из этого правда? Одоевцева – свидетель, как правило, доброжелательный, но Вы не были с ней близки и вряд ли делились своими переживаниями. Я не могу поверить ей, когда она пишет, что Вы приняли объяснения Ивана Алексеевича, уверявшего, что между ним и Галиной – только отношения учителя и ученицы. Особенно после того, как Галина Кузнецова поселилась в вашей вилле в Грассе. Разве можно что-нибудь скрыть, когда трое живут под одной крышей? Да и горестные ноты в Вашем дневнике показывают, что Вы не были слепы и наивны.

Апрель, 1927 год (первый год жизни втроем):

«Хочется, чтобы конец жизни шел под знаком Добра и Веры. А мне душевно сейчас трудно, как никогда. И я теряюсь и не знаю, как быть. Вот когда нужны бывают старцы. По христианству, надо смириться, принять, а это трудно, выше сил».

Месяц спустя:

«Перепечатала сейчас всю эту тетрадку и что же – ничего, собственно, с прошлого августа не изменилось для меня в хорошую сторону. А пережито за этот год столько, сколько за десять лет не переживала. По существу, может быть, история



очень простая, но по форме невыносимая зачастую».

Прекрасно понимал Ваши чувства и Александр Бахрах, с которым у Вас завязалась дружеская переписка. Позднее, в своих записках, озаглавленных «Бунин в халате», он писал:

«„Удочерение" ... сравнительно немолодой женщины, скажем, далеко не подростка и ее внедрение в бунинскую [парижскую] квартиренку было, конечно, тяжелым ударом по самолюбию Веры Николаевны, по ее психике. Ей надо было со всем порвать или все принять – другого выхода у нее не было. Но не было достаточно сил и упорства, чтобы не допустить того, что ее глубоко ранило».

И снова – из Вашего дневника год спустя:

«Ночь. Опять не спится. Третий час... Равнодушие Яна убивает меня, а в претензии на него быть нельзя, он сейчас сам в смятении».

Еще год спустя заехавший друг поучал:

« – Когда вам будет очень плохо или тяжело, скорее идите в свою комнату и старайтесь заняться чем-нибудь интересным. Тогда и кричать не надо.

– Это верно, но я кричу, когда мне уж побить человека хочется. Конечно, отчасти это от печени».

В том же году:

«Идя на вокзал, я вдруг поняла, что не имею права мешать Яну любить, кого он хочет, раз любовь его имеет источник в Боге. Пусть любит Галину, Капитана [прозвище литератора Рощина, жившего у них], Зурова – только бы от этой любви

было ему сладостно на душе».

Но во что я верю – в отсутствие злых чувств в Вашем сердце по отношению к Галине. В дневнике, по крайней мере в опубликованной части, нет ни одного недоброго слова в ее адрес. Только сочувствие, забота, тревога – как о дочери или младшей сестре. Вы вместе гуляете в окрестностях Грасса, обсуждаете литературу, общих знакомых, даже Ивана Алексеевича. Когда доводится путешествовать втроем, в гостинице Бунин берет три отдельных номера. Но если свободных номеров не хватает и можно взять только два, Вы ложитесь в одной комнате не с мужем, а с Галиной.

Вам, может быть, было бы интересно – важно – отраднo – узнать, что и она в своем знаменитом «Грасском дневнике» пишет о Вас всегда с нежной заботой и участием.

Октябрь, 1927 год: «Последнее время... я была очень занята, так как Вера Николаевна слаба и делать почти ничего не может».

Январь, 1928 год: «Вере Николаевне лучше. Она, однако, все еще лежит, голова у нее обернута белым кружевом, что ей очень к лицу. У нее тип средневековых женщин... Встаю рано, готовлю завтрак ей и И. А., убираю, вообще вожусь почти весь день. Чувствую себя хорошо. Должно быть, раннее вставание мне полезно».

В некоторых записях прорывается чувство вины по отношению к Вам: «Вера Николаевна по-прежнему сидит постоянно за машинкой, не гуляет, бледна, и я часто чувствую

сквозь стены как бы какое-то болезненное веянье. Это отражается на мне тяжелой тоской – я замечала несколько раз, что хуже себя чувствую, когда она в дурном состоянии, и веселею, когда оно делается легче. Иногда это меня пугает».

Хотя появление Галины в Вашем доме было нарушением всех принятых норм устройства семейной жизни, причина его проста и понятна: она здесь, потому что Иван Алексеевич ее страстно любит, а она не менее горячо любит его и его книги. Но каким образом, на каком основании у вас поселились и жили годами другие молодые литераторы – Роцин, Зуров, а позднее, в военные годы, – еще и Бахрах? При чем к Роцину и Вы, и Галина относились с явным раздражением, присутствие его вас обеих тяготило. Из дневника Кузнецовой:

«С Роциным говорить не умею, мы всегда только спорим и притом – ожесточенно. Он меня часто и легко раздражает самомнением и склонностью почти все бранить и осуждать, прибавляя за каждым словом: черт знает что такое, наглость, сволочь и тому подобное. Очень нервна Вера Николаевна, что неприятно отражается на всех в доме. Во время ее ссор с Роциным я особенно жалею об отсутствии Ильи Исидоровича [Фондаминского]. Он всегда умел успокаивать ее».

Другое дело – Леонид Зуров. О нем в Ваших дневниках – всегда с нежностью, он всегда «Леня» или под домашним прозвищем – «Скобарь». Молодой русский литератор, живший в Латвии, в Риге, написавший Бунину восторжен-

ное письмо, прислал также свою книгу «Кадет». Из записок Бахраха:

«Бунин из самых благородных побуждений посоветовал Зурову перебраться во Францию, стал через друзей хлопотать для него о французской визе, что тогда было связано с большой волокитой, и стал давать Зурову всевозможные советы, как и где устроиться в Париже...

Прошел год после получения „Кадета“, и Зуров, с кульком антоновских яблок (знал, чем поддеть!), плетенкой клюквы и большим караваем черного хлеба... появился на бунинском „Бельведере“».

Его поселили в столовой, и он был очень рад, что ему не придется жить в гостинице. Вы отмечали его необычную нервность. Но к лету Зуров, похоже, вполне освоился, его врожденный оптимизм прорывается часто и непредсказуемо.

«Вчера мы с Леней отлично провели день, – вспоминаете Вы. – Решили дойти до Канн водой... Леня весь так и сиял. Он в море – как дома, ловил морских звезд, искал ежей и вдруг, увидав спрута, кинулся за ним и ловко схватил».

Вы радуетесь его присутствию, радуетесь, что его роман принят к печати в Париже, радуетесь потеплению атмосферы в доме. «Мы, слава Богу, живем сейчас очень хорошо в душевном отношении. Ян пишет и добр.

Леня стал много спокойнее. Ян неуловимо стал относиться к нему серьезнее и любовнее. Галя работает много...» Но

тут же: «Я все это время чувствую себя беспокойно... Четверть века моего романа с Яном... страшно подумать. 25 лет назад началась наша любовь, и, как ни странно, она не иссякает, хотя форма ее и изменилась...»

Что означает это беспокойство? Что начало тревожить Вас в, казалось бы, устоявшейся домашней жизни?

Вам, возможно, было бы интересно узнать, что после падения коммунизма в России был поставлен фильм по Вашим дневникам. Он так и называется «Дневник его жены». Там намеренно перепутаны даты, изменены имена, но общая канва сохранена. Вас и Галину Кузнецову играют две московские красавицы. Они старательно пытаются изобразить интеллигентность и тонкость чувств, но выговор безжалостно выдает их, и сразу понимаешь, что в детстве обе носили на шее не крестики, а пионерские галстуки. В этом фильме Зуров показан молодым человеком, влюбленным в хозяйку дома, то есть в Вас. Вы же отвечаете ему дружеским участием, материнской заботой, но на любовный пыл не откликаетесь.

Должна ли я верить этой версии? Как совместить ее с проблесками настоящего сердечного волнения, рассыпанными в Ваших дневниках там и тут?

Апрель, 1934 год: «Из домашней жизни радует только Ленья. Он работает, пишет, иногда мне диктует. Перестал ссориться с Галей. Стал спокойнее и сдержаннее...»

Полгода спустя: «Живем нехорошо. Лучше всех – Ленья: работает, иногда ездит купаться, в церковь, привозит кни-

ги...»

Весна, 1935 год: «Завтра, Бог даст, двинемся с Леной в Париж через Гренобль. Ян и Галя с 15 марта там...»

Значит, Вы оставались на вилле вдвоем с влюбленным в Вас молодым человеком? А муж Ваш был в это время в Париже с «другой», которую он любит вот уже семь лет? И Вы ничего-ничего себе не позволили?

А что заставило Зурова в начале 1937 года покинуть виллу, переселиться в общежитие? Что Вы имели в виду, написав «так ему будет лучше»? И почему же Вы так разволновались, когда позднее, уже из Парижа, пришло известие о болезни Лени? Иван Алексеевич записал в своем дневнике от 12 апреля 1940 года: «Неожиданная новость – у Зурова туберкулез... Вера сперва залилась розовым огнем и заплакала, потом успокоилась – верно оттого, что я согласился на ее поездку в Париж и что теперь Зурова не возьмут в солдаты... Едет, вероятно, во вторник. А мне опять вынимать тысячу, полторы!»

И, вернувшись из поездки, Вы записали: «Париж мне кажется каким-то местом радости и любви, давшей мне силы на жизнь...»

Тем временем Вторая мировая война превратилась из «странной» в настоящую – кровавую. Немецкие танки прорвали французскую оборону, вкатились в Париж. И в конце 1940 года Зуров снова появляется на вашей вилле «Жаннет». Должна ли я верить Бахраху, который к тому времени

уже жил у вас и впоследствии так красочно описал вражду между Иваном Алексеевичем и Зуровым? Неужели доходило до настоящих драк?

«Перед моими глазами предстали две вцепившиеся друг в друга фигуры, у одной в руке был топор... другая размахивала тяжеленным кухонным пестом... Это единоборство сопровождалось нечеловеческими криками и потоком самых „утонченных“ ругательств, исходивших от обоих бойцов. Я не помню, как я ринулся разнимать взбешенных противников, с каким трудом (и синяками!) мне все же удалось разнять их и почти силой увести бледного, трясущегося от злости и негодования Ивана Алексеевича в его комнату».

На этот раз Зуров был изгнан. Но Вы не могли с этим смириться. Бахрах:

«Прошло несколько дней, может быть, неделя. Все время Вера Николаевна была сама не своя, хотя на больную тему не заговаривала, но как-то душевно хирела и скрыть этого не могла. В один прекрасный день она, после мрачного завтрака, исчезла, не попрощавшись, не предупреждая о своем отсутствии, что было весьма удивительно и не в ее характере... Мы с Иваном Алексеевичем гуляли по саду.

– Вы, вероятно, догадались, куда исчезла Вера, – сказал он. – Вы должны понять, что в ней говорит неудовлетворенное материнство, и с этим я ничего не могу поделать, это у женщин очень, очень сильное чувство... Мне пришлось дать свое согласие на возвращение „милого“ (он произнес этот

эпитет со скрежетом зубовным) Лени. Мне придется дальше продолжать нести мой крест, но у меня нет выхода. Вы видите, что из-за этого переростка она стала худой, как скелет, а куда ей...»

И Бунин, с его вспыльчивым и нетерпеливым характером, «нес этот крест» все тяжелые военные годы.

Тягостное сожителство усугублялось голодом и лишениями. И. А. описывает Бахраху, уехавшему в Париж, очередную стычку:

«Январь лютый – холод, снег. С 29-го декабря я обедаю и завтракаю у себя в комнате, чаще всего с Верой Николаевной. Зурова вижу раз в неделю, случайно встретясь с ним где-нибудь на ходу, и твердо решил больше не разговаривать с этим мерзавцем вовеки. 29-го вышел в сад, набрал хворосту, отнес его и запер в комнату возле бывшей вашей... Выскакивает, как бешеная собака: – Где мой хворост? – Не знаю.– Вы сейчас взяли и заперли на замок. – Не брал. – Нет, взяли! – Что ж мне, божиться, что ли? – А что вам стоит побожиться! Вы же нахал! – Вы с ума сошли? – Вы жук, вы отлично умеете вообще устраивать свои делишки! У кого только учились! У Чехова, у Толстого? – Я остался на этот раз совершенно спокоен, даже отпер комнату и показал ее – хворост был не его, но уж довольно с меня наконец! Точка!»

Какой мукой должен был быть для Вас этот постоянный раздор между двумя дорогими для Вас людьми! И с каким чувством вины вспоминали Вы, наверное, потом день 7 но-



ября 1953 года! Только на один день отлучились Вы от постели больного Ивана Алексеевича, чтобы навестить Зурова, лежавшего в больнице парижского предместья, – и надо же, чтобы этот день оказался последним в жизни Бунина.

Не знаю, показывал ли Вам И. А. свой дневник. Но думаю, Вам было бы отраднo узнать, какой нежностью и состраданием к Вам Бунин был переполнен до конца дней своих. В 1942 году: «Тоска, страх за Веру. Какая трогательная. Завтра едет в Ниццу, к доктору, собирает свой чемоданчик... Мучительная нежность к ней до слез...» И десять лет спустя: «Дай тебе, Господи, еще много лет и здоровья, драгоценная моя!»

Продолжались ли Ваши отношения с «Леней», после того как Вы овдовели? Вам исполнилось 62 года – ну и что с того? Сколько мы знаем женщин, чье сердце было открыто для любовной свечки до конца их дней.

О, как много могут скрыть дневники!

Особенно вычищавшиеся много раз и потом опубликованные в отрывках.

Но, по крайней мере, одно мне стало ясно после прочтения этих страниц: что именно Вы были тем якорем доброты и надежности, на котором держался маленький грасский кораблик, тем праведником, ради которого Господь может пощадить и спасти не только дом, но и целый город.

Дорогая Галина Николаевна – Ваша очередь!

Вы были еще живы, когда Нина Берберова опубликовала свои мемуары «Курсив мой» (1969). Приятно было Вам прочесть, что такая злюка написала столь лестный для Вас портрет?

«Первый раз Ходасевич и я были приглашены к Буниным к обеду в зиму 1926/27 года... В тот вечер я впервые увидела Г. Н. Кузнецову (она была со своим мужем, Петровым, позже уехавшим в Южную Америку), ее фиалковые глаза... ее женственную фигуру, детские руки, и услышала ее речь, с небольшим заиканием, придававшим ей еще большую беззащитность и прелесть... Она тогда мне показалась вся фарфоровая (а я, к моему огорчению, считала себя чугунной). Через год она уже жила в доме Бунина. Особенно бывала она мила летом, в легких летних платьях, голубых и белых, на берегу в Каннах или на террасе грасского дома».

Другая мемуаристка, Ирина Одоевцева, более подробно и драматично описала Ваш разрыв с мужем.

«Петров очень любил Галину и был примерным мужем, всячески стараясь ей угодить и доставить удовольствие. Но она совершенно перестала считаться с ним, каждый вечер возвращалась все позже и позже. Однажды она вернулась в три часа ночи, и тут между ними произошло решительное объяснение. Петров потребовал, чтобы Галина выбрала его или Бунина. Галина, не задумываясь, крикнула:

– Конечно, Иван Алексеевич!

На следующее утро Петров, пока Галина еще спала, сложил свои чемоданы и уехал из отеля, где они жили... Он носился с идеей об убийстве Бунина... но пришел в себя и на время оставил Париж».

Судя по всему, Вы уже тогда были зачарованы не только обаянием Бунина-человека, но и его творчеством. Я же, должна сознаться, в молодости не сумела оценить Бунина-писателя. Он казался мне добросовестным учеником Толстого и Чехова – не больше. Раздражало его откровенное, барское пренебрежение сюжетом. Казалось, дай ему волю, он бы махнул на читателя рукой и предался бы своему любимому занятию: стал бы филигранно выписывать каплю росы на лепестке цветка, лиловый край облака, ночные звезды, насаженные на вершины кипарисов, цветок граната – «тугой бокальчик из красно-розового воска, откуда кудрявится красная бумажка». «Ах, вам еще нужна интрига, занятная история? Ну уж нате – развлекайтесь». Ему бы родиться в Японии и писать пятистрочные танка про кувшинки и лотосы.

Вы ведь и сами подметили в нем это свойство. В Вашем рассказе «На вершине холма» в уста главного героя – я уверена – Вы вложили бунинские слова:

«Да, вот еще! – Мопассан! Для того, чтобы сказать несколько слов о красоте Антибской бухты на фоне Альп, о том, что ему было дорого, – а мне упорно кажется, что ему хотелось говорить только об этом, – он должен был выдумывать и подносить читателю целую историю о какой-нибудь

неверной жене... Бедные писатели! Как часто для того, чтобы сказать что-нибудь небольшое, важное и дорогое им, они принуждены выдумывать целые ненужные истории и незаметно пристраивать где-нибудь это самое дорогое...»

В короткой автобиографии Бунин описал, как в детстве он страстно увлекся живописью, рисовал акварели, «до тошноты насасываясь с кисточки водой, смешанной с красками... На мечте стать художником у меня было долгое помешательство». Всю жизнь он пытался живописать прозой, нехотя обрамляя эти дорогие ему картины «ненужными историями о неверной жене».

Даже когда до меня добрались запрещенные тогда в России «Темные аллеи» (на одну ночь! под секретом!), отношение мое не изменилось. Половина рассказов построена по одной и той же схеме: восторженное слияние с миром, с природой, с возлюбленной (предпочтительно случайной, которую можно оставить на следующий день), а потом – смерть или, по крайней мере, угроза смерти.

«Возвратясь в свой номер, он лег на диван и выстрелил себе в виски из двух пистолетов» (рассказ «Кавказ»).

«Он успел перед смертью покаяться и причастие принять» («Баллада»).

«...И понесся, колотясь по шпалам, навстречу грохочущему и слепящему огнями паровозу» («Зойка и Валерия»).

«На третий день Пасхи он умер в вагоне метро...» («В Париже»).

«В декабре она умерла на Женевском озере в преждевременных родах» («Натали»).

Мне скажут, что писатель в семьдесят лет не может не задумываться о смерти. Ну а чем кончается знаменитый «Господин из Сан-Франциско»? «Митина любовь»? Или написанное в 46 лет «Легкое дыхание» («...казачий офицер, некрасивый и плебейского вида, застрелил ее на платформе вокзала, среди большой толпы народа...»)?

Потом, уже в эмиграции, мне довелось читать его дневники. И там тема непостижимости и неодолимости смерти всплывает упрямо, как утопленник. Причем с первых же страниц:

«Конец сент. 1923 г., Грасс. Раннее осеннее альпийское утро, и звонят, зовут к обедне в соседнем горном городке. Горная тишина и свежесть и этот певучий средневековый звон – все то же, что и тысячу, пятьсот лет тому назад, в дни рыцарей, пап, королей, монахов. И меня не было в те дни, хотя вся моя душа полна очарованием их древней жизни и чувством, что это часть и моей собственной давней, прошлой жизни. И меня опять не будет – и очень, очень скоро – а колокол все так же будет звать еще тысячу лет новых, неведомых мне людей...»

1924. Лежал, читал, потом посмотрел на Эстерель, на его хребты в солнечной дымке... Боже мой, ведь буквально, буквально было все это и при римлянах! Для этого Эстереля и еще тысячу лет ровно ничего, а для меня еще год долой со

счета – истинный ужас... Кто же знает, не последнее ли это мое лето не только здесь, но и вообще на земле!...»

И шестнадцать лет спустя – все про то же:

«Лето, 1940. А у меня все одно, одно в глубине души: ты-сячу лет вот так же будут сиять эти дни, а меня не будет. Вот-вот не будет...»

Затем, два года назад, мне дали прочесть Ваш, Галина Николаевна, «Грасский дневник». И только из него – от Вас – я узнала – поняла – почувствовала, чем покорял Бунин своих современников, в чем была его глубина, подлинность, неповторимость. Вы не назвали это словами, но так для меня отлился его главный дар: *талант восторгаться и талант ненавидеть*.

Вот уж про кого нельзя было сказать – «ни холоден, ни горяч»!

Как горячо он умел ненавидеть – большевиков, их европейских подголосков, писателей, пошедших к ним на службу, – Маяковского, Бабеля, Алексея Толстого, Катаева, а заодно и всех новомодных символистов, футуристов, имажинистов, дадаистов.

Как страстно он восторгался – дымкой над горами, цветущими апельсиновыми деревьями, «Войной и миром» (перечитывал чуть не каждый год), женской красотой, мелодией из приемника и даже – да, забывая заповедь скромности! – собственными стихами и рассказами.

«Вот видят во мне только того, кто написал *Деревню*...

А ведь и в [рассказе „Аглая"] тоже я... А как это написано! Сколько тут разнообразных, редко употребляемых слов и как соблюден пейзаж Руси: эти сосны, песок... А этот, что бабам повстречался, как выдуман! В котелке с завязанными глазами! Ведь бес!.. И вот никто этого не понял!.. Как обидно умирать, когда все, что душа несла, выполняла, – никем не понято, не оценено по-настоящему! И ведь сколько тут разнообразия, сколько разных ритмов, складов разных!»

Но Вы, Галина Николаевна, умели простить ему детское самохвальство, разглядеть талант восторга, разделить его.

«Среди нужды, лишений, одиночества, лишенный родины и всего, что с ней связано... Бунин вдохновенно славит Творца, небо и землю, породивших его и давших ему видеть гораздо больше несчастий, унижений и горя, чем упоений и радостей. И еще когда? Во время для себя тяжелое, не только в общем, но и в личном, отдельном смысле... Да это настоящее чудо, и никто этого чуда не видит, не понимает! Каким же, значит, великим даром душевного и телесного (несмотря ни на что) здоровья одарил его Господь!..»

Я с жаром высказала ему все это. У него были слезы на глазах».

Да, он был бесконечно благодарен судьбе за то, что Вы вошли в его жизнь. Из дневника 1932 года:

«Лежал в саду на коленях у Г., смотрел на вершину дерева в небе – чувство восторга жизни. Написать бы про наш сад – что в нем. Ящерицы на ограде, кура на уступе верхнего

сада...»

Уверена: это его любовь к Вам и Ваша ответная нежность помогли ему написать его главную и самую большую вещь – «Жизнь Арсеньева». В своем дневнике он дает хронику работы над романом – как раз те годы, на которые пришелся расцвет вашей любви. Очень точно написал об этом романе Федор Степун:

«Это не столько роман, сколько фресковая живопись на тему *Россия...* Все то, что задерживает развитие романа (самодовлеющая живописность отдельных сцен), становится внезапно главным, формально вполне оправданным содержанием вещи. Тема «Арсеньева» превращается как бы в орнаментальную связь отдельных картин, в закон их последовательного развития и показа. Орнаментально связанные же картины России получают изумительный рельеф, как мне кажется, прежде всего потому, что они показаны на фоне прекрасно печальной Тверди Вашего мирозерцания... Здесь очень много метафизической печали и лирического восторга».

Примерно с 1930 года каждую осень в граской обители начинались волнения: присудят на этот раз Бунину Нобелевскую премию по литературе или нет? В 1931 году дали какому-то безвестному шведу, в 1932-м – Джону Голсуорси. Тем временем русские зарубежные издательства закрылись, гонорары мельчали. На семейство Буниных опускается настоящая нищета. Из дневника Веры Николаевны:



«Был вызван к Яну доктор Маан и заодно меня осмотрел. Оказывается, я очень истощена. Нельзя даже по саду вверх ходить. Ян уже больше трех недель теряет кровь [из-за геморроя]. Похудел, побледнел... Наволочки все штопаны, простынь всего 8, а крепких только две, остальные – в заплатках. Ян не может купить себе теплого белья. Я, большей частью, хожу в Галиных вещах...»

Бунин мечтает о Нобелевской премии, но уверяет всех, что дело не в деньгах, «а в том, что пропало дело моей жизни. Премия могла бы заставить мир оборотиться ко мне лицом, читать, перевести на все языки. Если же в этом году, когда за меня было семь профессоров с разных концов мира и сам Масарик, глава чешского правительства, вмешался в это – не дали премии – дело кончено!»

Деньги, может быть, и не главное, но в октябре 1933 года Бунин записал в дневнике: «Вчера именины Веры. Отпраздновали тем, что Галя купила кусок колбасы. Недурно нажился я за всю жизнь».

Вы, Галина Николаевна, прожили вместе с Буниным семь лет – трудных, бедных, счастливых. И надо же, чтобы именно в тот момент, когда к Бунину пришла слава, богатство, признание – Нобелевская премия 1933 года, – в Вашу жизнь, в Ваше сердце неожиданно ворвалась новая любовь, которая осталась с Вами до конца жизни.

Маргарита Августовна Степун. Марга. Младшая сестра Федора Степуна.

Как мало мы знаем о ней!

Вы в своих дневниках описываете подробно и красочно Мережковских, Фондаминских, Ходасевичей, Алданова и десятки других, а о женщине, которая стала для Вас всем на свете, – ни слова. Деликатность – прекрасное свойство, многие ценили его в Вас, но мемуаристу оно просто противопоказано. Иван Алексеевич если и писал что-нибудь о Вашей возлюбленной, то это скорее всего были брань и проклятия, вычеркнутые-сожженные потом. Лишь у Веры Николаевны там и тут разбросаны строчки – штрихи к портрету.

«Декабрь, 1933. У Степунов бываем, они очень милы и заботливы... У них живет его сестра, Марга. Странная большая девица – певица. Хорошо хохочет... У Марги больше от маменьки, да она и похожа на нее больше, только крупнее, амазонистее... [Лето, 1934:] Марга у нас третью неделю. Она нравится мне. Спокойна, одного со мной круга. Соединяет в себе и прошлое, довоенное, и послереволюционное. Можно с ней говорить обо всем. С Галей у нее повышенная дружба. Галя в упоении, ревниво оберегает ее от всех нас. Если мы разговариваем с ней, то Галя не принимает участия... У Гали нет желания соединить Маргу с нами, напротив, она всегда подчеркивает: она – моя... Галя всё в упоении от Марги. А Марга довольно сложна. Я думаю, у нее трудный характер, она самолюбива и честолюбива. Очень высокого мнения и о себе, и о Федоре, и о всей семье. Мне кажется, ее любовь к Гале очень подогрета тем, что она у нас. Да кроме того, ей

нравится, что она верховодит Галей... Ян как-то неожиданно стал покорно относиться к событиям, по крайней мере, по внешности».

Драма развивалась медленно, но неумолимо. Бунин взывал к помощи Федора Степуна, тот слабо пытался повлиять на сестру и на Вас. В письме Бунину рассказывает о своих попытках:

«[Я говорил Галине, что] нельзя качаться между Вами и Маргой, нельзя жить то в Геттингене, то на Ривьере, в Грассе... нельзя, не сказав Вам всей правды, пользоваться Вашими средствами... [Я не мог] сказать Марге то, что Вы, вероятно, от меня ожидали: опомнись, куда, в какой разврат ты ведешь несчастную Галину Николаевну, жившую до сих пор нормальной женской жизнью? Неужели ты не понимаешь, что заражать ее твоей ненормальной любовью так же преступно и безответственно, как заражать туберкулезом или сифилисом? Я понимаю, что и так думать можно, но это не мои мысли и не мои речи; вот почему я их не высказывал и не произносил...»

Тянутся месяцы мучительных метаний и неопределенности. Вы то уезжаете в Германию, то возвращаетесь в Грасс. Заболеваете там, и Марга мчится к Вам из Геттингена. Вера Николаевна пишет в дневнике 1936 года: «Ровно восемь месяцев не открывала эту тетрадь. Тяжелые были эти три четверти года. Все мои старания примирить Яна с создавшимся положением оказались тщетными...»

Бунин переживал Вашу «измену» мучительно. Дневниковые записи за 1934—1936 годы пестрят горестными строчками:

«План ехать всем трем в Париж... Разговор с Г. Я ей: „Наша душевная близость кончилась“. И ухом не повела...»

«...Вчера были в Ницце – я, Рощин, Марга и Г... Жара, поразительно прекрасно.

Без конца длится страшно тяжелое для меня время...»

«Шел по набережной, вдруг остановился: да к чему же вся эта непрерывная, двухлетняя мука? Все равно ничему не можешь! К черту, распрямись, забудь и не думай!.. А как не думать?.. Все боль, нежность. Особенно, когда слушаешь радио, что-нибудь прекрасное...»

«Она в Берлине... Чудовищно провел два года! И разорился от этой страшной и гадкой жизни... Радио, джазы, фокстроты. Очень мучит... Под радио хочется все простить».

«...Главное – тяжкое чувство обиды, подлого оскорбления – и собственного постыдного поведения. Собственно, уже два года болен душевно... душевно больной».

Федор Степун пытается образумить Бунина:

«Так называемая *противоестественная* любовь, как таковая, ни с *гнустью*, ни с *грязью* ничего общего не имеет: бывает грязь естественных и бывает чистота противоестественных отношений. Что Вам тот мир, в который ушла Галина Николаевна, должен казаться таким, каким он Вам ка-

жется, мне ясно. Ясно и то, что все Ваши безудержные словоизвержения по отношению к этому миру являются бунтом эротического самолюбия и жалости к себе (страшные силы)... Но прошу Вас в трезвую минуту подумать и умом и сердцем – не правильнее ли прекратить Вам Вашу борьбу против Марги? Ведь не хотите же Вы вогнать в гроб ту самую Галину Николаевну, на которую Вы потратили „девять лет великой любви и заботы"? Мне кажется, ей, как и Марге, сейчас бесконечно тяжело жить. Правда, не легче, чем Вам».

Дальше происходит что-то непостижимое. В дневниках Буниных почти нет записей за 1937 год. Все, что мы знаем: в этом году Зуров покинул виллу, а Вы с Маргой въехали в нее и прожили вместе с Буниными до 1942 года.

Как это могло произойти?

Бунин так любил Вас, что готов был довольствоваться Вашим присутствием рядом?

Вы с Маргой оказались без средств, и добрая Вера Николаевна потребовала приютить обоих?

Бунин надеялся снова завоевать Ваше сердце щедростью и благородством? Просто боялся одиночества? Подсознательно ощущал в Марге родственную душу, разделял с ней любовь к Вам?

Записи за 1938—1942 годы не дают ответа. С одной стороны, мы видим Ивана Алексеевича любезным хозяином, которому нравится быть в обществе двух прелестных дам. Вы все втроем ездите выбирать новую виллу. Он сопровож-

дает вас к какой-то маркизе, которая устроила для Марги сольный концерт. Угощает на последние шведские деньги в ресторане «Пикадилли» в Каннах. Военным летом 1940 года вся семья отчаянно хлопочет, защищая Марту от интернирования (у нее немецкий паспорт). Начинается настоящий голод, и все обитатели виллы носятся по окрестностям, пытаясь добыть хотя бы несколько яиц, немного сыру, банку гороха, делятся друг с другом последним куском.

С другой стороны, мы видим, как часто Бунин тяготился Вашим присутствием под его кровом:

«...Как страшно одиноко живу! И как дико – три бабы на плечах!..»

«Что вышло из Г.! Какая тупость, какое бездушие, какая бессмысленная жизнь!..»

«Вдруг вспомнилось – „Бал писателей“ в январе 1927 года, приревновала к Одоевцевой. Как была трогательна, детски прелестна! Возвращались на рассвете, ушла в бальных башмачках *одна* в свой отельчик...»

«Очень тосковал вчера перед сном. Дикая моя жизнь, дикие сожители. М., Г. – что-то невообразимое. Утром туман, дождь. Так холодно, что мерзнут руки».

«1941. Солнечное утро, безоблачное небо. Сейчас десять минут двенадцатого, а Г. и М. и Бахрах только что проснулись. И так почти каждый день. Замечательные мои нахлебники. Бесплатно содержу троих, четвертый, Зуров, платит в сутки 10 франков».

«Опять весь день думал и чувствовал: да что же это такое – жизнь Г. и М. у нас, их злоба к нам, их вечное затворничество у себя! И вот уже третий год так живу!»

Сердился, но и тосковал безмерно. Берберова навестила его в Париже в 1939 году:

«Мы сидели у Бунина в кабинете, и он рассказывал все с начала (и до конца) про свою любовь, которой он до сих пор мучается. К концу... он совсем расстроился, слезы текли у него из глаз, и он все повторял: „Я ничего не понимаю. Я – писатель, старый человек, и ничего не понимаю. Разве такое бывает? Нет, вы мне скажите, разве такое бывает?“»

Так что же это было? Что стояло за этим непостижимым, часто безрадостным гостеприимством?

Только сам Иван Алексеевич мог бы ответить на мой вопрос. Но станет ли он, захочет ли говорить?

Дорогой Иван Алексеевич!

Я знаю, как страстно Вы восставали – восстаете – против разговоров о личной жизни писателей, против размывания границы между судьбой персонажа и судьбой автора. Когда критики писали об автобиографических мотивах в «Жизни Арсеньева», Вы выражали решительный протест. При этом признавали, что, да, многое в романе автобиографично, но с трогательной наивностью требовали, *чтобы критики не говорили об этом вслух!* Однако мне так важно, так нужно

узнать, что на самом деле произошло в Вашей семье в 1927, а потом и в 1937 году.

Какими словами уговорили Вы любимую и любящую Вас Веру Николаевну принять в свой дом любимую и любящую Вас Галину Кузнецову?

«Не могу без нее жить, погибну, покончу с собой»?

«Если не согласишься, я уйду и ты меня больше не увидишь»?

«Мы можем и должны стать выше предрассудков своего времени, своей среды»?

Я не верю, что Вы опустились до примитивной лжи: «Она просто моя ученица, будет помогать перепечатывать мои рукописи». Не верю – в отличие от Одоевцевой, – что Вера Николаевна могла бы поддаться на такой обман. Каким-то образом Вам удалось не только создать семью из трех человек, но заставить весь обширный круг своих друзей и знакомых принять сложившееся положение как нормальное. Даже отправляясь в Стокгольм для получения Нобелевской премии, Вы с Верой Николаевной взяли Галину с собой и представляли ее корреспондентам то ли как доверенную сотрудницу, то ли как приемную дочь.

Не огорчайтесь, но многие мемуаристы отмечали Ваш невероятный эгоцентризм. Берберова, дневник 1945 года, Париж:

«8-го августа было мое рождение. С трудом достала полфунта чайной колбасы. В столовой накрыла на стол, нареза-



ла двенадцать кусков серого хлеба и положила на них двенадцать ломтиков колбасы. Гости пришли в 8 часов и сначала посидели, как полагается, в моей комнате... Пока я разливала чай, гости перешли в столовую. Бунин вошел первым, оглядел бутерброды и, даже не слишком торопясь, съел один за другим все двенадцать кусков колбасы. Так что, когда остальные подошли к столу и сели... им достался только хлеб. Эти куски хлеба, разложенные на двух тарелках, выглядели несколько странно и стыдно».

Пусть Берберова предвзята, недобра. Но вот что пишет любящая Вас Галина Николаевна:

«Приехала кузина Веры Николаевны, Маня Брюан... Кажется, основное ее качество – спокойная уверенность в том, что мир вращается вокруг нее.

Они заняты рядом с И. А. Каждый эгоцентричен, и они невольно сталкиваются в этом, хотя бы это выражалось в куске курицы, или кисти винограда, или в самом удобном кресле. Она так же, как и он, любит все самое лучшее и считает, что оно сотворено для нее. И вот тут интересно, как он бранит в ней то, что есть в нем самом, и почти боится посягательства на свою тарелку, свою комнату...»

Но как совместить такой эгоцентризм с Вашей щедрой готовностью открывать двери своего дома целой толпе гостей и постояльцев, многие из которых были Вам явно в тягость? В том числе и в годы отчаянной нужды, холода, недоедания? А за укрывательство еврея Бахраха в годы немецкой оккупа-

ции – два немецких офицера жили прямо в Вашем доме! – можно было вообще угодить в концлагерь.

Живым людям было порой нелегко рядом с Вами, но как доставалось от Вас собратьям по перу – это просится в отдельную книгу. Ваши близкие порой пугались ярости, с которой Вы обрушивались на признанных классиков русской литературы.

Бальмонта, Сологуба, Вячеслава Иванова, Белого иначе как кретинами и сумасшедшими не называли. Про стихи Зинаиды Гиппиус говорили, что в них она «мошенничает загадочностью». Про «Мертвые души» – «очень талантливый шарж, не больше». Алданова обзывали журналистом, про Набокова-Сирина – «мимикрия таланта». Про Бабеля – «очень способный и удивительный мерзавец. Все цветисто и часто гнусно до нужника». Все символисты, футуристы, имажинисты были для Вас прохвостами и бездарностями. Но хуже всех был Блок – «лакей с лютней». Берберова вспоминает, как она, будучи у Вас в гостях с Георгием Ивановым, сняла с полки томик стихов о Прекрасной Даме:

«Он был весь испещрен нецензурными ругательствами, такими словами, которые когда-то назывались заборными. Это был комментарий Бунина к первому тому Блока. Даже Георгий Иванов смутился. „Забудем это“, – шепнула я ему».

Но как же можно было забыть Ваши нападки на писателей, ставших духовными поводырями нескольких поколений российских интеллигентов? Особенно досаждал Вам Досто-

евский. Вспоминает Бахрах:

«Он очень не любит Достоевского, не признает его. Достоевский ему органически чужд, и атмосфера романов Достоевского его угнетает. Сегодня он старался доказать мне, что в романах Достоевского все надумано, нет живых людей, одни только схемы, нет пейзажа.

– Ну, какой же это у Достоевского Петербург? Это, в лучшем случае, Лиговка, Обводный канал, Пятая рота, но разве это Петербург?..»

Запомнила и Галина Николаевна: «На днях вечером сидели в кабинете Ивана Алексеевича, и разговор зашел о Достоевском...

– Ну, вот и опять в который раз решился перечитать *Бесов*, подошел с полной готовностью в душе: ну, как же, мол, весь свет восхищается, а я чего-то, очевидно, недоглядел... Ну, вот дошел до половины, и опять то же самое! Чувствую, что меня дурачат... И нисколько не трогают! Бесконечные разговоры, и каждую минуту все в ожидании, и все между собой знакомы, и вечно собираются в одном месте, и вечно одна и та же героиня... И это уже двести страниц, а никаких бесов нет... Нет, плохо! Раздражает!»

А чего стоит короткая запись в Вашем собственном дневнике: «Не знаю, кого больше ненавижу как человека – Гоголя или Достоевского». Но при этом объявляли Гоголя своим литературным предтечей. Берберова:

«Характер у него был тяжелый, домашний деспотизм он

переносил в литературу. Он не то что раздражался или сердился, он приходил в бешенство и ярость, когда кто-нибудь говорил, что он похож на Толстого или Лермонтова, или еще какую-нибудь глупость. Но сам возражал на это еще большей нелепицей:

– Я – от Гоголя. Никто ничего не понимает. Я из Гоголя вышел.

Окружающие испуганно и неловко молчали. Часто бешенство его переходило внезапно в комизм, в этом была одна из самых милых его черт:

– Убью! Задушю! Молчать! Из Гоголя я!» Вообще, Ваш дневник напоминает город после бомбежки – там и сям дыры, прожженные Вашей самоцензурой. В том, что осталось, четверть текста – сводки погоды и описания красот природы, другая четверть – политические и военные новости, третья – комментарии к прочитанным и перечитанным книгам, и только последняя четвертинка – собственные чувства, люди и отношения с ними.

Похоже, Вы не любите вспоминать. В «Жизни Арсеньева» есть многозначительная фраза: «Воспоминания – нечто столь тяжкое, страшное, что существует даже молитва о спасении от них». Даже воспоминания о пережитом наслаждении красотой могли обернуться для Вас душевной болью, и Вы старались увернуться от них. Галина Кузнецова вспоминает слова, вырвавшиеся у Вас перед кустом роз:

«Я, например, всю жизнь отстранялся от любви к цветам.

Чувствовал, что, если поддамся, буду мучеником. Ведь я вот просто взгляну на них и уже страдаю: что мне делать с их нежной, прелестной красотой? Что сказать о них? Ничего ведь все равно не выразишь! И, чуя это, душа сама отстраняется, у нее, как у этого кактуса, есть какие-то свои щупальца. она ловит то, что ей надо, и отстраняется от того, что бесполезно».

То же самое и при выборе книг для чтения:

«Давно заметила в И. А. такую черту: он просит дать что-нибудь почитать. Я выбираю ему какую-нибудь талантливую книгу и советую прочесть. Он берет ее и кладет к себе на стол у постели. Постепенно там нарастает горка таких книг. Он их не читает, а покупает себе где-нибудь на лотке какие-нибудь марсельские анекдоты, религиозные анекдоты 19-го века, какое-нибудь плохо написанное путешествие...

– Видишь ли, мне не нужны мудрые или талантливые книги. Когда я беру что попало, я роюсь себе впотьмах и что-то смутно нужное мне ищу, пытаюсь выразить какую-то французскую жизнь по какой-то одной черте... а когда мне дается уже готовая талантливая книга, где автор сует мне свою манеру видеть, – это мне мешает...»

Но правда ли это? Талантливые книги Толстого и Чехова вы были готовы перечитывать чуть не каждый год, они ничуть не мешали Вам, а воодушевляли. Впрочем, ловить Вас на противоречиях в словах и суждениях – слишком легкое занятие. Вся Ваша жизнь – это схватка противоречивых, об-

жигающих, непредсказуемых, разрушительных чувств. Вера Николаевна написала «Жизнь Бунина», но ее пером двигала любовь, и книга получилась монотонной, как какое-нибудь заказное житие. Настоящая «Жизнь Бунина», написанная талантливым романистом и покрывающая годы революции и эмиграции, могла бы оказаться поярче даже «Жизни Арсеньева».

В дневнике Галины Кузнецовой остались Ваши слова, видимо сказанные ей в поучение: «У здорового человека не может быть недовольства собой, жизнью, заглядыванья в будущее... А если это есть – беги и принимай валерьяну!»

Но в конце жизни, когда Ваш главный и вечный враг приблизился вплотную, Вы дали волю и этому чувству:

«1949, в ночь с 2 на 3 октября. Все одни и те же думы, воспоминания. И все то же отчаянье: как невозвратно, непоправимо! Много было тяжелого, было и оскорбительное – как допустил себя до этого!»

И сколько прекрасного, счастливого – и все кажется, что не ценил его. И как много пропустил, прозевал – тупо, идиотски! Ах, если бы воротить! А теперь уже ничего впереди – калека, и смерть почти на пороге».

А сколько противоречий в Ваших отношениях с Творцом! Почти все мемуаристы пишут о Вашем вызывающем, открытом атеизме. Но в дневниках там и тут – трогательные прорывы потаенной веры.

«Проснулся в 4 часа, вышел на балкон – такое божествен-

ное великолепие сини неба и крупных звезд, Ориона, Сириуса, что перекрестился на них...»

«...Как всегда, втайне болит сердце. Молился на собор (как каждое утро) – он виден далеко внизу – Божьей Матери и Маленькой [Святой] Терезе... Развернул Библию – погадать, что выйдет; вышло: „Вот Я на тебя, гордыня, говорит Господь, Господь Саваоф; ибо наступит день твой, время, когда Я посету тебя" (Иер. 50, 31)».

Вера Николаевна с горечью писала в дневнике о засилье рационалистов в годы созревания вашего поколения:

«Как от нашего поколения закрывали все духовное. Позитивисты царствовали, владели душами и мыслями. От церкви закрывал и Лев Толстой. Владимира Соловьева читали немногие, о Константине Леонтьеве почти никто ничего не знал; в загоне были и славянофилы. Владел душами Герцен. А затем, с начала столетия, стали проникать социалисты, материалисты с Плехановым во главе».

Вы были всей душой преданы Толстому и Чехову – но ведь и они были убежденными богоборцами, пытавшимися заменить веру в Бога верой в Добро.

Поначалу Вы пытались следовать за ними, но окаянные дни большевизма разрушили безвозвратно Ваше – столь обязательное для русского интеллигента – народопоклонство.

Что же оставалось?

Эгоизм, безверие, страх смерти – это ли не прямая дорога к отчаянию, к мыслям о самоубийстве? Даже отдушина игры

была закрыта для Вас – ни охота, ни карты, ни скачки Вас не занимали.

«В чем же он находил опору, что служило ему маячком, путеводным компасом?» – спрашивала я себя.

И в конце концов пришла к догадке, которую готова отстаивать и сегодня.

Говорят, у людей, ослепших в середине жизни, необычайно обостряются другие чувства: слух, обоняние. Так и у Вас: утратив в политических и военных бурях своего времени ориентиры Добра и Веры, сделавшись, по сути, этическим дальтоником, Вы утвердили своим жизненным компасом *обостренное чувство чести*.

Это оно подтолкнуло Вас в 1928 году публично напасть на могущественного Романа Роллана, восславившего 10-ю годовщину советского режима, и потерять на этом важного союзника в борьбе за Нобелевскую премию.

Это оно заставляло Вас терпеть в своем доме толпу постояльцев, часто вызывавших только досаду и раздражение, – ибо прогнать гостя из дому казалось Вам недостойным поступком.

То же чувство чести подсказало Вам отказаться от хитрой сделки, придуманной Мережковским: заранее сговориться поделить Нобелевскую премию пополам, кто бы из двоих ни получил ее.

Это оно удержало Вас от соблазна поддаться на льстивые посулы советского посольства в послевоенные годы и – на



волне патриотического победного подъема – принять советский паспорт.

И это оно – я верю – запретило Вам делать выбор между двумя любимыми женщинами и подсказало – вопреки всем запретам принятых моральных норм и правил – оставить обеих в своем доме, под своей крышей.

Даже мстительная Берберова (не за чайную ли колбасу?), которая клеймила Вас «конкретным цельным животным, способным создавать прекрасное в примитивных формах, готовых и уже существующих до него», не могла не признать за Вами «удивительное чувство языка... и полное отсутствие пошлости». А что же спасает пишущего от пошлости, как не чувство чести художника?

Но боюсь, что то же самое чувство чести не позволит Вам ответить правдиво на вопросы, с которых я начала этот разговор. Поэтому следовательно по особо важным филологическим делам С. Денисьева признает свое поражение (не удалось «расколоть»!), кончает на этом допрос и отправляет папку с личным делом И. А. Бунина в пантеон русской литературной славы, где она втиснется на полку маленьким добавлением к сотням томов и статей, отмеченных штампом: «Хранить, доколь в подлунном мире жив будет хоть один пиит».

## 12. ЗАГОНЩИК

Додик ворвался в дом злой, возбужденный, размахистый.

– А не хочешь ли ты узнать, дорогая, где я провел сегодняшней день? Не хочешь ли узнать, откуда я сейчас явился не запыхавшись?

– Очень хочу.

– Из полицейского участка – вот откуда! Я был арестован!

Отведен под конвоем! А теперь спроси: за что?

– За что, дорогой, за что?

– За автомобильный номер. Кто-то сбил прохожего и удрал с места происшествия. И какой-то свидетель – о, слепая тетеря! – записал и сообщил им номер удравшего. И по нему они вышли на меня. Им, видите ли, надо было проверить, нет ли на моем автомобиле вмятин и следов крови. Теперь спроси: сколько времени длится такая проверка? Думаешь, полчаса? Час? Два? А пять – не хочешь? Пять часов просидеть в пустой комнате! Не имея ни книги, ни журнала! Ух как я зол! Нужны мне их извинения? На черта лысого они мне нужны! Есть в доме что-нибудь выпить? Остатки бурбона? Сейчас допью всю бутылку!..

Как я бросилась его целовать-обнимать! Как жалела, сочувствовала, обхаживала! Как стремительно накрыла на стол, разогрела баранье рагу, открыла копченые устрицы. И сыра – сыра побольше моему кавказскому витязю! И как мне

стыдно было за черных мух подозрения, круживших в моей голове два часа назад.

На следующий день я приехала в институт за час до своей лекции, хотела подготовиться. Не тут-то было. Секретарша на кафедре сказала, что меня просил зайти декан. Не откладывая. И при этом как-то странно посмотрела. Укоризненно? Недоверчиво? Сочувственно?

Наш декан – специалист по творчеству Льва Толстого. В борьбе за академические чины мало кому удастся сразу взять курс на такую подоблачную вершину, как Толстой. Восхождение принято начинать с отрогов, с фигур помельче: Загоскин, Бенедиктов, Марлинский, Веневитинов. Но наш декан имел важное преимущество уже с аспирантских лет: он анализировал всю русскую литературу с позиций научного психоанализа.

Прославила его работа о первых двух годах жизни Льва Николаевича. В ней он доказывал, что все комплексы и все отклонения от нормы в сторону гениальности и в сторону невыносимости были заложены уже тогда, в младенчестве. И ключевой фигурой была мать Толстого и его отношения с ней. Это не важно, что мать умерла через полтора года после рождения Льва Николаевича. Ведь она за это время успела родить ему сестренку. Конечно, годовалый Левочка ревновал к новому ребенку, отнимавшему у него нежное внимание матери. Здесь, в этом эдиповом треугольнике, будущий писа-

тель и получил тот опыт жгучей ревности, которую позднее он столь блистательно воплотил в таких фигурах, как Позднышев, Каренин, князь Андрей. Недаром он даже незадолго до смерти вспоминает в дневнике свою мать, просит ее обнять его, приласкать. Эта работа была удостоена ежегодной премии Общества славистов, проложила автору дорогу на академический ОЛИМП.

Декан встретил меня приветливо и в то же время смущенно. Глаза его раздваивались за стеклами сильных очков, губы сложились в какой-то бутончик-розанчик. На столе громоздилась стопка пакетов, папок с бумагами, книг с торчащими закладками.

«Неужели увольнение? – с тоской подумала я. – О господи, только бы не сейчас».

Декан нашел то, что искал, положил перед собой. Это был большой коричневый конверт, со штемпелем и с надписью крупными буквами: «Благодарим за подписку».

– Милая Светлана, – начал он. – Вы знаете меня – мы знаем друг друга – вот уже почти десять лет. И я всегда ценил и уважал вас как талантливого педагога и надежного, обязательного сотрудника. Но и вы – я надеюсь – могли заметить, что при всех моих недостатках – а у кого их нет? – одного порока я лишен начисто: ханжества. Тому, кто смолоду проникся идеями великого венского мыслителя, нет нужды хвататься по любому поводу за фиговые листочки стыдливости. Согласитесь?

– Безусловно, конечно... Не припомню, чтобы какие-нибудь табуированные темы, всплывавшие в разговоре, вас пугали, профессор...

– Вот-вот... И вся так называемая порнография меня ничуть не смущает и не отвращает. Гораздо опаснее прятать все сексуальное в темный чулан, как это делалось в дофрейдовские времена. Сознаюсь вам: и мы с женой не прочь иногда полистать на ночь такой вот журнальчик.

Он пощелкал ногтем по конверту, лежащему перед ним, затем продолжал:

– Я понимаю, что не всякий брачный союз включает в себя полное взаимопонимание и согласие в вопросах пола. Возможно, ваш супруг был воспитан в более строгих правилах, чем вы. Возможно, его либидо было оттеснено в подсознание гораздо дальше, чем ваше. И вам хочется – вам даже необходимо – время от времени давать разрядку своим подавленным фантазиям. Да, даже при помощи таких откровенных картинок и текстов, как в этом журнале. И вам хотелось бы сохранить свое невинное увлечение-отвлечение втайне от мужа. Но поверьте: оформить подписку на свой рабочий адрес – это не выход.

– Какую подписку? – изумилась я.

Но он как будто не слышал.

– Поймите: журнал слишком велик, он не влезет в эти узкие щели, в эти почтовые отсеки, которые сляпал наш столляр для сотрудников кафедры. Он будет дожидаться вас на

столе у секретарши, у всех на виду. Кто-нибудь захочет раскрыть, полистать. Уже на третьей странице увидит пирамиду из пяти голых тел – заманчиво. Как не попробовать! Студенты любопытны и догадливы, они наверняка знакомы и с названием, и с содержанием журнала. Для них узнать, что кто-то из преподавателей выписывает его прямо на кафедру, будет пикантной новостью, которая быстро разлетится по кампусу. Доползет и до родителей, и кто-нибудь из них обязательно захочет написать жалобу в ректорат. Нужно нам это? Хотим мы такого скандала?

– Я клянусь вам, профессор, – сказала я медленно и внятно, – что никогда подобными изданиями не интересовалась, никогда не выписывала их ни на домашний, ни на рабочий адрес.

– Но как же – вот ваша фамилия на конверте, адрес напечатан ясно и без ошибок. Ведь не станут же они присылать журнал задаром? Кто-то должен был оплатить подписку.

– Вот именно – «кто-нибудь». И даже – «кто угодно». Но так уж вышло, что это была не я.

– А кто же?

– У вас есть враги? Если кто-нибудь захотел бы насолить вам, подпортить репутацию – что может быть лучше такого приемчика?

– Значит, это были не вы?.. Сознаюсь, это большое облегчение. А что же мы будем делать с журналом?

– В вашей мусорной корзине вполне хватит места для

него. Или нет: дайте я сначала спишу их обратный адрес. Напишу им грозное письмо с требованием немедленно прекратить безобразничать. Подчеркну, что у нас в колледже много молодых людей моложе восемнадцати лет и они пойдут под суд за развращение несовершеннолетних.

Во время разговора я держалась молодцом, ничем не показала сжигавшей меня ярости. Но, выйдя из кабинета декана, ринулась в туалет, заперлась там в кабинке, зарылась лицом в платок, потом в пучок туалетной бумаги. Я снова чувствовала себя как зверь в капкане, как заарканенная телка. Какой негодяй, боже, какой негодяй! Он на все способен, на все, даже...

Только тут, только тут – о, недогадливая тупица! – меня осенило. Звонок в полицию – это же так просто! Ложный донос – проверенное средство. И твоего врага хватают, увозят, запирают. В недавние времена у нас, на бывшей родине, так избавлялись от неприятных соседей, от соперников по службе, от лишнего угла в любовном треугольнике.

У меня еще оставалось пять минут до начала лекции. Я быстро спустилась на первый этаж, к телефонам-автоматам. Набрала номер детектива Крескила.

– Да-да, конечно, я вас помню... Что-нибудь случилось?.. Хотите, чтобы мы приехали?.. Нет?.. Просто узнали имя человека?.. Того, кто получил деньги?..

– Нет. Того, кто позвонил в полицию. Того, кого вы рас-

плывчато именовали информатором.

– Хорошо. Приезжайте. В два часа – вам удобно? Буду ждать.

Крескил стоял в коридоре, разговаривал с каким-то оборванцем. Пахло выпивкой, куревом, мочой. Сбежал из ночлежки, нашли под мостом? Или тоже – замаскированный информатор?

Увидев меня, детектив похлопал оборванца по плечу, поправил шерстяной колпак на его голове. Подтолкнул к выходу.

– Ну и как? – первым делом спросил он, когда мы уселись по обе стороны стола. – Доложил вам муж о задержании?

– Как только вошел в дом. Был в ярости, поносил вас последними словами. Действительно, сколько времени нужно на осмотр автомобиля?

– Теперь это занимает часы. Новая техника на всех фронтах. Слыхали про такое вещество: луминол? Мы опрыскиваем им место преступления, и тогда, в свете специальных ламп, становятся видны пятна крови, даже тщательно замывые. Но вы узнали что-то о звонившем. Каким образом?

– Когда вы сказали, что звонил информатор, я решила, что это был какой-то ваш платный агент. Так это или нет?

– Вообще-то нет. Звонил неизвестный. Был очень взволнован, говорил сбивчиво.

– Вы ведь записываете поступающие звонки? Дайте мне



послушать пленку. Уверена, что я опознаю его по голосу.

Крескил пожевал в задумчивости свою лиловую губу, потом потянулся к ящику на стеллаже. Извлек кассету, проверил дату на ярлычке, вставил в магнитофон.

Голос Глеба как будто выныривал, задыхаясь, из шума машин, проезжавших мимо телефонной будки.

– Полиция?.. Это правда полиция?.. Мне не важно, какой участок... Я случайно подслушал разговор... В кафе «Венди»... Двое мужчин... Они говорили по-русски... Тихо, но я расслышал слово «пришить»... Это жаргон, означает «убить»... Они хотят убить какую-то женщину... Один высокий, восточного вида... Он дал другому коричневый конверт и сказал «аванс»... Опознать? Наверное, смогу... Свидетелем? Ни за что! Ни за какие деньги!.. Такие люди на все способны... Но я видел, как высокий садился в машину, уезжая... Она стояла прямо напротив окна... И я запомнил номер... Глеб играл великолепно. Испуг, растерянность, утрированный акцент. Какой актер пропадает! Он рассказывал мне, что в студенческие годы участвовал в самодеятельности, имел большой успех в роли Яго.

– Да, это он. Никаких сомнений. Его зовут...

Я стала рассказывать Крескилу, что происходит. Без подробностей, но главную суть. Да, с этим человеком у меня были *отношения*. Почти два года. А когда я решила порвать их, он начал меня преследовать. Сделал мою жизнь невыносимой. Я дрожу с утра до вечера. И не только за себя – за му-

жа, за сына Эта проделка со звонком в полицию – вы видите, на что он способен. Он умен, изобретателен. Я понимаю, что он постарается остаться в рамках закона, что его нелегко будет уличить, обвинить, арестовать. Но неужели нет никакой защиты? И конечно, я бы очень, очень не хотела, чтобы муж узнал о происходящем.

Крескил погладил взад-вперед фиолетовый череп, потянулся к телефону.

– Похоже, что ситуация меняется, – сказал он, снимая трубку. – Убийством пока не пахнет – значит, я должен передать ваше дело в другой отдел. Есть у нас один человек, он может вам помочь... Боб, хелло... Да, это Крескил... Не зайдешь ли ко мне на минутку? Тут у меня одна леди, у нее проблема по твоей части... Послать ее к тебе?... Хорошо, сейчас она зайдет.

Повесил трубку и повернулся ко мне:

– Это направо по коридору, кабинет четырнадцать, сержант Дорелик. У него большой опыт в таких делах.

Он многим уже помог. Хотя, честно-то сказать, часто закон не на его стороне, а против него. Ему труднее, чем нам всем. Но он делает то, что может. Доверьтесь ему.

Роберт Дорелик встал мне навстречу, обошел стол, потряс мою ладонь, заграбастав ее обеими руками. Коротышка, с большой головой, вдавленной в плечи, как запавшая кнопка звонка. С седеющей шевелюрой, с улыбчивым оскалом

вставных зубов, с настойчиво вопрошающим взглядом.

Уселись. Я повторила рассказ о своих бедах и страхах. Слушая, он кивал, делал записи в блокноте, иногда ронял вопросы – довольно неожиданные. «Какое образование имеет ваш бывший друг?.. Живы ли его мать и отец?.. Был ли он на военной службе?»

Когда я кончила, Дорелик вскочил, покружил по кабинету. Уставил на меня толстый палец с кольцом и спросил с искренним недоумением:

– Ну вот, вы ведь, наверное, даже не знаете, что ваша история – одна из двух миллионов. Да-да: два миллиона женщин в стране каждый год оказываются жертвами этой разновидности преступной деятельности, а общего закона против нее еще нет. Кто может объяснить сию загадку нашей юстиции? Даже называют ее в разных штатах по-разному – «травля», «преследование», «выслеживание». Самого преступника я обычно называю «загонщик». Похоже, что вам достался загонщик упорный, ловкий, непредсказуемый. Но не отчаивайтесь. Отчаяние в таких ситуациях – самый главный враг. Позвольте я расскажу вам, какие у нас есть средства самозащиты и борьбы. И мы вместе подумаем, что можно и нужно предпринять в первую очередь.

Но вместо средств защиты он стал расписывать мне всякие жуткие истории, которые ему приходилось расследовать.

Как один псих звонил своей бывшей подружке, отвергшей его, днем и ночью, домой и на работу. А потом начал остав-

лять на ветровом стекле ее автомобиля увеличенные фотографии своего мужского органа в полной боевой готовности. А потом похитил ее любимого попугая и грозил свернуть ему шею, если она сама не приедет к нему, чтобы забрать. Птица орала в телефон, а он ломал ветку над мембраной, имитируя хруст костей.

А другой загонщик обвинял свою бывшую жену в том, что она колдовством устраивала ему несварение желудка. Он засыпал ее угрожающими письмами, подавал в суд. Психиатры взяли его на учет, но было поздно. Посреди очередного запора он подкараулил несчастную женщину на улице и застрелил ее. Суд вынес приговор: «невиновен по причине безумия». После пяти лет в психушке ему было устроено обследование. «Если бы вам довелось выйти на свободу, – спросили врачи, – могли бы вы совершить акт насилия по отношению к другому человеку?» – «Ни за что на свете!» – воскликнул пациент. «Почему вы так уверены?» – «Да потому, что больше никто не мучает меня колдовством. Запоры прекратились, желудок работает превосходно». И представляете – его выпустили!

А семидесятилетний владелец похоронного бюро избрал своей жертвой сорокалетнюю замужнюю даму и досаждал ей письмами, звонками и охапками цветов, украденных с могил. Уверял ее, что любит безмерно, что только с ним она будет счастлива. Муж? О, от мужа он ей поможет избавиться. Владея печью для кремации, он может превратить в пе-

пел любой труп, так что никто не найдет следов. Выяснилось впоследствии, что гробовщик и раньше занимался травлей-охотой за женщинами, одну даже пытался вытащить за волосы через открытое окно автомобиля. И что? Несколько раз стоял перед судьей, несколько раз получал условный срок, но ни дня не провел за решеткой. И каким-то образом из досье исчезли все упоминания о его прежних арестах.

– Все эти истории необычайно утешительны, – сказала я. – Но есть ли какие-то способы борьбы?

– Безусловно! – воскликнул Дорелик. – Прежде всего следует получить постановление судьи, так называемый охранный ордер, запрещающий загонщику приближаться к вам, звонить, писать и вообще каким-то образом нарушать покой и мирное существование – ваше и всех ваших близких. Если он нарушит такое постановление, это даст нам повод для ареста.

– Прекрасно. Я видела, что суд размещается в этом же здании. Можем мы пойти к судье прямо сейчас?

– Боюсь, что нет. На сегодняшний день у нас нет никаких доказательств того, что вы стали жертвой травли.

– Как «никаких»? А эпоксидная смола в замках автомобиля? А подписка на порнографический журнал? А ложный донос по телефону в полицию на моего мужа?

– Припаркованные автомобили веселая молодежь калечит каждый день. Подписка наверняка оплачена денежным переводом, адрес отправителя невозможно проследить и дока-

зять. Телефонный звонок – нужно провести громоздкую и дорогостоящую экспертизу по сравнению голосов, чтобы доказать их идентичность. И даже если это удастся, он будет стоять на своем: подслушал и доложил всю правду. А его адвокат тем временем подаст на вас в суд за клевету и разрушение репутации невинного человека.

– Что же делать?

– Нужна большая предварительная работа. И мы будем вести ее вместе. Прежде всего вы должны завести дневник.

– Я и так веду дневник.

– Нет, это должен быть особый, в виде специального протокола. Вот форма. Видите, в левой колонке вы пишете дату. В следующей – время дня. Далее – самая широкая – описание действия, совершенного загонщиком. Например: «Пошел на улице с угрожающим видом». Или: «Разбил стекло в окне дома». Или: «Лег под колеса моего автомобиля». Да-да, бывало и такое.

– Но судья резонно скажет мне: «Откуда я знаю, что вы не выдумали все это?»

– Вот! Вот именно! Поэтому так важно иметь и постоянно носить с собой фотоаппарат. Чуть он приблизится – вы щелк! – и он на пленке. А это уже документ. Загонщики очень не любят, когда их снимают. И запасите несколько кассет к телефонному ответчику. Если он оставит сообщение – это тоже улика. Сразу выньте кассету и храните ее с другими вещественными доказательствами.

– Другими? С чем, например?

– Загонщики любят оставлять всякие сувениры. Например, навяжет на ручку двери использованный презерватив. Или подбросит в незапертый автомобиль протухшую рыбину. Или собачьи какашки.

– Их я тоже должна сохранять?

– Непременно. В пластиковом мешочке или контейнере. Последняя колонка в протоколе – для перечня добытых улик. А перед ней – колонка для записи вашей реакции. Например: «Пригрозила судом», «Позвонила в полицию», «Воззвала к совести».

– Ну хорошо. Вот я накопила достаточно материала, чтобы обратиться к судье. И он?..

– Он вызовет загонщика для рассмотрения жалобы. Если тот явится, то скорее всего с адвокатом. И адвокат будет пускаться на всякие уловки, чтобы выставить своего клиента невинной овечкой. А то еще вас же и обвинит, заявит, что это, наоборот, вы преследуете своего бывшего друга, охотитесь за ним с фотоаппаратом и прочее.

– А если он не явится к судье?

– Тогда судья может удовлетворить наше ходатайство и выписать постановление, запрещающее загонщику преследовать вас.

– И тот подчинится?

– По-разному бывает. Есть такие упорные, что нарушают. Выйдут из суда и тут же берутся за свое. Но вы не пугай-

тес. Мы будем вести эту битву настойчиво и изобретательно. Главное – не впадайте в отчаяние. И не переходите от страха к самообвинениям. Жертвы травли часто доходят до того, что начинают винить во всем происходящем себя. Это неправильно. Я буду при каждой встрече напоминать вам. «Вы – жертва преступления и нуждаетесь в защите правосудия. А то, что соответствующего жесткого закона еще нет в кодексе нашего штата, – не ваша вина, а позор наших законодателей».

Сержант Дорелик снова был сама приветливость, участие, доброта. Снова сжимал мою ладонь двумя руками, скалился вставной челюстью. Я уже была в дверях, когда он крикнул мне вслед:

– Вернувшись домой, первым делом позвоните мне и оставьте фамилию и телефон своего дантиста.

– Зачем?

– Он наверняка ведь хранит рентгеновские снимки ваших зубов. Они могут очень помочь при опознании трупа.



## 13. ТРИ ПАТРОНА

– В сущности, они предлагают тебе усвоить его методу, – сказал Павел Пахомович. – Сделаться загонщицей загонщика. Так же подкарауливать, фотографировать. Расставить капканы вокруг дома, вырыть волчьи ямы. Кстати, не пора ли тебе обзавестись пистолетом? Законная самооборона, присяжные оправдают.

Павел Пахомович последнее время дымит сарказмом. Особенно его бесит постоянный рост разрешенного и хорошо оплаченного вранья. Врут торговцы, страховальщики, водопроводчики, журналисты, политики, врачи. Я не думаю, что вранья стало больше – просто раньше он умел не замечать его. Теперь же какой-нибудь конверт с надписью «Поздравляем! Вы выиграли миллион!» доводит его до бешенства. Каждый ярлык с ценой, кончающейся двумя девятками, вместо честных двух нулей – заманивают экономией на цент! – выглядит для него личным оскорблением. Глядя свои любимые передачи «Из зала суда», он выключает звук, когда начинает говорить адвокат.

Мою историю он принимает очень близко к сердцу. «Задушил бы своими руками, – говорит он про Глеба. – А еще лучше – гитарной струной». В библиотеке нашел книгу про знаменитого загонщика, который избрал своей жертвой молодую киноактрису, заставил меня прочесть. «Читай как

учебник, как инструкцию. Ведь этот тип тоже казался всем нормальным, никто не ждал, что он может выкинуть такое».

Загонщик, описанный в книге, жил не только в другой стране – в другом полушарии. Но увидел актрису на экране и решил – вот моя судьба! Собрал – накопил – немного денег, откладывая из своего пособия по безработице, приехал в Америку и начал розыски. Причем делал это очень ловко, используя всякие справочники, какие были в библиотеках. Звонил агенту актрисы, притворялся корреспондентом из Европы, который хотел бы взять интервью. Звонил также ее матери, уверял, что привез подарок от подруги, но потерял адрес. Экономил на еде, ночевал на автобусных вокзалах, умывался в общественных туалетах. Добрался до Калифорнии и там выследил, вынюхал адрес актрисы.

Нет, он не надеялся завоевать ее любовь. Он был нищим, безвестным, глубоко одиноким. Он хотел слиться с ней по-другому: убить ее и быть казненным за это убийство. В его бумагах потом нашли письмо – инструкцию американским властям, как именно должна быть обставлена его казнь. Да, он хотел уйти из жизни, но презирал самоубийство как жалкий и недостойный акт. Публичная казнь – совсем другое дело. Его любимый герой – узник тюрьмы Алькатрас – был повешен за участие в тюремном бунте. И он просил, чтобы его казнили точно таким же образом.

Агент актрисы почувствовал отголоски безумия в речах загонщика, звонил ей, предупреждал, просил сменить адрес.

Актриса жила в страхе перед неведомой угрозой. Муж старался не оставлять ее одну, встречал и провожал. Но в то тихое летнее утро она шла к своему автомобилю одна. Загонщик выпрыгнул из-за угла, схватил ее левой рукой. В правой у него был нож, которым он начал наносить ей удары в грудь и шею.

Видимо, она отбивалась отчаянно. Вырвалась, побежала, оставляя кровавый след. Он догнал ее, повалил. На счастье, это увидел смелый и сильный прохожий. Он оторвал загонщика от жертвы, вырвал нож, скрутил. Люди видели все это из окна, звонили в полицию. «Скорая помощь» и полицейские примчались почти одновременно.

Врачи сделали чудо, спасли актрису. Но на это ушло чуть ли не два года, потребовалось пятнадцать операций. Все равно, она была искалечена, остались шрамы. Карьера ее была кончена.

Я не хотела дочитывать книгу, не помню, чем кончился суд. Так как убийство не было доведено до конца, красивый сюжет оказался разрушен – смертный приговор и казнь отпали. Загонщик был страшно разочарован. Винил дешевый нож, который согнулся от ударов о кости. Но категорически запретил своему адвокату использовать на суде аргумент «временное помешательство». Нет, он все спланировал разумно, действовал целеустремленно, в ясном уме и памяти. Слово «безумие» не должно даже упоминаться.

Однако оказалось, что в свое время он был на учете у пси-

хиатров и подвергался лечению. В своей далекой Шотландии, в свои пятнадцать лет, загонщик был нормальным молодым человеком. Много читал, проявлял способности, поставил в школе спектакль. Единственное, что его тревожило: никак не мог одолеть тягу к мастурбации. В какой-то момент даже подумывал о том, чтобы подвергнуться кастрации. Ведь его учили, что мастурбация неизбежно ведет к помешательству. Этот столетний миф тогда еще свято исповедовался психиатрами во всем мире, вбивался людям в головы. Он решил обратиться за помощью к врачам. Врачи предложили молодому человеку лечь в клинику для лечения. Веря в науку и прогресс, мальчик согласился. Лечение состояло в том, что его начали подвергать электрошокам. Чуть не каждый день. В течение двух или трех месяцев. В перерывах погружали в коматозное состояние при помощи инсулина. Потом возвращали к жизни. Больничный журнал скрупулезно протоколировал хронику этих пыток. Каким образом молодой человек остался в живых? Сохранил способность двигаться, читать, вести конспекты прочитанного? Неясно. Так или иначе, выйдя из больницы, он продолжал жить, перебиваясь случайными работами, получал пособие по безработице. Проводил дни в библиотеке, прочитал гору книг об Америке, влюбился в эту страну и, когда приехал в нее, ухитрился даже записаться в американскую армию и прослужить несколько месяцев. (В конце был выгнан за строптивость и непослушание.)

– Итак, человек может оказаться в тюрьме за продажу щепотки марихуаны, – кипятился Павел Пахомович. – А психиатру, который искалечил пациента на всю жизнь, не будет даже предъявлено обвинение. Как мы можем уважать такие законы? И твой Глеб ведь тоже – ты рассказывала – побывал в руках у психиатров.

– Нет, он просто прятался в психушке от армии.

– Золотко мое, а может быть, и тебе сменить адрес? Или уехать хотя бы на время? Ты же видишь, на что он способен.

– Сменить адрес? Как вы это себе представляете? Продать дом? Как я объясню это мужу? Сознаться во всем? Он кинется душить Глеба и сам попадет за решетку.

– Ты говорила, что у Додика скоро полугодовой отпуск. Вот и поезжайте вместе в кругосветное плавание.

– Да? И каждую ночь просыпаться в каюте с мыслью: а что этот псих планирует против Марика? Он сделал моих близких заложниками, и я повязана по рукам и ногам.

Мои близкие. Я по привычке произносила эти слова, но они как-то незаметно утрачивали смысл. Стена страха и умолчаний отделила меня от мужа и сына. Они стали для меня *дальними*, переместились в запретную зону, за ворота из колючей проволоки с надписью «Не входить!». Я чувствовала себя бесконечно одинокой. Часто вспоминала мать, оставшуюся – оставленную нами – в России. Вот кто хлебнул одиночества полной мерой.

Пять лет назад ей удалось приехать, навестить нас. Она мало изменилась. Держалась все так же прямо, по лестнице поднималась легко, уверенно стучала каблучками. Мы все трое по очереди вырывали время, чтобы показать ей местные красоты, покатать по окрестностям. Она послушно задирала голову на небоскребы, покупала открытки со статуей Свободы и с Бруклинским мостом. Но не восхищалась, не ахала. «Ее ничем не удивишь, – жаловался Марик. – Она ни о чем не спрашивает. Взглянет, кивнет и топает дальше. Будто делает тебе одолжение».

Только один раз она пришла в настоящий восторг – когда мы с ней заехали помыть автомобиль. Резиновые полосы на въезде в автомойку шатались и извивались нам навстречу, как щупальца гигантского осьминога. Струи мыльной воды ударили во все стекла, свет померк. Мать прижала ладони к щекам, начала смеяться, как девочка, попавшая в страшную сказку. «Во чреве кита, – повторяла она. – Мы во чреве кита!» Радио заливало наш маленький батискаф грозными звуками шубертовской «Неоконченной». Когда нас вынесло обратно на свет, мать хлопала в ладоши и просила: «Еще! Еще!»

И конечно, книжные страсти бурлили в ней по-прежнему. Нагнув голову на одно плечо, она медленно двигалась вдоль полок нашей домашней библиотеки, ошупывала корешки, выковыривала томик за томиком и потом уходила в свою комнату со стопкой добычи. Выбирала, по большей ча-

сти, то, что в России было еще запрещено, недоступно. Из своего привычного, упорядоченного книжного королевства она словно попала в какой-то вертеп печатного беззакония, на пиратский остров бесцензурного разгула. Но не пугалась, не возмущалась. Я украдкой просматривала пачку томов на столике у ее кровати, не всегда понимала отбор.

– Мама, ты второй раз начала «Приглашение на казнь». Так понравилось?

Она честно задумалась, потом сказала чуть смущенно:

– Он там такой одинокий в своей камере. Одиночество мало кому удавалось хорошо описать. А это – важная наука. Я бы могла сесть и накатать диссертацию одним махом. Стала бы профессором одиночества, лекции с двух до четырех. Скорее всего – в пустом зале.

Она произнесла это без упрека, скорее задумчиво. Но моя старинная ранка вины мгновенно засвербела, сбросила засохшую корочку, пошла кровоточить. И все оставшиеся до ее отъезда дни я постаралась провести с ней. Возила на яблочный фестиваль, на ярмарку посуды и «ювелирии», в греческий ресторан, в дома-музеи американских писателей, живших в наших краях.

А через полгода из России пришла невероятная весть: моя мать снова вышла замуж за моего отца. Он к тому времени овдовел, дети выросли и разъехались. Тоже, наверное, успел заработать диплом в школе одиночества. Они прислали фотографии свадебного путешествия – на корабле, по Енисею.

Я была счастлива и даже немного горда за них. Но и любопытство разбирало. Что они нашли после тридцати лет разлуки? Совсем нового человека? «Я встретил вас, и все бывшее в отжившем сердце ожило»? Или это была не разлука, а посланный судьбой – нужный им – отдых друг от друга? «Одиссей воротился, пространством и временем полный...»

Да, отдых, отдохнуть... Вырваться хоть на время из тисков унижительного страха – это стало моей навязчивой мечтой. Но отдыха не было. Атаки продолжались одна за другой. Я честно пыталась вести их учет в блокноте, расчерченном по инструкции Дорелика.

15 марта, восемь вечера. Раздался телефонный звонок. Незнакомая женщина игривым тоном предложила встретиться в ресторане. Я спросила, откуда она взяла мой телефон. Она сказала, что из объявления в журнале для одиноких. Прочла текст: «Разочарованная замужеством, чувствительная, приветливая интеллектуалка хотела бы расширить горизонты любви, дать выход своей давнишней тяге к женщинам». На следующий день я с трудом отыскала телефон и адрес журнала (конечно, почтовый ящик). Позвонила. Ответил автомат. Я записала на ответчик категорическое требование убрать объявление. Но как я могу проверить?

17 марта, девять утра. Выходя из дому, обнаружила на



крыльце белку, раздавленную автомобилем. К лапке была привязана записка по-английски: «Ах, как коротка оказалась жизнь!» Записку сохранила, хотя какой прок, если она напечатана на компьютере? Но должна ли я хранить белку? И как? В морозильнике? (Спросить у Дорелика.)

21 марта, вечер. Наш завкафедрой делал доклад на семинаре в городском университете. Я пошла послушать. Там открытый гардероб, каждый оставляет пальто внизу на вешалке. По окончании семинара спустилась вниз, надела пальто. Что-то звякнуло в кармане. Я пошарила и извлекла три настоящих патрона, видимо к пистолету. Мне скажут, что их мог подбросить кто угодно. Но я-то знаю, кто это сделал. Всю дорогу до метро бежала. Патроны сохранила.

24 марта, полдень. Звонок в дверь. Выглядываю сначала в боковое окно. У дома стоит фургон с надписью «Электроремонт». На крыльце – два ремонтника в форменных комбинезонах. «Вызывали? – Нет. – Как нет? Это ваш адрес и номер телефона? – Наш. – Двадцать минут назад звонил мужчина, сказал, что дымится проводка. – Это ошибка. – Слушайте, леди, мы знаем эти трюки. Клиент звонит в панике, но через пять минут сам находит неисправность и чинит. Мы отложили другие вызовы, спеша спасти вас от пожара. Это будет стоить вам девяносто долларов». Если бы я стала спорить, они начали бы высылать счета, которые могли попасть

на глаза моему мужу. Мне пришлось заплатить. Квитанцию сохранила.

25 марта, утро. Снова раздавленное животное на крыльце. На этот раз – енот. Видимо, был подброшен ночью. Надо будет разузнать, какие существуют системы сигнализации против непрошенных визитеров. Сфотографировала енота полароидом, прежде чем убрать в мусорный бак.

29 марта, вечер. Позвонила соседка, попросила разрешения зайти. Пришла и в смущении положила на стол конверт: «Это было в моем почтовом ящике». Я открыла конверт, извлекла страничку с фотографией. Обнаженная девушка возлежала на атласной кушетке. Под картинкой была подпись: «Как раз сегодня я свободна – не упустите счастливый шанс». След ножниц на шее был почти незаметен. Но все равно мое лицо, приклеенное к прелестному телу, выдавало подделку. Морщины, бледность, усталость... «Конверт без марки, – сказала соседка. – Значит, кто-то должен был подбросить его рукой. Мог и в другие ящики тоже».

2 апреля, вечер. Звонок от сына, очень сердитый. «Хочешь знать, что я получил сегодня по почте? Смету из похоронного бюро. Стоимость гроба, цена места на кладбище, рытье могилы – все расписано. Если мои родственники захотят гроб подороже, сейчас как раз удачный момент – на них

предоставляется скидка 30%. Так что все вместе обойдется в какие-нибудь шесть тысяч – сущие пустяки. Я позвонил в бюро – они ответили, что заказ на смету получили по телефону и вот послали по указанному адресу. Да, мое имя, все правильно. Случайно не знаешь, чьи это шутки?»

Смета из похоронного бюро меня добила. Я помчалась к сержанту Дорелику. Он просматривал мои записи, втягивал голову в плечи, цокал языком – то ли в изумлении, то ли почти в восхищении.

– Три патрона – такого я еще не встречал! Какая выдумка, какое воображение. Намекает, что по одному на каждого из вас троих.

– Офисэр Дорелик, я хочу, чтобы мы немедленно пошли к судье. Я напишу жалобу по всем правилам, пусть он примет меры. Тянуть так дальше у меня нет сил.

– Понимаю, понимаю ваши чувства. Соболезную всей душой. Но судите сами – с чем же мы пойдем? Загонщик вам достался такой коварный, видимо с большим опытом. Умеет бить в больные места, а сам остается в тени. Взгляните сами: во всей вашей хронике его просто нет. Ни записки, обращенной к вам, ни фотографии, ни пленки с голосом.

– Вы сами мне объясняли, что, даже если бы он позвонил, записывать телефонный разговор – противозаконно.

– Но если бы хоть какую-то фразу он оставил на автоответчике! А то ничего – человек-невидимка.

– Все равно, так жить я больше не могу. Нервы мои на пределе. Если вы ничего не предпримете, что бы ни случилось, ответственность ляжет на вас.

Страж закона укоризненно затряс головой, развел руки – я ли не сделал все, что мог? Но потом протер морщины на лбу ладонью и несколько раз кивнул:

– Ну хорошо. Будь по-вашему. Я напишу докладную записку судье. Постараюсь изобразить ситуацию как срочную и взрывоопасную. Посмотрим, что он скажет.

И вот три дня спустя мы сидим перед судьей Кларком-младшим. Гусиный нос, гусиная шея, гусиный пушок на лысой голове судьи создают иллюзию маскарада: да, вот вырядился водоплавающей птицей и только на пальцы забыл натянуть перчатки с перепонками. Он долго листает бумаги, лежащие перед ним, брезгливо заглядывает под обложку скоросшивателя. «И это всё?»

– Офисэр Дорелик, придите мне на помощь. Возможно, я что-то проглядел, пропустил. Или в вашей докладной склеились страницы с важной информацией. Где перечень угрожающих слов и действий, приписываемых подозреваемому?

– Видите ли, ваша честь, данный подозреваемый достаточно хитер и опытен, чтобы дать поймать себя на прямых угрозах. Он действует издалека, пользуется обходными тропинками. Затаится в засаде, поймает жертву в перекрестье прицела, нажмет на курок и исчезнет.

Судья оттолкнулся от стола, проехал в кресле к книжным полкам, вытащил нужный том.

– Позвольте мне напомнить вам, как мудрые законодатели нашего штата сформулировали недавно принятый ими закон против этого вида преступной деятельности. «Человек, который умышленно, злонамеренно и многократно запугивал и преследовал другого человека, вызывая в нем оправданные опасения за свою жизнь и покой или за жизнь и покой его близких, является нарушителем закона». Какое слово в этой формуле кажется вам ключевым?

Дорелик утопил свою голову-кнопку в плечи, развел руками:

– «Запугивал»? «Злонамеренно»?

– А по-моему, нет. По-моему, ключевым являются слова «оправданные опасения». Почему? Да потому, что миллионы людей в нашей стране подвержены всевозможным фобиям. Один боится дурного глаза, другой – курильщиков, третий – чернокожих, четвертый – китайцев, пятый – полицейских, шестой – всех перечисленных выше. Мания преследования – самый распространенный вид психических заболеваний. Теперь представьте себе, что начнется, если мы станем реагировать на жалобы каждого больного. Если начнем вызывать в суд всех, на кого они нам укажут. Вместит этот маленький зал всех обвиняемых и их адвокатов?

За все время разговора гусиная голова ни разу не повернулась в мою сторону. Видимо, Кларк-младший в душе уже

вынес мне приговор: не жертва преступных домогательств, а психически больная.

– О, я очень хорошо представляю, что скажет адвокат вашего подозреваемого. «Какие улики имеются у вас против моего клиента? На каком основании вы позволили себе прервать его мирную жизнь, напугать вызовом в суд, бросить пятно на его репутацию? Показания этой женщины? А мой клиент утверждает обратное: что это она преследует его, она отравляет ему жизнь». Помните, полгода назад в похожей ситуации адвокат подозреваемого подал на вас в суд за клевету? Есть у вас гарантия, что в данном случае это не повторится?

– Гарантии нет. Но я готов пойти на риск. Ибо вижу, что преступник почти добился своей цели. Жертва его лишена возможности вести нормальную жизнь, она дошла до предела своих сил.

Судья впервые посмотрел на меня, и в его птичьих глазах загорелось что-то похожее на сочувствие.

– Дорогая миссис Армавилов, поверьте, я не бездушный законник и буквоед, каким могу показаться. Вполне готов допустить, что ваша ситуация крайне тяжела для вас. Но руки у меня связаны. Даже если сержант Дорелик сумеет собрать достаточно улик против вашего загонщика, максимум, что я могу сделать, – выписать так называемый охранительный ордер. В нем будет указано, что такому-то запрещается вступать в контакт с вами и вашими близкими, то есть писать

письма, звонить, приближаться на расстояние пятьдесят ярдов и прочее. Если он нарушит эти предписания, ему может грозить арест. Но люди этого сорта не боятся закона. Часто для них прийти в суд – удовольствие. Ибо это новая возможность оказаться лицом к лицу со своей жертвой, упиться ее страхом, заставить ее вступить в общение.

Дорелик вздыхал, кивая, приглаживал свою седую шевелюру.

– А если их арестуют, – продолжал судья, – их адвокат пойдет на сделку с прокурором: «Мой клиент частично признает свою вину и за это получит условный приговор, будет выпущен без залога». Крайне редко этот вид преступлений карается тюремным сроком. Но ваш-то загонщик ухитрился довести вас до отчаяния, не вступая в прямой контакт. Нет ни писем, ни звонков, ни прямых угроз. Что я могу запретить ему?

– Запретите ему делать подлости.

Я сказала это рассеянно, думая о другом. Но судья Кларк-младший вдруг взбеленился. Гусиная голова нацелилась на меня острым клювом, зашипела:

– О, это мне знакомо! Вечная ваша мечта. Чтобы самим можно было куролесить, беззаботно порхать, дразнить поклонников, заводить романы. И хорошо бы с кем-нибудь экстравагантным, непредсказуемым. Ах, как славно отдохнуть от добродетельного супруга, попробовать остренького. А когда непредсказуемый покажет свой оскал, прыг-скок –

укрыться под охрану писаного закона. Защищайте нас! Это ваша обязанность! Придумайте закон против подлости. И против жестокости. И против лжи и лицемерия. И против клеветы и тиранства. Так вот – не будет этого! Потому что все эти законы давно приняты. Называются: законы морали. Исполняются порядочными людьми. Вам они слишком тесны, утомительно их соблюдать? Вот и получайте свое наказание. А у нас и без вас работы выше головы. Нам бы справиться с бандитами, ворами, убийцами, грабителями – того и довольно. А ваши проблемы... Он махнул рукой.

В глазах у меня так щипало, что я с трудом нашла дверь из кабинета судьи. Дорелику пришлось взять меня за локоть, подтолкнуть. Он шел рядом со мной по коридору, совал в руку какой-то лист бумаги, пытался объяснять:

– Вот... Я составил список... Первоочередные меры безопасности... В доме установить двери, обитые металлом... Световая и звуковая сигнализация... Не открывать пакеты, присланные неизвестными отправителями... К телефону присоединить аппарат, опознающий звонящего... Если решите обзавестись оружием...

Да, мысль об оружии уже несколько раз приходила мне в голову. Но не для самообороны. Раньше у меня бывали моменты – если я слышала о чем-то самоубийстве, то спрашивала себя: способна ли я на это? Что должно случиться в моей жизни, чтобы я решилась прервать ее? Задумывалась – и



не могла придумать, вообразить.

Теперь же как-то легко и естественно начала сживаться, сливаться с такой возможностью. Почему бы и нет? Вспоминала всех знаменитостей, добровольно ушедших из жизни, сравнивала мотивы. Из литературных самоубийств самым загадочным мне всегда казался случай Маяковского. Я даже начала письмо к нему – но не закончила. Не пора ли сесть и дописать? Ведь теперь я лучше понимаю, что такое отчаяние. Да-да, дописать, пока еще есть время. Неизвестно, много ли его у меня осталось.

# ПИШУ МАЯКОВСКОМУ

Громогласный горлан, пламенный агитатор, бронзовый и железный Владимир Владимирович!

Никогда бы не решилась писать Вам, если бы Вы первый не обратились ко мне с посланием. «Слушайте, товарищи потомки!» – это ведь адресовано и мне тоже. Вам интересно, каким мы видим Вас через «громаду лет»? Не человеком, нет. Скорее – взрывом.

Что можно сказать о взрыве много лет спустя? Проанализировать по обломкам механизм бомбы, величину заряда, состав взрывчатки? Перечислить поименно погибших? Попытаться отыскать заговорщиков, подложивших Вас на извилистую дорогу российской истории?

Что скрывать – в юности и я была зачарована Вашим голосом, Вашим зовом. Я заучивала наизусть Ваши строчки, я читала их с трибуны в школьном зале и видела, как безотказно загорались глаза одноклассников, как самый воздух начинал вибрировать и позванивать в унисон джазовому ритму стихов:

Вправо, влево, вкривь, вкось,  
выфрантив полей лоно,  
вертелись насаженные на земную ось,

карусели Вавилончиков, Вавилонищ, Вавилонов.

Над ними – бутылки, восхищающие длиной,  
под ними – бокалы пьяной ямой.

Люди или валялись, как упившийся Ной,  
или грохотали мордой многохамой.

В те годы Ваше дерзкое панибратство – противоборство – с Богом, с Солнцем, с Везувием еще не коробило – наоборот, восхищало. Простая марксистская формула, объяснявшая причины войны – «развязана империалистами в погоне за наживой», – преобразованная чудом поэзии, врезалась в память надолго:

Врачи одного вынули из гроба,  
чтобы понять людей небывалую убыль:  
в прогрызенной душе золотопальцем микробом  
вился рубль.

Но потом, взрослея – читая по-новому – сопоставляя стихи с событиями тех лет – заглядывая в мемуары современников, – я замечала, что Ваш образ темнел и темнел для меня с каждым годом. За прошедшие десятилетия были опубликованы сотни статей и книг – исследований-расследований Вашей жизни и творчества. И при всех различиях они сходятся на одном: что взрывчатка была высокого качества, замешанная на первосортной, хорошо отстоявшейся ненависти.

В русском языке есть много выражений, описывающих страдания любви: «сердце истомилось», «душа по нему иссохла», «стыдом и страхом замираю». Но нет такого выражения – «муки ненависти». Да и страдал ли кто-нибудь когда-нибудь от ненависти? Похоже что нет. Ненависть всегда – где-то на грани с восторгом. Она – великий освободитель. Ее огонь выжигает сомнения, укоры совести («они! они – ненавистные – во всем виноваты!»), сожаления о содеянном, сострадание. И Вы, Владимир Владимирович, честно и упорно разжигали ее в своей душе и в душах ваших читателей.

О, как Вы умели – и любили – ненавидеть! Буржуев и белогвардейцев, министров и полицейских, попов и кулаков, нэпманов и бюрократов, а главное – обывателей, не ценящих Поэта. Призывами к насилию, к погрому, к бессудным убийствам переполнен каждый том собрания сочинений:

Чтоб флаги трепались в горячке пальбы,  
как у всякого порядочного праздника, —  
выше вздымайте, фонарные столбы,  
окровавленные туши лабазников.

Или:

Пули, погуще!  
По оробелым!  
В гущу бегущим  
грянь, парабеллум!

Не ценят меня? Так я ж им плюну в рожу тут же, на вы-  
ступлении!

Через час отсюда в чистый переулок  
вытечет по человеку ваш обрюзгший жир.  
А я вам открыл столько стихов-шкатулок,  
Я – бесценных слов мот и транжир.

Еще Некрасов называл свою злобу «спасительной». Похо-  
же, и для Вас она была таким же мощным источником ду-  
шевной энергии.

Горы злобы аж ноги гнут.  
Даже шея вспухает зобом.  
Лезет в рот, в глаза и внутрь.  
Оседая, влезает злоба.

Нет, Вы не останавливались на классовых врагах и оскол-  
ках эксплуататорского прошлого. Старое искусство тоже  
подлежало уничтожению.

Белогвардейца найдете – и к стенке.  
А Рафаэля забыли? Забыли Растрелли вы?  
Время пулям по стенам музеев тенькать.  
Выстроили пушки по опушке,  
глухи к белогвардейской ласке.  
А почему не атакован Пушкин?

А прочие генералы классики?

Почти все стихи – зарифмованные декларации. Но и в декларациях прозаических, в манифесте футуристов – тот же погром и беспощадность и донос в ВЧК:

«Всякое искусство в революционной стране – не считая футуризма – имеет тенденцию стать или уже стало, или на путях к становлению – контрреволюционным».

Ненависть – ходкий товар. Уверена, что успех и популярность Ваших стихов – столь трудных для восприятия – на девяносто процентов обеспечивались крепким наркотиком ненависти, сочившимся из них.

Уже ничего простить нельзя.

Я выжег души, где нежность растили.

Это труднее, чем взять  
тысячу тысяч Бастилии!

«Выжег души» – вот уж есть чем гордиться.

А как Вы – Поэт – могли опуститься до прославления палачей из ГПУ? «Солдаты Дзержинского» – наверное, им нравились Ваши дифирамбы, укрепляли их веру в необходимость уничтожения «врагов и вредителей». А ведь Ваш друг-сожитель, Ваш напарник в супружестве, Осип Максимович Брик, проработавший в ГПУ четыре года (1920—1924), рассказывал Вам не раз о пытках, свидетелем которых ему доводилось быть в бессонном учреждении. И эта Ваша дружба

с Яковом Аграновым, которого в Вашем доме ласково именовали Яня и Аграныч. Не могли же Вы не знать, что его кровавая карьера началась с того, что он сочинил, спровоцировал и довел до расстрельного конца «дело Таганцева» в 1921 году? То есть был прямым убийцей Гумилёва.

«В ночь на 25 августа был казнен 61 человек, из них 16 женщин... Говорили, что грузовик, в котором везли Гумилёва и других приговоренных, по пути сломался, и им пришлось стоять в кузове, дожидаясь, когда его починят. Почти все казненные были молоды: больше половины из них были в возрасте от 19 до 30 лет... Убивали семьями... О вине жен сообщалось: „сообщница во всех делах мужа“. Осиротевших детей отправили в специальные детприемники».

Вы же в этом году нападаете главным образом на «прозаседавшихся», на мещан с канарейками, требуете полной уплаты налога и грозите отнять у недоплативших всю зарплату. «Скорей канарейкам шеи сверните, чтоб коммунизм канарейками не был побит»! Но сами при этом дарите Лиле Брик клетку именно с канарейкой (самопародия?), и она своими трелями украшает Ваш «новый коммунистический быт».

Да, срифмовать «не надо» и «на дом» – удачная находка. Но кто может сегодня поверить, что, «кроме чисто вымытой сорочки», Вам ничего было не надо? Это Вам-то, катавшемуся по нэпманской Москве в собственном автомобиле с собственным шофером? Разъезжавшему по заграницам с «мо-

лоткастым, серпастым» паспортом и с карманами, набитыми валютой, которой снабжали Вас друзья-чекисты? Спускавшему тысячи франков, долларов, песо за игорным столом? Привозившему друзьям и родственникам подарки по длинному списку, а возлюбленной Лиле Брик – даже неправдашний автомобильчик «рено» («ах, такая жалость, что не «форд»!).

И когда, уже в эмиграции, мне довелось прочесть горький некролог Ходасевича о Вас, я вынуждена была согласиться почти с каждым словом. «Маяковский дал улице то, чего ей хотелось. Богатства, накопленные человеческой мыслью, он выволок на базар и – изысканное опошлил, сложное упростил, тонкое огрубил, глубокое обмелил, возвышенное приунизил и втоптал в грязь».

Да, я соглашалась с этим приговором, но облегчения он не приносил. Так жалко было расставаться с пушкинской мечтой: «гений и злодейство – две вещи несовместные». Так жалко было утратить еще одну любовь юности. Да и главный парадокс, главное противоречие Вашей судьбы не давало покоя. Как же так: прислуживал кровавой неправой власти, был осыпан милостями и наградами, достиг всего, о чем мог и о чем не мог мечтать подсоветский человек, а потом взял и застрелился. Да и примеривался к самоубийству все последние пятнадцать лет своей короткой жизни. Уже в поэме «Флейта-позвоночник» (1915):



Все чаще думаю —  
не поставить ли лучше  
точку пули в своем конце.

Почему? Чего не хватало?

Однажды я смотрела по телевизору передачу «Из зала Нью-Йоркского суда». Слушалось дело об убийстве пятидесятилетней женщины. Она была зверски забита в своей квартире каким-то тяжелым тупым предметом. Вся мебель в столовой и кухне была забрызгана кровью. Подсудимый вяло отвечал на вопросы прокурора, подтверждал, что да, вот этим самым – чистая карамазовщина! – бронзовым подсвечником. Убитая была его теткой, жившей на том же этаже, что и он, и сильно донимавшей его попреками, насмешками, нравоучениями. Зачем убил? А вот чтоб не изводила, не приставала. Довела.

Адвокат напирал на непредумышленность преступления, на отсутствие корыстных мотивов. Истерический порыв, тяжелое детство, дурное влияние сверстников. Обвиняемый иногда ронял слезу, слушая сагу своих злоключений. Он был острижен наголо и чем-то напоминал Ваши фотографии, сделанные Родченко. Разница была лишь в том, что мальчику в момент преступления было четырнадцать лет.

Эта цифра и это лицо запали мне в память. И к ним вскоре прицепились строчки из Вашей поэмы «Люблю». Те, в кото-

рых описывается, чем и как Вас приворожила Лиля Брик:

Пришла – деловито, за рыком, за ростом,  
взглянув, разглядела просто мальчика.  
Взяла, отобрала сердце и просто  
пошла играть – как девочка мячиком.

И тогда меня вдруг осенило!

Да, я не могу оправдать поэта и человека Маяковского – все еще дорогого мне – в глазах потомков. Но что я могу сделать: доказать с фактами и цитатами в руках, что до последнего часа, до пули в сердце, он оставался неисправимым, неизлечимым подростком, «просто мальчиком», а потому может надеяться на снисхождение, которое во всех судах оказывают несовершеннолетним.

В течение нескольких месяцев я собирала и сортировала материалы. То, что следует ниже, есть, по сути, заключение филологического судебного эксперта, ставящего целью определить возраст «подсудимого», того самого, который обещал явиться на суд потомков, неся над головой «все сто томов своих партийных книжек».

## **ВОССТАНИЕ ПРОТИВ ВЗРОСЛЫХ**

Бунтующий подросток – как это знакомо! И из литературы, и из фильмов, и – увы! – так горько, так порой непред-

сказуемо кроваво – из жизни. Против чего они бунтуют? Что мы им сделали? Почему они убегают из дома? Почему сбиваются в шайки и банды? Почему стреляются, вешаются, выбрасываются из окна? Почему берут ружье и палят наугад по одноклассникам, по учителям, по автомобилям на шоссе? Почему?

Да потому, что они – она – он – изнемог под оковами всех *нельзя*, которыми его окутывает мир взрослых. Нельзя пропускать школу, в которой так скучно, нельзя гонять мяч по мостовой, нельзя брать без спросу чужое – а так ведь хочется! – нельзя обманывать, нельзя запустить камнем в стекло, нельзя обижать маленьких, нельзя показать язык учителю, нельзя поджечь сарай с дровами – а так бы славно горел! – нельзя проколоть шины автомобилю – а так бы славно шипели!

Но это все «нельзя» для всех – для младших и старших. А есть еще длинный список «нельзя», которые только для тебя, а им – взрослым тюремщикам – можно! Им можно курить, пить водку, садиться за руль и мчаться куда глаза глядят, швырять деньги в ресторане, уединяться с красотками в спальне, наряжаться в модные костюмы и платья. Кому по силам все это стерпеть?

И тут вдруг наступает счастливый просвет. «В терновом венце революций грядет шестнадцатый год». (Ошибся ведь всего на два месяца!) И старый мир – мир взрослых – начинает колыхаться! Стены твоей тюрьмы *Нельзя* дают трещи-

ны, решетки вылетают из окон, стража разбегается. И твоя смутная, глухая ненависть вдруг получает благородное классовое оправдание, научно-марксистское благословение. Ну как тут не возликовать, не присоединиться, не схватиться за маузер, за пулемет «максим», за трехлинейку?

Столь ценимый Маяковским собрат по перу, Велимир Хлебников, просто объявил войну «старшим возрастам»:

«Вот слова новой священной вражды!.. Пусть возрасты разделятся и живут отдельно!.. Пусть те, кто ближе к смерти, чем к рождению, сдадутся! Падут на лопатки в борьбе времен под нашим натиском дикарей!.. Государство молодежи, ставь крылатые паруса времени!»

А разве не видим мы того же самого сегодня, во всех концах земли? Дети, вооруженные автоматами Калашникова, выгоняли взрослых и стариков из городов Камбоджи на верную гибель в полях под открытым небом. Дети, опоясанные пулеметными лентами, брели в джунглях Перу и Никарагуа, в горах Кубы и Боливии. Мальчики и девочки учатся обращаться с взрывчаткой в тайных лагерях тамиллов на Цейлоне. (Запомнился эпизод кинохроники: девочка в форме, потерявшая в бою руки, учится бросать гранату ногой.) Иранские мальчишки получали пластмассовый ключик от дверей рая и брели через иракские минные поля, расчищая – взрыв за взрывом – дорогу танкам. Палестинские, чеченские, афганские подростки обвязывают себя динамитными шашками и взрывают автобус, кафе, вагон поезда. Запасы подростковой

ненависти неисчерпаемы – нужно только уметь извлечь ее и превратить в извержение, в горящую струю революционного огня.

И можем ли мы обвинить певца, который сам никого не убивал, а только воспел стихию, разбушевавшуюся у него перед глазами? Ею были заморожены и взрослые поэты: Блок, Мандельштам, Цветаева, Пастернак, Платонов. Велик ли спрос с таких несовершеннолетних, как Маяковский, Хлебников, Есенин?

## «ТЕЛО ТВОЕ ПРОСТО ПРОШУ...»

Как беззастенчиво, как откровенно это сказано в стихах. Но как трудно – почти невозможно – сказать это в жизни. Подросток в своем любовном влечении всегда обостренно жаден и в то же время блудливо опаслив. Нет, он не столько боится родителей, которые накажут, милиционера, который арестует и обвинит в изнасиловании, братьев девушки, которые отомстят, сколько той ловушки несвободы, которая подстерегает каждого влюбленного. Раньше твоя неволя была очерчена только внешними стенами *Нельзя*, а теперь добавляется еще цепь, протянутая прямо в сердце. Что же делать? Остается только одно – полностью подчинить себе ту, которая держит в нежных пальчиках свободный конец цепи.

Все красавицы, подвергавшиеся любовным атакам Маяковского, рассказывали потом о его неодолимой напористо-

сти. Он то осыпал цветами и подарками, то грубил, угрожал, требовал уйти к нему насовсем, бросив все – семью, службу, учебу. Полное подчинение – только тогда я готов сунуть шею в любовное ярмо.

Комментирует Осип Брик: «Маяковский понимал любовь так: если ты меня любишь, значит, ты мой, со мной, за меня, всегда и при всяких обстоятельствах. Не может быть такого положения, что ты был бы против меня – как бы я ни был неправ, или несправедлив, или жесток... Малейшее отклонение, малейшее колебание – уже измена».

Эльза Каган (в будущем – Триоле), сестра Лили Брик, за которой Маяковский долго ухаживал до знакомства с Лилей, вспоминает «способность Маяковского в тяжелом настроении натягивать свои и чужие нервы до крайнего предела. Его напористость, энергия, сила, с которой он настаивал на своем... в обыкновенной жизни были невыносимы. Маяковский не был самодуром... его требовательность к близким носила совсем другой характер: ему необходимо было властвовать над их сердцем».

Из мемуаров актрисы Вероники Полонской: «Он вынул револьвер. Заявил, что застрелится. Грозил, что убьет меня. Наводил на меня дуло. Я поняла, что мое присутствие только еще больше нервирует его... Вот он сейчас запрет меня в этой комнате, а сам отправится в театр, потом купит все, что мне нужно для жизни здесь... Я не должна пугаться ухода из театра. Он своим отношением заставит меня забыть театр.

Вся моя жизнь, начиная от самых серьезных сторон ее и кончая складкой на чулке, будет для него предметом неустанного внимания».

Лиля Брик: «Володя не просто влюбился в меня, он напал на меня, это было нападение. Два с половиной года у меня не было спокойной минуты – буквально. Я сразу поняла, что Володя гениальный поэт, но он мне не нравился. Я не любила звонких людей – внешне звонких. Мне не нравилось, что он такого большого роста, что на него оборачиваются на улице, не нравилось, что он слушает собственный голос».

Лиля Брик казалась поначалу неприступной крепостью. Штурм захлебнулся, любовная ловушка захлопнулась, сердечная цепь натянулась. Начались муки ревности, тут же переливавшиеся в стихи.

Захлопали двери. Вошел он,  
весельем улиц орошен.  
Я – как надвое раскололся в вопле.  
Крикнул ему: «Хорошо! Уйду!  
Хорошо! Твоя останется.  
Тряпок нашей ей,  
робкие крылья в шелках зажирели б».

Бог потирает ладони ручек.  
Думает бог:  
Погоди, Владимир!  
Это ему, ему же,

чтоб не догадался, кто ты,  
выдумалось дать тебе настоящего мужа  
и на рояль положить человечьи ноты.  
Если ж вдруг подкрасться к двери спальной,  
перекрестить над вами стеганье одеялово,  
знаю — запахнет шерстью паленной,  
и серой издымится мясо дьявола.

А я вместо этого до утра раннего, в ужасе, что тебя любить увели, метался и крики в строчки выгранивал, уже наполовину сумасшедший ювелир.

Но в жажде независимости подросток Лиля Брик не уступала подростку Маяковскому. Два года с лишним длилось противоборство. Позднее они пытались воспроизвести его в фильме «Барышня и хулиган». Но подошла бы и история отношений Буратино и Мальвины. Только Лиля-Мальвина учила Володю-Буратино не той арифметике, которой учат в школах. Ее особая версия этой мудреной науки базировалась на допущении – а для нее, кажется, аксиоме, – что  $2 = 3$ . И постепенно Володя убедился, что да – это так. Что ОН – муж, Ося, Осик – с этой наукой вполне согласен, что он добр, как папа Карло, и жизнь втроем с любимым – боготворимым! – поэтом не вызывает у него никакого протеста.

Так зародился этот треугольный союз, который пережил многие бури, но не распался вплоть до гибели Маяковского. Весной 1918 года они сняли три комнаты под Петроградом, в Левашове. Мать Лили приехала навестить их там и сразу



«поняла, что добропорядочный брак дочери распался, что она связала свою жизнь с Маяковским, который еще недавно ухаживал за ее младшей дочерью... А как же ведет себя в таком случае Брик? Он спокоен. Она же была в шоке... не захотела ни с кем из них попрощаться».

Вскоре все трое переехали в Москву, снимали домик в Сокольниках, и это была настоящая идиллия. Множество друзей посещало их там, и тройственный союз ни для кого не был тайной, никого не шокировал, принимался как нечто вполне естественное. Оставалась, однако, проблема свободы и независимости. И тут Маяковский нащупал – интуитивно взлелеял – осуществил гениальный ход. «Моя возлюбленная непокорна, она отказывается быть связанной веревкой каких-то обязательств, подчиниться моей воле. Так я же выверну ситуацию наизнанку: свяжу по рукам и ногам себя и свободный конец веревки вручу ей как подарок на всю жизнь». (Не напоминает ли это отношения юного Блока и Любы Менделеевой?)

Полная покорность Маяковского всем капризам Лили Брик, его почти рабское подчинение ей описано многими. Вспоминает Галина Катанян:

«Власть Лили над Маяковским всегда поражала меня... Летом 1927 года Маяковский был в Крыму и на Кавказе с Наташей Брюханенко. Это были отношения, так сказать, обнародованные, и мы все были убеждены, что они поженятся. Но они не поженились... Объяснение этому я нашла в 1930

году, когда после смерти Владимира Владимировича разбирала его архив. С дачи в Пушкино Лиля писала: „Володя, до меня отовсюду доходят слухи, что ты собираешься жениться. Не делай этого...»

Похожих ситуаций, когда Лиля дергала издали веревку-поводок (к ноге!), было множество. Находясь в Риге, она узнала о новом увлечении Маяковского и писала ему: «Через две недели я буду в Москве и сделаю по отношению к тебе вид, что я ни о чем не знаю. Но требую: чтобы все, что мне может не понравиться, было абсолютно ликвидировано. Чтобы не было ни единого телефонного звонка и т. п. Если все это не будет исполнено до самой мелкой мелочи – мне придется расстаться с тобой, что мне совсем не хочется, оттого что я тебя люблю. Хорошо же ты выполняешь условия: „не напиваться“, „ждать“. Я до сих пор выполнила и то, и другое. Дальше – видно будет».

Маяковский в ответном письме оправдывается, уверяет, что романа не было, что все время он проводит в театре или за бильярдом. Подпись – как всегда – «Твой щен» (щенок).

От новых возлюбленных Маяковский не скрывал своей преданности Лиле. «Моя семья, – говорил он им, – это Лилия Юрьевна и Осип Максимович Брик». Сам же требовал от своих подруг полной и самозабвенной покорности. Проницательная Эльза Триоле так описала этот запутанный нервный клубок:

«Когда я ему сказала, что вот он пишет Лиле такие сло-

ва, а женщин-то вокруг него!.. Он мне на это торжественно, гневно и резко ответил: „Я никогда Лиличке не изменял. Так и запомни, никогда!“ Что ж, так оно и было, но сам-то он требовал от женщин... того абсолютного чувства, которое он не мог бы дать, не изменив Лиле... Когда ему случалось влюбиться, а женщина из чувства самосохранения не хотела калечить своей судьбы... он приходил в бешенство и отчаяние. Когда же такое апогейное, беспредельное чувство ему встречалось, он от него бежал».

Наступил, однако, момент, когда Буратино попытался взбунтоваться. Лиля-Мальвина решила, что пришло время перевести ученика в следующий класс и объяснить ему, что в любви два не только бывает равно трем, но – сердцу не прикажешь! – и четырем иногда тоже. В 1922 году у нее загорелся роман с председателем Промбанка Александром Михайловичем Краснощековым. Ревнивые протесты Маяковского были объявлены падением в бездну «мещанства и быта», и он был присужден к двухмесячному изгнанию.

Что тут началось! Какие страдания изливались в стихах и эпистолярной прозе! За два месяца исправительного срока была написана поэма «Про это», кончающаяся мечтой о воскрешении Поэта и его возлюбленной («Она красивая – ее, наверно, воскресят») в тридцатом веке. И письма, письма-вопли, переполненные мольбами, стенаниями, обещаниями исправиться.

«Ты не ответишь, потому что я уже заменен, что я уже не

существую для тебя. Я не вымогаю, но, детка, ты же можешь сделать двумя строчками то, чтоб мне не было лишней боли. Боль чересчур! Не скупись, даже после этих строчек – у меня останутся пути мучиться. Строчка – не ты! Но ведь лишней боли не надо, детик. Если порю ревнивую глупость – черкни – ну, пожалуйста...

Заботься, детонька, о себе, о своем покое. Я надеюсь, что я еще буду когда-нибудь приятен тебе вне всяких договоров, без всяких моих диких выходов. Клянусь тебе твоей жизнью, детик, что при всех моих ревностях, сквозь них, через них я всегда счастлив узнать, что тебе хорошо и весело...

Мне непостижимо, что я стал такой... Как я мог, как я смел быть так изъеден квартирной молью?

Это не оправдание, Личика, это только новая улика против меня, новые подтверждения, что я именно опустился.

...Нет теперь ни прошлого просто, ни давнопрошедшего, а есть один, до сегодняшнего дня длящийся, ничем не делимый ужас... Всем видам человеческого горя я б дал сейчас описание с мясом и кровью...

Быта никакого, никогда, ни в чем не будет! Ничего старого бытового не пролезет, за ЭТО я ручаюсь твердо».

«Изъеден квартирной молью», «опустился», «быта никакого не будет» – это в переводе с языка Бриков – Маяковского означает покаяние в грехе ревности и обещание одолеть этот грех. И действительно, роман с Краснощековым продолжался, и Маяковский смирился с этим. Даже внезап-

ный арест возлюбленного осенью 1923 года не охладил Лилу. Она хлопотала об арестованном, оставалась в России, отказывалась поехать к В. М. в Париж. Когда Краснощекова – при странных обстоятельствах – после пятнадцати месяцев тюрьмы (а осужден он был на шесть лет одиночки) выпустили на свободу, они с Лилей уехали летом 1925 года на Волгу и провели там несколько недель. Буратино-Маяковский в это время плыл в Мексику и писал Лиле нежные письма.

Судя по всему, борьба футуристов со всем «старьем» включала и борьбу с традиционной семьей. Героиня повести Осипа Брика говорит:

«У коммунистов нет жен. Есть сожительницы... Мы ничем друг с другом не связаны. Мы – коммунисты, не мешаю, и никакие брачные драмы у нас, надеюсь, невозможны?.. Никакой супружеской верности я от тебя не требую... Но делить с *какой-то там буржуазной шлюхой* я не намерена».

Похоже, политическая благонадежность была немаловажным фактором в выборе «сожителей и сожительниц». Лиля Брик смотрела сквозь пальцы на романы Володи с киевской студенткой, с московской редакторшей, с актрисой МХАТа. Но когда в 1929 году у него загорелся в Париже роман с эмигранткой Татьяной Яковлевой, были приняты крутые меры, чтобы прервать эту связь. Все письма Яковлевой, оставшиеся в бумагах Маяковского, Лиля сожгла.

К концу 1920-х стало ясно, что новая власть не собирается терпеть нападки на семейные устои. Разрушительный рево-

люционный пыл пора было обуздать, «советская семья» была объявлена неприкосновенной. Лиля Брик задним числом так объясняла брачные эксперименты своей молодости:

«[В начале 1918 года] я рассказала Осе все и сказала, что немедленно уйду от Володи, если ему, Осе, это тяжело. Ося был очень серьезен и ответил мне, что уйти от Володи нельзя, но только об одном прошу тебя – давай никогда не расстанемся. Я ответила, что у меня этого и в мыслях не было.

Так оно и случилось: мы всегда жили вместе с Осей. Я была Володиной женой, изменяла ему так же, как он изменял мне, тут мы с ним в расчете... Мы с Осей больше никогда не были близки физически, так что все сплетни о „треугольнике“, „любви втроем“ и т. п. совершенно непохожи на то, что было».

Лиля Брик привыкла, чтобы окружающие принимали ее слова как последнюю истину. «Лиля всегда права», – говорил Маяковский. «А если она скажет, что шкаф стоит на потолке», – спросил его Асеев. «Шкаф, стоящий на третьем этаже, по отношению к нашему второму стоит на потолке», – вывернулся Буратино-Володя. Если мы любим Лилу Брик, мы должны поверить тому, что Осип, оставаясь с ней в одной квартире во время разъездов Володи, соблюдал целомудрие, что и во время поездки за границу в 1930 году они делили комнату в отеле, не прикасаясь друг к другу, и т. д. Но с чего вдруг? Ни он, ни она никогда не считали верность одному возлюбленному добродетелью. В книге преданного Лиле

Брик В. В. Катаняна находим пикантное описание ее юношеских походов в Мюнхене:

«В самый разгар романа с Грановским в Мюнхен приехал Блюменфельд. Молоденькая красивая Лиля продолжала роман с Грановским, не прерывая любовных отношений с Гарри, и проявляла незаурядную сноровку, чтобы они не столкнулись. Мастерская Грановского, ее пансионная комната и отельчик Гарри служили ей местом свиданий с этими молодыми людьми, но ни разу никто ни на кого не нарвался. Зная, что у Грановского днем репетиция, она шла в кафе с Гарри, а зная, что у Гарри занятия в студии, спокойно поднималась в мастерскую к Грановскому».

В 1928 году у Осипа Брика загорелся роман с замужней библиотекаршей, Женей Жемчужной. Он проводил с ней дни, а ночевать возвращался в Гендриков переулок. Когда она навещала его там, он вечером провожал ее домой. Такое расширение «семьи» ни у кого не вызывало протеста. Дочь Краснощекова от первого брака, Луэлла, практически стала шестым членом семьи.

Любимым писателем Маяковского и Бриков (как, кстати, и В. И. Ленина) был Чернышевский. Маяковский в очередной раз перечитывал «Что делать?» незадолго до смерти. Уместно вспомнить проповедь Рахметова против ревности из этого романа:

«В развитом человеке не следует быть ей. Это искаженное чувство, это фальшивое чувство, это гнусное чувство,

это явление того порядка вещей, по которому я никому не даю носить мое белье, курить из моего мундштука; это следствие взгляда на человека как на мою принадлежность, как на вещь».

Брики долго учили непонятливого Володю, как следует обходиться с этим деликатным предметом, но он, похоже, так и остался двоечником до конца дней своих: Веронику Полонскую ревновал к мужу с такой яростью, что многие считали – застрелился из-за ревности.

Однако была у Володи и Лили одна общая любовь, которая не приносила им огорчений – одни радости. Любовь, в которой не надо было ревновать, мучиться подозрениями, глотать горечь обид. Это была счастливая и бескорыстная

## **ЛЮБОВЬ К ЗВЕРЯТАМ, ЗВЕРЮШКАМ, ЗВЕРИКАМ**

Куда первым делом идет турист, попавший в незнакомый город? В музей, в храм, в театр, на рынок? Лиля Брик не колеблясь мчалась в зоопарк. Ее письма из Европы домой переполнены описанием «звериков», которых ей посчастливилось там увидеть. Из Берлина:

«Щеники! Второй день хожу по Zoo – народилось щенят видимо-невидимо! Львячьих, тигрячьих, слонячьих, кенгуровых, обезьяновых. Львятика я держала на руках, и он меня лизал в морду! Невозможно сладенький. Телеграммку вашу



получили. Целую, люблю».

В поездках по России – то же самое: зверики – главная отрада.

«Дорога от Москвы до Туапсе – замечательная: на какой-то станции, на перроне, стояли клетки (их увозили в Питер) с двумя волками, с двумя волчатами, двумя орлами и двумя аистами. Аисты клевали, перебирали друг дружкины перышки. Я со всеми с ними немножко поговорила... Кроме того, я видела из окна массу бычков (все – вылитые Ося!), козликов и огромные стада баранчиков».

Володя не отстает, подхватывает любимую тему Лили:

«Во-первых, от Краснодара до самого Баку ехал с нами в поезде большой престарелый обезьян. Обезьян сидел в окне и все время жевал. Не дожевавши, часто останавливался и серьезно и долго смотрел на горы, удивленно, безнадежно и грустно, как Левин после проигрыша.

А до этого в Краснодаре было много собачек, про которых я и пишу теперь стих.

В Баку тоже не без зверев. Во-первых, под окном третьего дня пробежали вместе одиннадцать мирблюдов (*sic*), бежали прямо на трамвай. Впереди, подняв руки, задом прыгал человек в черкеске, орал им и что-то доказывал – чтоб повернули».

Домашний песик Булька также занимает много места в письмах и дневнике. Лиля любила его не меньше, чем Мальвина – своего пуделя Артемона. Наташа Рябова вспоминает,

что во время прогулок в Киевском парке они видели много бродячих собак и «...Владимир Владимирович с каждой из них пытался разговаривать, но все они поджимали хвосты и быстро убегали от нас».

Сочувственное отношение к животным там и тут прорывается в стихах:

Лошадь, не надо.

Лошадь, слушайте —

чего вы думаете, что вы их плоше.

Деточка, все мы немного лошади.

Каждый из нас по-своему лошадь.

«Зверик» прокрался даже в торжественное воспевание революции:

Ты шлешь моряков на тонущий крейсер,  
туда, где забытый мяукал котенок.

Ну а то, что двумя строчками ниже —

Прикладами гонишь седых адмиралов  
вниз головой с моста в Гельсингфорсе —

это дело святое – революционное, туда им и дорога.

Вообще, сострадание к людям – удел взрослых, подросток, как правило, закрыт для него. Лиля Брик в дневнике несколько раз приравнивает сострадание к «бытовщине». О

художнике Штеренберге: «Давид очень жалостлив к людям – это делает из него обывателя». Январь, 1930 год: «Столько несчастья кругом, что надо быть очень сознательным, чтобы не сделаться обывателем».

Ласкательные обращения и подписи в письмах – тоже из словаря звериков. Маяковский – Щен, Щеник; Лиля – Кисик, Киска, кошечка. И часто – рисунок с ушками и хвостиком. (Ведь оба учились художеству.)

Но в целом мир природы для Маяковского бесконечно ниже мира технического прогресса и достижений цивилизации. Вот он засмотрелся на муравьев, разглядывающих его портсигар, упавший в траву:

Обалдело дивились выкрутас монограмме,  
дивились сиявшему серебром полированным,  
не стоившие со своими морями и горами  
перед делом человеческим ничего ровно.

## **ПРЕКЛОНЕНИЕ ПЕРЕД СИЛОЙ**

Всякий подросток отчаянно сражается за самоутверждение. В том числе – и физической силой. И оружием. Маяковский всегда имел при себе пистолет и кастет. «Зачем?» – спросила Наталья Рябова. «Боюсь, чтобы вас у меня не отняли», – отшутился Маяковский.

Но рано или поздно подросток понимает, что не помогут никакие накачанные мускулы, никакие револьверы-маузеры-парабеллумы, если перед тобой встанут трое, четверо, пятеро – вооруженных не хуже тебя. И тогда в нем зарождается мечта – быть принятым в шайку. Лучше – в большую. Которой боялся бы весь квартал, весь район, весь город. В глазах Маяковского большевистская партия – это самая большая, могучая, победная шайка.

Я счастлив, что я этой силы частица,  
что общие даже слезы из глаз.  
Сильнее и чище нельзя причаститься  
великому чувству, по имени – класс.

И еще:

Единица – ноль, единица – вздор,  
голос единицы тоньше писка.

А вот наша большевистская партия – «это рука миллионнопалая, сжатая в один громящий кулак». И он был предан этой миллионнопалой руке всей душой. Его лояльность коммунистической диктатуре была искренней и неизменной. Партия была «всегда права» – совсем как Лиля. А что такое ГПУ? «Это нашей диктатуры кулак сжатый». Поэтому выполнять поручения ГПУ – дело святое.

Мы никогда не узнаем, *какие* именно задания чекистов

Маяковский выполнял за границей. Приказы в этой организации отдавались не в письменном виде, исполнители умели держать язык за зубами и мемуаров не писали. Но то, что в любой поездке Маяковский выполнял роль «агента влияния», то, что он пропагандировал Республику Советов стихами, выступлениями и всем своим обликом преуспевшего пролетарского поэта, – в этом сомневаться не приходится. «Вот как советская власть ценит и вознаграждает подлинный талант!» Не без влияния Бриков и Маяковского Луи Арагон сделался страстным коммунистом. Не без влияния Маяковского Марина Цветаева и Сергей Эфрон, с восторгом слушавшие его в парижском кафе «Варьете», склонились к евразийству, а впоследствии – решили вернуться в СССР, на свою погибель.

При царившей в стране нищете ГПУ располагало огромными денежными средствами, добытыми конфискациями у «бывших». Бессонное учреждение не могло наградить своих помощников мало-мальски приличным жильем – это был катастрофический «дефицит», но снабдить деньгами для зарубежных операций могло довольно щедро. В каждой поездке Маяковский не стеснялся расходами – останавливался в дорогих отелях, обедал в лучших ресторанах. Похоже, чекисты при случае даже покрывали его карточные проигрыши. Однажды в Париже он заявил, что у него в отеле украли бумажник со всеми документами и деньгами, а он-де только что взял из банка все причитавшиеся ему 25 тысяч франков.

Впоследствии выяснилось, что паспорт и билет на пароход каким-то чудом увернулись от воровских рук, уцелели, а из Москвы срочно был прислан денежный перевод, чтобы заткнуть дыру.

Лиля тоже охотно выполняла задания ГПУ за границей. Исследователь Валентин Скорятин сумел раскопать детали получения заграничного паспорта Лилей Брик в 1922 году. В архивах Наркоминдела обнаружилась запись, указывающая, что паспорт был выдан 31 июля, через неделю после подачи заявления (оперативность недоступная для рядовых граждан). В графе «Перечень представленных документов» указан только один: «Удостоверение ГПУ от 19 июля за номером 15073».

Конечно, это еще не означает, что Лиля Брик была таким же штатным сотрудником тайной полиции, как ее муж. Скорее всего ее использовали для завязывания нужных связей в зарубежных артистических и журналистских кругах. Ведь и в независимой Латвии в 1921 году она числилась сотрудником полпредства («дипломатическая крыша»), но была при этом в тесном контакте с «дипломатом» Эльбертом, который на самом деле являлся особоуполномоченным иностранного отдела ВЧК.

Впоследствии многие видные чекисты стали постоянными гостями Бриков в Гендриковом переулке. «Среди посетителей за самоваром, – пишет Аркадий Ваксберг, – можно было время от времени увидеть и Якова Агранова, заме-

ститителя шефа ОГПУ, других известных чекистов, к примеру Эльберта по кличке Сноб... С Фаней и Зорей Воловичами, советскими резидентами в Париже, Маяковский познакомился там, и они тоже бывали у него в доме. В свое время Фаня была арестована в Париже в связи с громким делом о таинственном исчезновении белого генерала Кутепова. Зоря сумел выкрасть ее из тюремной больницы, и они снова появились в Москве».

Преклонение перед силой было у Лили в значительной степени женским: она обожала победителей. Среди ее возлюбленных были такие крупные советские вельможи, как Краснощекое, Примаков, по слухам – Агранов. Но нужно отдать ей должное – талант она тоже умела ценить, отыскивать, узнавать. Кроме Маяковского, она в свое время и свой черед – а иногда и одновременно – одаривала своим вниманием искусствоведа Лунина (будущего мужа Ахматовой), литературоведа Шкловского, кинорежиссера Кулешова, писателя Тынянова и уже в старости – Сергея Параджанова. Кажется, один только Всеволод Пудовкин сумел устоять против ее чар.

При этом мало кто считал Лилю красивой. Секрет ее обаяния был, похоже, в таланте любить и радоваться возлюбленному. Сохранилось неотправленное письмо Маяковского, в котором есть строчки, проливающие свет на эту загадку: «Любишь ли ты *меня*? Любишь ли так, чтоб это мной постоянно чувствовалось?.. Нет. Я уже говорил Осе. У тебя не лю-

бовь *ко мне*, у тебя вообще ко всему любовь. Занимаю в ней место и я (может быть, даже большое), но если я кончаюсь, то я вынимаюсь, как камень из речки, а твоя любовь сплывается над всем остальным. Плохо это? Нет, тебе это хорошо, я бы хотел так любить».

Французский писатель Поль Моран, побывавший у Бриков – Маяковского, описал их в злом фельетоне «Я жгу Москву». Но даже он отдал должное очарованию хозяйки:

«Никого не обрадует ярлык обольстительницы, признанный столь публично. Она не уклонялась от своей роли безрассудной красавицы... но играла ее без напора, ненавязчиво, в согласии с тем спартанским аскетизмом, что нас окружал... Недавние события не стали для нее ни избавлением, ни крушением, и тому, кто с ней сталкивался, она по-прежнему предоставляла свой дар дооктябрьской нежности и мягкости. Про нее нельзя было сказать: современница. Я считаю это качество самым драгоценным в смутные времена.

Именно потому она составляла *народное достояние*, нечто вроде произведения искусства, которое нужно вернуть коллективу после пользования».

Не следует также забывать, какой ценой Лиля Брик заплатила за свою тягу к талантам и победителям. Когда главный пахан решил перетрясти свою большевистскую шайку, все они, один за другим, сгнули в пучине террора. Примаков был арестован одним из первых, судим и расстрелян в 1937 году. С другими видными казненными – Тухачевским,



Уборевичем, Краснощековым – Бриков связывала семейная дружба. Когда пришло известие, что жена другого близкого друга – Мейерхольда – Зинаида Райх была зверски зарезана в своей квартире, Лиля потеряла сознание. И дальше, день за днем, она должна была жить в ожидании стука в дверь. Ходят слухи, что Сталин несколько раз собственноручно вычеркивал ее из подаваемых ему списков обреченных. Почему? Об этом мы можем только гадать.

## БЕЗБОЖНИКИ

Для подростка Володи Бог, по большей части, злобредный старикашка, пристроившийся на небе, забравший над людьми непонятную, непомерную власть. Давно пора скинуть его оттуда!

Я думал, что ты – всесильный божище,  
а ты недоучка, крохотный божик,  
видишь, вот я из-за голенища  
достаю наточенный ножик.

(Строчки запали с юности, цитирую по памяти.) Однако старикашка такой живучий, ножиком не справишься. Бог насылает на людей раздоры, войны, страдания любви и ревности:

Вот я богохулил. Орал, что бога нет,

а бог такую из пекловых глубин,  
что перед ней гора заволнуется и дрогнет,  
вывел и велел: люби!

Вспоминает Наталья Рябова: «У меня на шее были резные кипарисовые четки, заканчивающиеся крестом.

– Что это, Натинька?

– Это бусы, они ведь красивые.

Владимир Владимирович снял четки у меня с шеи и, оборвав крест, надел опять.

– Так можно... Вас, может, и в церковь водят?

– Да нет же, никто меня никуда не водит, и вообще никто у нас дома в церковь не ходит, кроме нашей работницы, она старуха уже. Но вот она верит в Бога, ходит в церковь и совсем не боится умирать, а я очень боюсь смерти. Знаю, что это глупо, а все равно боюсь.

– Смерть не страшна, страшна старость, старому лучше не жить, – задумчиво ответил Маяковский».

На самом деле, не только смерти, но и любой заразы боялся параноидально. К дверной ручке прикасался не иначе, как обернув ее платком. Пивную кружку брал левой рукой, верил, что таким манером ему достанется участок стекла, не оскверненный чужими губами. Всюду возил с собой собственное мыло и резиновый тазик, в котором совершал омошения. Поистине, «певец воды кипяченой и ярый враг воды сырой».

В поэме «Облако в штанах» (1915) еще оставлено место Христу:

Я, воспевающий машину и Англию,  
может быть, просто,  
в самом обыкновенном евангелии  
тринадцатый апостол.

И когда мой голос похабно ухает —  
от часа к часу, целые сутки,  
может быть, Иисус Христос нюхает  
моей души незабудки.

Но пять лет спустя, в поэме «Про это», Сын Божий пре-  
ображается:

Это – спаситель! Вид Иисуса.  
Спокойный и добрый, венчанный в луне.  
Он ближе. Лицо молодое безусо.  
Совсем не Исус. Нежней. Юней.  
Он ближе стал, он стал комсомольцем.  
Без шапки и шубы. Обмотки и френч.  
То сложит руки, будто молится.  
То машет, будто на митинге речь.

(Браво, поэт: кто еще мог бы так расслышать созвучие слов «комсомолец» и «молится».)

С Богом большевики покончили раз и навсегда – это ясно.

Но нужно ведь как-то объяснить для себя загадку Творения. Здесь большие надежды возлагались на новомодную теорию Эйнштейна. Роман Яacobсон завез в Советскую Россию пересказ теории относительности, и Маяковский пришел в восторг, хотя интерпретировал книгу по-своему.

«Я совершенно убежден, – воскликнул Маяковский, – что смерти не будет! Будут воскрешать мертвых!

Я найду физика, который мне по пунктам растолкует книгу Эйнштейна. Ведь не может быть, чтобы я так и не понял... Я этому физику академический паек платить буду...»

Наталья Рябова вспоминает, что Владимир Владимирович пришел в ярость, увидев у нее в руках роман Эренбурга. В ответ на вопрос «А что же мне читать?» снял с полки и сунул ей в руки брошюру о теории относительности. (Ну чем не Базаров?) Но, придя домой, девушка обнаружила, что страницы в брошюре не были разрезаны.

Физика, специализирующегося на бессмертии, Володя, видимо, не нашел, но с идеей научно-технического воскрешения мертвых не расставался до конца дней.

Вижу, вижу ясно, до деталей.

Воздух в воздух, будто камень в камень,  
недоступная для тленов и крошений,  
рассиявшись, высится веками  
мастерская человечьих воскрешении.  
Вот он, большелобый тихий химик,  
перед опытом наморщил лоб.

Книга – «Вся земля», – выискивает имя.  
Век двадцатый. Воскресить кого б?  
– Маяковский вот... Поищем ярче лица —  
Недостаточно поэт красив.  
Крикну я, вот с этой, с нынешней страницы:  
Не листай страницы! Воскреси!

Когда Маяковскому рассказали об учении Николая Федорова, он тоже – как и с теорией Эйнштейна – необычайно воодушевился.

«Для Маяковского, – пишет Юрий Карабчиевский, – учение Федорова было просто незаменимой находкой. Оно соответствовало почти по всем показателям. Оно импонировало и его механицизму, и нелюбви к природе, и нелюбви к свободе, и наукопоклонству, и другим суевериям, и близо-руко-умиленной модели будущего... Его склонность к фантастике как методу творчества в данном случае совпала со свойствами темы, и из поэмы в поэму стал путешествовать заманчивый образ: научно, марксистски, материалистически воскресающего человека».

В пьесе «Клоп» идея воскресения была сделана даже основой сюжета. Светозарные «будетляне», пришельцы из коммунистического «завтра» воскрешают Присыпкина и не могут надивиться на его примитивность и отсталость. По сути, здесь Володя задает себе и зрителю тот же вопрос, который задал Николаю Федорову Лев Толстой: «Неужели воскрешать – всех? И Калигулу, и Чингис-хана?» – «Всех», –

твердо ответил Федоров. Володя впрямую не отвечает, но несколько раз проговаривается: воскрешать, скорее всего, будут *красивых*. И тогда у него, и у Лили, и у дюжины других возлюбленных шансы на воскрешение очень высоки.

Можно было бы писать и дальше, проиллюстрировать другие типично подростковые черты Володи. Например, истеричность. И любовь к подаркам и всяким игрушкам. И легкость в нарушении обещаний. (Опаздывал на свидания, заставлял час и другой ждать зрительный зал, собравшийся на его выступление.) И готовность приврать по любому поводу.

«Это был неутомимый дезинформатор, – пишет Карабчевский. – Не только истина в высшем смысле, но простая обыденная правда факта не имела для него никакого значения. И не то чтобы он всегда специально обманывал, но просто знать не знал такого критерия... Эпоха великого словоблудия встретила со своим великим поэтом...»

Да, в моих конспектах и заготовках осталось много неиспользованных сцен, пикантных деталей, причудливых эпизодов. Но в общем я была удовлетворена своей «экспертизой». Суд потомков должен будет учесть, что он разбирает дело несовершеннолетнего. И проявить снисходительность. Кроме того, и самоубийство виделось теперь в новом свете. Его можно было отнести к разряду «подростковых». Медицинский ярлык давал иллюзию объясненности. А то ведь

всем пришлось бы и дальше ломать голову: почему застрелился?

Каких только теорий не выдвигали биографы и исследователи! Вспоминали все злоключения последних месяцев жизни Маяковского.

Вот в сентябре 1929 года Лиля Брик записала в дневнике: «Фининспектор наложил арест на все полочки В. В.». Не это ли было причиной того, что очередная поездка за границу не состоялась?

А в октябре пришло известие, что возлюбленная Татьяна Яковлева вышла в Париже замуж за виконта.

А потом Владимир Владимирович взял и, никого не предупредив, перешел из РЕФа в РАПП, травивший его много лет. Возмущенные предательством, друзья порвали с ним, Кирсанов в печати объявил, что попытается смыть с ладони все его рукопожатия.

Правда, в январе он читал поэму «Ленин» в Большом театре. В правительственной ложе сидели вожди и Сталин с женой, зал долго аплодировал. Но на выставку, посвященную двадцатилетию творческой деятельности (самому себе устроенную), никто из крупных деятелей не пришел. Да и друзья отнеслись равнодушно. Комиссия по устройству выставки – Асеев, Жемчужный, Родченко – не собралась ни разу.

На читке «Бани» Мейерхольд восхвалял автора, называл его гением и Мольером. Но в Ленинграде пьеса провали-

лась с треском. «Публика встречала пьесу с убийственной холодностью, – вспоминает Зощенко. – Я не помню ни одного взрыва смеха. Не было даже ни одного хлопка после первых двух актов. Более тяжелого провала мне не приходилось видеть».

А потом, 9 апреля, – унижительное глумление зала на выступлении в Плехановском институте. «Не было ни заранее заготовленных шуток, ни рождаемых на ходу каламбуров, – пишет Карабчиевский. – Был мрачный, бесконечно усталый, совершенно больной человек... и тупая молодежная аудитория, новое пролетарское студенчество, толпа начетчиков и зубрил, пришедших специально пошуметь, побазарить, размяться... Уж они повеселились!.. Маяковскому продемонстрировали его же оружие, ему вернули его приемы: и вопросы с заранее известным ответом, и ответы, не связанные с вопросами, и уничижительные клички, и нахрап, и перекрикивание – весь демагогический арсенал».

А возлюбленная Нора Полонская упрямо отказывается уйти к нему от мужа, бросить работу в театре.

А любимые Брики разъезжают по Европе, и нет никого, чтобы припасть на грудь, излить горечь обид, обид, обид...

Ну как тут было не застрелиться?

Кто-то отказывался признать все эти беды и огорчения достаточным поводом, начинал разрабатывать версию убийства, подстроенного агентами ГПУ. Возлюбленные обвиняли друг друга, а порой и себя, в недостатке внимания к тон-



ким струнам души поэта. Жесткую формулу отчеканила – из парижского далека – Марина Цветаева: «Двенадцать лет подряд человек Маяковский убивал в себе Маяковского поэта, а на тринадцатый поэт встал и этого человека убил... Он кончил сильнее, чем лирическим стихотворением, – лирическим выстрелом».

Меня порадовало, что Юрий Карабчиевский в конце своей книги – задолго до меня – воскликнул моими же словами: «Отпустите его! Это ведь только подросток. Это же вечный несовершеннолетний, он больше не будет. Отпустите его на поруки – к маме, к Брикам, к друзьям – если есть, если могут быть у него друзья...»

Здесь мое послание обрывалось. Думаю, теперь я знаю – почему.

Да, подросток, да, поэт против человека, плюс вечная обида, плюс горлан, которого не принимают в главари, – все сходилось, все прояснялось. Но чего-то не хватало. Оставался какой-то важный пробел или, наоборот, черное пятно. Проходили недели, а мне все не удавалось ухватить, назвать словами клубочек моих сомнений. Чаще всего он катался вокруг некоего столбика, на котором с давних времен торчало одно мое невесть откуда взявшееся убеждение: мировая слава зря не приходит. Мы можем не ценить, даже презирать поэта, художника, композитора, полководца, но посмертная слава говорит нам одно: тут было что-то нешуточное.

Да, при жизни славу мог подарить или отнять один человек, укрывшийся за высокими зубцами Кремля. Но вот он умер, статуи его повалены, расколоты, переплавлены, а слава поэта, вознесенного им после смерти, – жива. Почему?

Один персонаж в гоголевском «Театральном разезде» предлагает чудесное объяснение: «У нас всегда приятели захвалят». Кричали «Пушкин! Пушкин» – вот и весь свет стал кричать вслед за ними. Увы, я этому не верю. Свет умеет перемолчать или перекричать всех приятелей. Он обладает таинственной способностью забывать героев и помнить недостойных. Но есть ли у него при этом какой-то измерительный инструмент, какой-то критерий отбора?

Только сейчас я – так мне кажется – нашла ответ.

Да, критерий есть. Свет помнит только тех, кто посмел пожелать, потребовать заведомо невозможного. От мира, от людей, от себя. Но что же невозможного потребовал Маяковский? И от кого?

Да, он требовал невозможного от женщин: чтобы они предали ему душу и телом, а он бы при этом остался в полном подчинении у ненаглядной Лили.

Он требовал невозможного от начальства: чтобы оно не только разрешало ему разъезжать по заграницам, заводить романы с неблагонадежными красавицами, проводить ночи за игорным столом, но еще и покрывало любые его расходы.

Он требовал невозможного от языка, от речи: чтобы она порвала свою зависимость от правды и смысла, свелась, ес-

ли надо, к последнему, предельному футуристическому тыр-быр-мыр, но при этом продолжала волновать человеческое сердце.

Он требовал невозможного от властей предержавших: чтобы они не только хлопали ему из ложи, но приняли бы его как равного или хотя бы явились на его – самому себе устроенную – выставку.

Ну а от себя? Потребовал ли он чего-то невозможного от себя?

Моя мысль рыскала и металась, как лодчонка в бурной реке, стучалась о берега, черпала воду то носом, то кормой. И вдруг ее будто вынесло на широкий спокойный разлив. И я поняла ясно-ясно, как при вспышке ракеты: да, потребовал! Не от себя, а от своего Творца. Бессознательно, инстинктом, с юности, не укладывая в слова, яростным порывом – он отбросил, отказался принять главную часть Творения: неизбежность старости и смерти.

Сколько раз в разговорах с близкими он сознавался в своем ужасе перед старостью! Если помнить этот его главный страх все время, то все причуды, нахрап, кровавые лозунги, истерики, «горы злобы» окрашиваются новым светом. Старый мир был достоин ненависти не потому, что в нем правили эксплуататоры, а потому, что это был мир, смирившийся со смертью. Поэтому-то не только лабазников на фонари – долой и Растрелли, и Пушкина, и прочих классиков! Пулями – по стенам музеев! Седых адмиралов – прикладами за

борт! Все, кто отстаивает старое, – злодеи! Все, кто разрушает, включая и «солдат Дзержинского», – герои. Революция победила, но не отменила главного ужаса. Поэтому атака продолжается.

Только теперь это уже нелепая, несоразмерная атака на мещан и обывателей. Нелепая – но не в его глазах. Ведь это атака на тех, кто смирился с неизбежностью старости и смерти, согласился остаться в стенах тюрьмы.

Если есть бунт против старости и смерти, тогда и резиновый дорожный тазик, и пивная кружка левой рукой, и собственное мыло в специальной мыльнице, и кипяченая вода перестают быть просто трепетной заботой о себе единственном. Нет, это все – малые эпизоды великой войны со Смертью. Миллиардные армии микробов наступают, крадутся, нападают, как варвары на Древний Рим, как империалисты – на республику Советов, – и долг человека, воина неустанно отбивать их, используя все достижения цивилизации.

Наконец, его мечта-мольба о воскресении, наукообразная вера в него – разве не похожа она на мечту узника, какого-нибудь нового графа Монте-Кристо, прорыть тайный ход в каменной кладке замка Иф, вырваться, окунуться в бескрайнее море бессмертия?

Мечта не сбылась. Из-за разрушенных стен выростали новые – выше и крепче, соратники-бунтари превращались в послушных тюремщиков. Старость надвигалась. Жить дальше, увидеть себя в зеркале поседевшим, облысевшим, сог-

бенным, Лилю – беззубой, морщинистой, со слезящимися глазами? Разве можно с этим смириться?

Мы все покорно остаемся в своих камерах, мы знаем, что старость и смерть неодолимы. Мы можем даже сердиться на бунтаря, тревожащего нас своими безнадежными попытками вырваться на волю. Мы будем то насмешливо, то возмущенно обсуждать его нелепые усилия, царапание гранита ногтями, битье головой о решетки.

Но забыть его мы не сможем.

Он станет беглецом-легендой. И рано или поздно мы признаем – согласимся – поверим, что погиб он не от обид, измен, поношений, непонимания. Если где-то действительно есть Книга судеб «Вся земля», то следственный протокол этой жизни, хранящийся там, должен кончаться простой фразой: «Убит при попытке к бегству».

## 14. ПОХИЩЕНИЕ

Когда-то, давным-давно, мы покинули Россию, вознесенные в воздух реактивными моторами и серебряными крыльями. А пятнадцать лет спустя Додиковы родители ухитрились проделать то же самое, не выходя из дому. При распаде страны новая граница прошла к северу от их деревни. И теперь, отправляя им поздравительные открытки, Додик писал им новый – трудный для американских почтарей – адрес: Азербайджан. И от них мы получали открытки с новыми марками, испещренными непонятными для нас надписями.

Додик дважды летал навещать родителей. Рассказывал, что деревня пришла в упадок. Продавать урюк стало труднее, местной мафии приходилось платить больше, чем прежним партийным бонзам. Танковая дивизия генерала Самозванова теперь оказалась за границей, так что кончилась доставка мазута и смазки к моторам, крутившим насосы и генераторы. Мы посылали старикам деньги, лекарства. Но до врачей им было трудно добираться. Старческие хвори наступали, одолевали. И вот в начале апреля пришла печальная весть: умер отец. Воспалившаяся простата перекрыла мочеточник, когда доездили до больницы, было уже поздно. Додик улетел на похороны, обещал вернуться через неделю. Я отвезла его в аэропорт и вернулась в опустевший дом с привычным затаенным страхом.

В почтовом ящике, среди реклам и счетов, затаился желтый конверт. Нет, слава богу – не от мучителя моего, а от Павла Пахомыча. Сколько мы уже не виделись? Вдруг взял и сам прислал новые виньетки, несколько листков.

Бывший священник дико разбогател, основав фирму *GuiltUnlimited*, принимавшую на себя любую вину в любых количествах за очень умеренную плату.

В тщательном избегании всякого позирования – сплошь и рядом – как много позы!

Рыбы, которых мы выращиваем в своих садках и прудах, понятия не имеют о тех существах, которых им предстоит питать своей плотью, никогда не видали и не увидят их, никогда не могут проникнуть в воздушную среду, где обитают их пожиратели. Почему же так трудно вообразить, что и мы, в свою очередь, живем в уютном садке земного бытия лишь до тех пор, пока не придет очередь послужить пищей для каких-то неведомых существ, обитающих в недоступной для нас среде? Но все же любопытно: какая часть нашей души считается у них наиболее дорогим деликатесом?

Богатеи любви.

Интеллектуалы Средних веков верили, что эпидемия чумы есть кара за грехи, что ведьм необходимо сжигать для защиты скота и младенцев и что мастурбация

неизбежно приводит к безумию. Сегодняшние интеллектуалы презирают их за темноту и невежество. Но как бы они удивились, если бы какой-нибудь посланец из будущего рассказал им, как презирают их будущие интеллектуалы за их веру во фрейдизм, в губительные последствия табака, алкоголя и марихуаны, в Биг Бэнг, в теорию естественного отбора и в естественность моногамных отношений.

Любовь не уживется с добротой. Гордость – с благодарностью.

Если бы Господь, в мудрости Своей, не отнимал у пожилых женщин привлекательность, большинство мужчин гонялось бы только за ними – за мудрыми, богатыми, власть имущими – и забросили бы задачу продолжения рода.

Какой странный анатомический объект был извлечен библейской легендой из тела Адама для клонирования Евы. Ребро! Почему именно ребро?

Единственное объяснение: потому что так оно и было.

Тиранить людей вообще приятно – даже по мелочам. Но тиранить с благородной, возвышенной целью и ради их собственной пользы – это уже такое наслаждение, от которого отказаться просто невозможно.



Порой мы виноваты только в том, что объект нашей любви взрастил в своем сердце мечту о *таком* возлюбленном, которую нам воплотить не по силам. Но это и есть самая страшная вина.

Каждому открыт вход в Музей Мироздания. Но не каждому покажут запасники и золотые кладовые.

Если когда-то были свирепые войны между католиками и протестантами, почему так трудно допустить, что мы доживем до войн между фрейдистами и кантианцами? В конце концов, наша картина мира – это единственное, за что стоит убивать и быть убитым.

Самая частая ошибка людей, одаренных умом и сердцем: выставить эти дары на продажу и ждать вознаграждения за них.

Разумные и озверелые вечно противостоят друг другу. Но в те моменты истории, когда озверелые одолевают, разумные пускают в ход все силы своего ума, чтобы объяснить их победу разумными причинами.

Вы мечтаете заглянуть в будущее? Идиоты! Что с вами станет, когда вы точно узнаете дату своей смерти?

Вот уж действительно! Что меня ждало в будущем, кроме страха и боли? А все равно ни о чем другом не могла думать.

Страх жил во мне своей отдельной жизнью. Он болел и пульсировал, как опухоль, как нарыв. Мне казалось, что я легко могу нащупать его пальцем – вот здесь, где живот мысом входит в грудную клетку. Нащупать и надавить. Страх стал неотделим от меня. И чувство безнадежности выросло из него, как тугая лиана, дотягивалось до горла, до гортани, до глаз.

В тот день страх болел с утра как-то по-особому, будто из него стали прорастать по бокам колючие шипы. Немного – ненадолго – отвлекла Элла Иосифовна, заскочившая на чашку кофе с вареньем. Принесла очередную историю из своей любимой газеты «Новости». Будто какой-то австралийский археолог, делая раскопки в Сирии, обнаружил местоположение Эдема. Анализ минералов показал, что почва в этой местности когда-то была фантастически плодородна, для нее не требовались ни плуг, ни лопата. Вскоре из-под земли извлекли два скелета – мужской и женский. В грудной клетке мужского не хватало одного ребра. Окаменелые остатки яблони тоже всплыли неподалеку. И что-то похожее на кожу змеи. Элла Иосифовна – счастливица! – умеет тешить себя сказками. Мне бы так.

В институте студенты вели себя непривычно тихо, строили конспекты, не поднимая глаз. Почувствовали мое состояние? Или летопись злодеяний на страницах «Записок из Мертвого дома» напугала их всерьез, нагнала уныние?

К дому подходила в сумерках, привычно вглядываясь в

стоящие автомобили. Дойдя до дверей, вспомнила, что в холодильнике у меня – пустыня. Нет, нельзя так распускаться. Нужно съездить в магазин. Да, для одной себя. Худеть мне некуда, и так мало осталось.

Заставила себя сесть в машину, завела мотор. И не обязательно ехать в большой супермаркет. В ближней корейской лавчонке есть все, что мне нужно. Немного подороже? Ничего, не разорюсь.

Молоко, хлеб, сахар. Пакетик колбасы «прошюто», сыр... Что еще? Консервированный горошек, банка сардин. Коробки с мороженым тянулись за стеклянными дверцами, погружали в привычную растерянность: ванильное, кокосовое, клубничное или миндальное? Муки свободного выбора.

Черная кассирша, с табличкой «Тапуа» на груди, протянула сдачу, глядя в сторону, вверх, на руки – только бы не в лицо. Ну и ладно, и бог с нею...

Хотела положить пакет с покупками на пассажирское сиденье. Но кто-то припарковал свою машину справа так близко – не протиснуться. Пришлось обойти слева. Отперла обе дверцы, продукты – назад, сама – за руль.

И тут-то он и выскочил.

Вернее, возник, сгустился силуэтом из сумрака.

Я так и не поняла – откуда. Увидела близко-близко нож, нацеленный мне в глаз, в рот, в горло. И услышала знакомый голос – негромкий, без всякой угрозы, почти вежливый:  
– Подвинься.

«Вот и конец, – подумала я. – И никакого защитного блокнота. Прожила от одного ножа до другого».

Но подчинилась.

Мелькнула мысль – выскочить в правую дверь. Нет, поставленная рядом машина не дала бы. Видимо, это он сам – нарочно – и припарковался там так впритирку. Все продумано, все рассчитано...

Глеб убрал нож, вынул из моих омертвевших пальцев ключи. Щелкнул зажиганием. Дорелик рассказывал мне, что есть защитные устройства против похитителей автомобилей, которые позволяют полиции издали выключить мотор посланным радиосигналом. Но у меня не дошли руки заняться этим.

Мы ехали по темнеющим улицам. Глеб молчал, я – тоже. Остановившись на красный свет, он каждый раз почти прижимался к машине справа. Выскочить было невозможно.

Только когда выехали на шоссе, он заговорил.

– Видел, ты зачастила в полицию. Такого я от тебя не ожидал. И что? Помогли тебе стражи порядка?

Я молчала.

– Ты прочла всех русских классиков, постигла с их помощью человеческую природу. Неужели ты думаешь, что люди, работающие за зарплату, могут остановить человека, защищающего свою любовь?

– Это ты о себе? – не выдержала я.

– Сарказм, убийственный сарказм. Да, вы неплохо поста-

рались. Вбивали нам в головы с детства, что к слову «люблю» главные синонимы: «благоговею», «превозношу», «счастлив услужить», «жду приказов». «Желанье ваше мне закон...» А те, кто пытается сделать синонимами «беру», «овладеваю», «отбиваю», – те очень плохие люди, разбойники и насильники.

– Какой любви ты можешь ждать от меня после того, что ты со мной проделывал? После того, что ты делаешь со мною сейчас?

– ...И я в юности тоже подчинялся этому сценарию. Ухаживал-обхаживал, цветочки подносил, стишки посвящал. А потом вдруг озлился. Понял, какой это обман. Взбунтовался. «Да что они себе позволяют?! Откуда у них власть и право так помыкать нами?» Ведь кто нами распорядился с детства? Одни тетки. Училки – тетки, врачихи – тетки, вахтерши и сторожихи – тетки, даже судьи – и те тетки! Вся власть теткам? Не подчинюсь!..

– ...Нет, всевластные тетки понимают – признают, что мужчина не может жить без секса. Что он начнет выть и мычать, как недоеная корова. «Хорошо, – говорят они, – вот тебе женщина, жена, и с ней одной тебе разрешено утолять свою постыдную потребность. Что?! Что ты там бормочешь? Что в таком раскладе ты отдан в пожизненное рабство единственной женщине? Которая может дать тебе или не дать? Ну хорошо, раз ты такой чувствительный, мы разрешим тебе развод. Ах, тебе и этого мало?! Развод – это что?.. Всего

лишь право менять одну рабовладелицу на другую? А что бы ты хотел? Чтобы любая была тебе доступна, и в любой момент?» Нет, мне не нужна любая. Мне нужна возлюбленная. Но я не хочу быть рабом ее. Оставьте мне хоть щелку свободы – дайте возможность – если захочу – свободно купить секс за деньги. «Как?! – завопят они. – Разрешить, узаконить проституцию? Никогда!» Разыгрывают благородное возмущение, а на самом деле просто держатся за свою монополию.

Он говорил негромко, но убежденно – видно, что думал про все это много и упорно. Приборная доска подсвечивала снизу его лицо каким-то театральным и мефистофельским светом.

– ...А знаешь, что такое все эти мужья, которые накидываются на своих жен с кулаками, с ножом, с пистолетом, все серийные убийцы и садисты-фантазеры? Это просто невольничий бунт – слепой, отчаянный, кровавый. Такая эротическая пугачевщина. И в семьях дети видят все это, наливаются ненавистью к жизни – сначала от собственного бессилия, а потом, вырастая, сами входят во вкус, становятся насильниками.

Машина ввинчивалась в ночь. Куда, зачем? Что он задумал? Спросить его? Но я боялась, что – если открою рот – слова польются вперемешку со слезами. Опухоль страха набухла пульсирующей болью. Он будто почувствовал это.

– Я тебя никогда не спрашивал, боишься ли ты умереть. А я, знаешь, в последние годы как-то перестал бояться. Там

впереди скоро будет довольно крутой откос. У меня, когда проезжаю мимо него, всегда мелькает мысль: ох, далеко отсюда лететь. Но красиво.

Он вел машину ровно, не обращал внимания на обгонявших. Никакой полицейский радар не мог бы заметить что-то неладное, придраться. Темнота сгустилась справа и слева. Проплывали дорожные щиты с незнакомыми названиями городков. Где мы? Во мраке ночи, во мраке ночи темной...

Он заговорил снова:

– Странно, но факт – за те месяцы, что ты не пускала меня к себе, мне стало как-то легче, светлее. Я мог спокойно заниматься главным делом своей жизни – тобой. Придумывать новые проделки и сюрпризы. Воображать, как ты на них рассердишься, вздрогнешь, побежишь искать защиты. Мне больше не было нужды спрашивать твоего разрешения, вымаливать свидание.

Я и так был с тобой каждую минуту. И точно знал, что и ты – со мной. Что думаешь и помнишь обо мне с утра до вечера. Что вздрагиваешь на любой телефонный звонок – а вдруг это ОН? Что я стал для тебя вездесущим, живу в почтовом ящике, в проезжающем автомобиле, за дверьми института. Разве мог бы я когда-нибудь достигнуть такой близости любовью? Да никогда в жизни. Только страхом. Струна страха надежнее струны любви. Скажешь, нет?

– Да, – ответила я сквозь зубы. – Да, будь ты проклят.

– Ну вот, опять сердиться. Это как-то мелко, не твой

класс. Помнишь, ты рассказывала, как в юности ты поспешно убегала от одного к другому. Я же, наоборот, вел себя робко, не решался приближаться к вам. Но причина была та же, что у тебя. Я вовсе не боялся быть отвергнутым. Это был страх, что она разрушит, проколет, выпустит сладкий пар, кипящий в сердце. Ведь у тебя было то же самое: страх, что твой избранник мог одним неосторожным словом все разрушить, задуть твою свечку любви. Мы так с тобой похожи, так похожи.

– Я никогда не могла бы так мучить другого, как ты меня.

– О-хо-хо! А тот бедолага, который пырнул тебя ножом в студенческие годы, – его ты не мучила? Не довела до отчаяния? Пойми: ты так устроена, умеешь дарить такую близость, что отнимаешь человека у всех остальных. Ты – как опасный наркотик, тебя надо держать под замком, выдавать по рецепту. О, конечно, ты все делала по их правилам, не придерешься. Не давала обещаний и воображала себя невиноватой.

Но в этом и есть главная их хитрость, главная приманка. Живите по нашим правилам – и все вам простится.

– Кого это «их»? Кто эти «они»?

– Они – это начальники и законники, столпы общества и училки жизни, всевластные тетки и настырные полицейские. Все, что им нужно от нас, – чтобы мы послушно спаривались, исправно плодились и заботились о подрастающем поколении. А как нас заставить это делать? Вот именно так:



приманкой любви затащить в загончик моногамного брака и держать в нем всю жизнь. Шаг вправо, шаг влево считается побег, моральный конвой открывает огонь без предупреждения. Накачать заранее чувством вины, обжечь хорошенько стыдом, заклеить нехорошими словами – и пустить за колючую проволоку пастись на разрешенном лужке. Но что поразительно – ведь бегут! Все равно бегут! Кто в разрешенную калиточку развода, а кто и так – пропадай все пропадом – через проволоку, обдираясь, на волю. Ну не парадокс ли!

Дорога начала уползать влево и вверх, красная полоса задних огней изогнулась по склону, как гигантская раскаленная сабля.

– ...Да, калиточка развода. Но что было делать несчастным жителям Средневековья, которым развод был запрещен? Ха – ведь и они придумывали разные выходы. Можно было упрятать жену в монастырь. Или донести, что она ведьма, и потом любоваться веселым костром. Но лучше всех выкрутился английский Генрих Восьмой. Тоже ведь был поэт и музыкант, вроде меня. И тоже очень влюбчивый. Что оставалось делать бедолаге? Только одно: прежней жене голову отрубить, жениться на следующей. Такие варианты тебя бы устроили?

Я молчала. Справа вдруг открылась долина, усеянная огнями. Цепочки уличных фонарей, созвездия окошек, речушки автомобильных фар на дорогах. Кругом – силуэты дальних гор, черное на черном.

– Да, это тот самый откос. Хочешь попробовать? Одно движение пальца и...

Он резко шатнул руль. Меня бросило к нему так, будто я искала у него защиты. Сзади недовольно загудели. Я увидела свои пальцы, вцепившиеся в автомобильное радио. Сердце колотилось отчаянно. Но все же успела сдержать, проглотить рвущийся крик. Не дождешься!

Мы скатились вниз, подъехали к колоннаде с кассами. Двое полицейских болтали под фонарем, чему-то смеялись. Сейчас он остановится, чтобы заплатить за проезд. Успею я выскочить?

Не тут-то было. Не доезжая до колоннады, автомобиль вдруг свернул на какую-то незаметную боковую дорожку, нырнул в темноту. Теперь свет фар бежал по придорожным кустам, по лужицам на обочине.

– Там впереди будет еще один интересный мостик. Давно хотел тебе его показать... До воды лететь – метров десять... Да, так о чем я?... А – о том, что бегут через проволоку. Здесь одно мне непонятно. Вот ведь, например, я. Совсем был не против, готов послушно плодиться, растил трех детишек, заботился о них. Но зачем же добавлять сюда ненужное, невыполнимое, никем никогда не исполненное требование? Чтобы никогда – ни в кого – ни-ни-ни – не влюблялся? Если бы вас всех спрятать под черную чадру, как на мудром Востоке, – тогда да, тогда бы это было осуществимо. Но когда вы кружите рядом, порхаете своими ресницами, толкаетесь сво-

ими титьками и попками, сияете своими плечами, прожигаете своими глазищами – кто может это выдержать?

...А вот еще – тебе может быть интересно – последние открытия биологов. Оказалось, что и в животном мире многие виды, считавшиеся раньше моногамными, на самом деле отнюдь нет. Анализ ДНК и прочие новейшие штучки позволяют проследить отцовство. Например, птичка крапивник живет с постоянным спутником, но, когда обследовали ее потомство, выяснилось, что две трети птенцов зачаты посторонними отцами. То же самое и у береговых ласточек – живут попарно, но трахаются направо и налево. Самец должен искать новых и новых самок – это закон выживания вида, биологический приказ. Моногамия, сказал один остряк из ученых, так же противоестественна, как собака, вставшая на задние лапы: какое-то время продержится, но далеко не убежит... А-а – вот и мой мостик.

Фары выхватили из темноты белые перила. Автомобиль вдруг рванулся влево, на встречную полосу. Потом – еще круче – обратно. И еще! И еще! Будто обезумевший водитель никак не мог решить, с какой стороны ему сподручнее свалиться в воду. На этот раз я не смогла удержаться – взвизгнула несколько раз сквозь слезы.

– Не бойся – еще не пора. Во всяком случае – не сегодня. «Он обезумел», – скажут они про меня.

Про всех нас – посмевших взбунтоваться. Говорю «мы», «нас» – потому что и ты точно такая. Тоже давно взбунтова-

лась. Но потом устала, начала бояться их осуждений, их судов-стыдов. Я просто пытаюсь вернуть тебе смелость. Чтобы ты больше боялась моего суда – чем их.

...Да – «безумие». Емкое словечко, удобное. В старину сказали бы: «одержим дьяволом». Лечение: петлей, костром, прорубью. Сегодня это «безумие». Так они переводят старинное слово «дьявольщина» на современный русский, английский, французский, немецкий – о, особенно немецкий! Но позвольте спросить: если я безумен, каким образом я переигрываю всех ваших полицейских умников-разумников? А еще лучше слово «синдром». Этим словом так удобно зачеркнуть, отбросить наше отчаяние, до которого они нас доводят. «У него просто синдром сексуального самоутверждения, вызванный комплексом неполноценности, осложненный манией величия. Лечить – электрошоками, инсулином, ратилином, прозаком». И изуверы в белых халатах спокойненько кладут в карман свою шестизначную зарплату.

Машина, набирая скорость, вернулась с боковой дороги на трехполосное шоссе. Но мелькавшие номера и названия на щитах опять ничего мне не говорили. Если он завезет меня в какую-то свою тайную пещеру, в замок Синей Бороды, я и знать не буду, где он расположен. Запихнет в деревянный ящик под кроватью и будет оставлять миску с кормом около дыры, как собаке.

– Человек, конечно, может помешаться, с этим никто не спорит. Приятель-адвокат рассказал славную историю. Он

защищает бездомных, которых хотят посадить в психушку против их воли. В этот раз ему достался сорокалетний бродяга, который воображает себя Иисусом Христом. И в приемной суда он встретился с бродягой, который воображает себя Господом Богом. Нужно было видеть, как они обнимались, как приветствовали друг друга. Встреча отца и сына! Добрый судья отпустил обоих. Со мной небось так мирно дело не кончилось бы. Я ведь вообразил себя свободным человеком. А с таким синдромом на воле оставлять нельзя.

Он еще что-то говорил, но я впала в какое-то оцепенение, в омертвелость. Огни фар и фонарей неслись перед глазами, сливались в сияющую карусель. Страх болел глуше, обволакивался сонным безразличием. Задумал свалиться с моста, разбиться о встречный самосвал? Да не все ли мне равно? Раз ничего поделать нельзя, зачем тратить силы на поиски выхода, на попытки ускользнуть?

Я пришла в себя, только когда машина остановилась. Оглядевшись, поняла, что мы вернулись туда, откуда начали свой путь, – к корейскому магазинчику. Глеб повернулся ко мне, достал нож.

– Мне была очень нужна эта прогулка. Спасибо тебе. Ты добавила воску в мою свечу, теперь хватит надолго. Осталось последнее. Извини.

Он протянул левую руку в мою сторону, ладонью вверх. То ли просил милостыню, то ли собрался дать пощечину. Я невольно отшатнулась, прикрылась локтем. Нож мелькнул

где-то совсем близко, полоснул по открытой коже. Он некоторое время держал ладонь на весу, давая крови стечь на мое пальто, на сиденье, на пол. Я смотрела на него в полном оцепенении.

– «Обезумел»? О нет – простая предосторожность. «Да, Ваша честь, это не я пытался похитить ее – она сама заманила меня прокатиться в ее автомобиле. И потом напала, угрожая ножом. Вот рана, вот пятна крови. Хвала современной науке – благодаря ей судебная экспертиза легко обнаружит, что это моя кровь – не ее. Прошу у суда защиты, прошу выписать охранительное постановление против обезумевшей женщины!»

Он убрал нож, достал платок. Замотал рану, протянул мне руку.

– Завяжи, пожалуйста.

Едва шевеля дрожащими пальцами, я подчинилась. Затянула узел. Он взял мое запястье, поднес к губам, поцеловал.

– Скоро увидимся снова. Когда – еще не решил. Но ты поняла, что теперь я решаю – когда и где? Прощай.

Вылез из машины, растворился во мраке.

Я сидела неподвижно, тупо уставясь на пирамиду из яблок в витрине магазинчика. «Больше мертвая, чем живая», – сказал бы мой сын – заблудник в двух языках. Или: «Нашла себя на краю гибели». А ведь и верно: нашла себя. Смерть подойдет вплотную – и ты находишь себя, свое правильное место в жизни. Вернее, в том, что от нее осталось.

С трудом переползла на водительское место, включила мотор. Медленно ехала по пустым улицам. Рассыпавшиеся консервные банки слегка позвякивали сзади, перекатываясь под сиденьем.

Дома первым делом сняла заляпанное кровью пальто, бросила в корзину с грязным. Все же заставила себя поджарить яичницу, вскипятить чай. Спасенное – спасшееся – тело требовало привычных забот. «Мне дела нет до ваших глупых и опасных затей! Мне подавай тепло, кислород, жиры и витамины!»

Поужинала, вымыла посуду, вынесла мешок с мусором. И когда села писать письмо Додику, чувствовала в душе – рядом с опухолью страха – какое-то незаслуженное умиротворение, какую-то нежную готовность прощать и надеяться на прощение.

# ПИШУ СОБСТВЕННОМУ МУЖУ

Дорогой и любимый Додик, мой горный витязь, мой джигит!

Знаешь, я недавно попыталась вспомнить, сколько раз я была в тебя влюблена. Насчитала пять – как пять бурлящих перекатов на длинной речке любви.

Первый раз – самый долгий и незабываемый, – конечно, тот первый, когда познакомились над бутербродами с сыром. Но про тот раз мне нечего тебе рассказывать – ты сам всё видел и помнишь, я знаю, что помнишь. Ты был первым, с кем я смогла выглянуть из-за своей вечной маски, оставить притворство. И как это было сладко, какое облегчение!

Второй раз – когда вернулись из поездки к твоим родителям. Не знаю, заметил ли ты, что со мной происходит. Это началось в то воскресенье, когда мы, со всей твоей кафедрой, ездили купаться на Финский залив. И этот смешной толстяк – как его звали? – поднимал тост за твою диссертацию, цитировал Эйнштейна, что-то про два критерия для оценки любой научной теории: внешнее оправдание и внутреннее совершенство. А когда полезли в воду, ты развеселился, подхватил меня на руки, хотел бросить «в набежавшую волну», как какой-нибудь Стенька Разин. Но не рассчитал. Забыл, что Финский залив такой мелкий, что до первой волны надо



брести полкилометра. И после первых двадцати шагов должен был поставить меня на ноги, а сам плюхнулся в воду животом вниз. И поплыл, поплыл прочь, задевая за дно руками, коленями и еще не скажу чем. Но все равно твои коллеги и заведующая кафедрой – я уверена – успели заметить математически безупречный перпендикуляр, возникший под твоими плавками. Иначе их хихиканье за моей голой и мокрой спиной останется необъяснимым.

А когда ехали обратно в электричке, я прижималась к тебе в давке, и вдруг меня пронзило заново это чувство – ощущение – горячий всплеск, что ты – *мой*, совсем-совсем мой – со мной – за меня. Ведь ты – тогда, в деревне на Самуре – разделил мой испуг за сына, не отдал его, пошел против родительской мечты и веры. Милый мой, милый, когда-нибудь ты расскажешь мне, чего тебе это стоило. Но заметил ли ты тогда, что целую неделю после пикника я просто таяла от нежности к тебе, загоралась от любого касания?

Третий раз – ты не поверишь, – когда мы с Мариком уехали в киношный дом отдыха, а у тебя полыхал роман с моей дипломницей Ларисой. Ну да, конечно, я знала о вас. Ваша свечка горела так заметно, вся конспирация была шита белыми и зелеными – особенно зелеными! – нитками. По ночам, вслушиваясь в сопение Марика рядом на раскладушке (не простудился ли днем на лыжах?), я воображала вас двоих в постели и изнывала не от ревности, а – да, в это трудно поверить – от умиления и любви. Извращенка? Возможно. Но

так ли нас мало? От библейской Рахили до Натали Герцен и Елены Денисьевой, и Любы Блок, и Галины Кузнецовой, и Веры Буниной, наверное, наберется не одна тысяча. Да и сам ты? Как ты кинулся ко мне, набросился на меня, когда я вернулась! Ох, темна вода в речке любви, загадочна. Но знаю твердо: в те три недели я была счастлива своей любовью к тебе, и даже страх потерять тебя только добавлял остроты моему счастью.

Четвертый раз – уже здесь, в Америке. Помнишь, американская пара зазвала нас на концерт под открытым небом? Где все начиналось с пикника на траве, под заходящим солнцем. И люди все кругом были такие нарядные, праздничные, приветливые. Мне почему-то нравилось, что вино мы пили не из стеклянных, а из прозрачных пластмассовых бокалов. Стекло у меня всегда связывается с «разбиться», «порезаться». Всегда напрягалась, когда Марик в детстве брал стакан в руки, подсовывала фаянсовую кружку. И после пикника еще осталось время прогуляться под кустами сирени, а потом пройти через цветник, настоящий маленький ботанический сад, под гигантский желтый тент (так что получалось не совсем под открытым небом), и, когда все расселись, стал доноситься далекий шум поезда, и где-то высоко-высоко пролетал самолет, но потом вступил оркестр, другие звуки исчезли, и Телеман провел смычком по самому сердцу, все стало похоже на ожившую сказку, а ты был опять моим витязем, моим принцем, который открыл мне ворота в сказочную

страну, похитил, спас из царства злого колдуна, умевшего на все отвечать только «нет, нет, нельзя, не положено, сгною!»

И наконец, пятый раз – он происходит сейчас. В последние четыре месяца мне довелось испытать – пережить – столько горечи и страха, узнать такую меру жестокости, к какой я была совсем не готова. Мне нельзя было поделиться с тобой, позвать на помощь. Но сейчас дело дошло до такого предельного рубежа, что я обязана сделать тягостное признание, предупредить тебя об опасности.

Твоя заблудница потерялась в темном-темном лесу, как выйти – не знает. Хватит ли у тебя сил, сердца, любви не оттолкнуть меня навсегда? Не знаю. Поэтому и спешу с признанием: перед лицом той низости и злобы, с которыми мне пришлось столкнуться, я вдруг осознала – оценила по-новому – восхитилась твоей ровной и достоверной добротой, как можно восхититься каким-нибудь героическим подвигом, актом самопожертвования, спасением ребенка из пожара. Мы привыкаем к лучшему в наших близких, перестаем ценить. Но сегодня, сейчас, каждая мысль о тебе, каждое воспоминание поднимает в душе волну неодолимой нежности. Милый мой, милый, что бы ни случилось – я знаю, что такой полной и прощально-бескорыстной любви у меня не было никогда в жизни и никогда больше не будет. Ей не нужно внешнее эйнштейновское оправдание – она беззаветно и ненасытно пьет внутреннее совершенство твоей доброты.

Прощай, любовь моя, и постарайся не возненавидеть

меня за ту боль, которую я тебе причиню.

## 15. АВАРИЯ

За день до намеченного возвращения Додика выползли из телефонной трубки далекие азербайджанские хрипы, пiski, крикание, которые мне с трудом удалось сложить в слова: «Задерживаюсь... несколько дней... не волнуйся... помогаю брату... сообщу...»

Казнь откладывалась – но облегчения я не испытала. Опухоль моего страха то ли выросла в размере, то ли раздвоилась. Я не знала, чего бояться больше – новой атаки Глеба или возвращения Додика. Да, я признаюсь ему, это решено, – но что дальше? Не кинется ли он душиить врага своими сильными пальцами волейболиста? Не предупредить ли сержанта Дорелика? Но о чем? О том, что теперь нужно будет охранять не только меня, но и Глеба?

Опять заскочила Элла Иосифовна. С изумлением смотрела на рабочих, устанавливавших сигнальные датчики тревоги на оконных стеклах и дверях.

– Что случилось? Зачем такие предосторожности? Может быть, и мне пора обзавестись? Год назад, в соседнем подъезде, у нас ограбили квартиру на первом этаже. Я, правда, живу на третьем, но настоящим ворам это не помеха. Говорят, они покупают машину с краном и могут забраться хоть на крышу. А сколько вам придется заплатить за все удовольствие?

Потом вдруг появился Марик. Попросил чаю, болтал о пу-

стях, починил расколовшуюся рамку. Наконец, сознался, что приехал по настоянию Кристины. Что у нее среди предков были северные шаманы, и она немного экстрасенс. Так вот, она своим шаманским чутьем уловила, что с тобой происходит что-то неладное. Да-да, по нескольким словам, которыми вы обменялись по телефону. Права она? Что-нибудь случилось? Могу я помочь?

Я была так растрогана, что чуть не разревелась. Заверила его, что все нормально, только на кафедре назревают какие-то перемены, и неизвестность действует мне на нервы. Так что шаманские таланты Кристины – не выдумка. Ты поосторожнее с ней, не вздумай изменять.

А потом грянуло страшное. И опять: не там и не тогда, когда его ждали.

Телефонный звонок подбросил меня, оторвал от подушки в три часа ночи. Я с трудом понимала, что мне говорят. Дорелику пришлось назвать себя несколько раз.

– Да, это я, сержант Дорелик. Простите, что так рано. Но у меня дурные новости. Ваш друг попал в тяжелую автомобильную аварию. Я звоню из больницы. Вы не могли бы приехать?

– Кто попал в аварию? Глеб?

– Нет, не он. Другой друг – мистер Пахомыч. Он сейчас пришел в сознание. Хочет видеть вас.

Со сна я даже не удивилась и не спросила, откуда он знает

Павла Пахомовича.

– Я сейчас... Я быстро... Только оденусь...

– Я уже выслал машину. Она будет у вашего дома через пять минут.

Больница высилась над окружающими домами, светилась огнями. Ее дымящая труба на фоне теплых апрельских звезд казалась случайным осколком зимы, который забыли выключить, погасить.

Дорелик встретил меня у входа в хирургическое отделение, схватил за обе руки, усадил на стул:

– Главные повреждения: сломана нога, помяты ребра и сильно разбита голова. Рентген показал, что там осколок кости проник в мозг. Ногу уложили в гипс, пока он был без сознания. Теперь предстоит операция на черепе. То, что он заговорил, – очень хороший знак.

– Но как это произошло? Кто был за рулем? У него ведь нет своей машины.

– Я все-все объясню потом. Пока – зайдите к нему, подбодрите. Врач сказал, что операция – через десять минут.

Павел Пахомович лежал на боку, глядя одним глазом на подвешенную капельницу. Другой был спрятан под слоем бинтов. Увидев меня, выпростал руку из-под салатной простыни, протянул мне навстречу. Я прижалась к ней щекой, наклонилась над ним.

– Как? Как это случилось? Кто вел машину?

– Про это потом. Сержант тебе все доложит, все объяснит. А мне хотелось тебе рассказать одну важную вещь. Вчера пришла в голову, а записать не успел. Как-то не укладывалась на бумагу. Если что, ты запишешь, не дашь пропасть?

Он говорил негромко, но внятно, только часто и торопливо сглатывал слюну.

– Придете в себя после операции и сами прекрасно запишете. Или когда выйдете из больницы.

– Не знаю, не знаю... Вот ты слушай. Знаешь, в банках есть специальные отделения, с железными ящиками под замком, в которых люди хранят драгоценности, важные документы, деньги? И открыть этот ящик можно только двумя ключами. Один хранится у владельца, другой – у банковского служащего.

– Нам с вами такие ящики вряд ли понадобятся. Но да – что-то я видела про это по телевизору.

– Так вот я понял, что в поисках любви каждый из нас блуждает со своим золотым ключиком. И, встретившись, мужчина и женщина часто начинают сравнивать и спорить, чей ключик больше, лучше, точнее. Они отталкивают друг друга от волшебной дверцы любви, осыпают обвинениями. Не понимают главного: чтобы овладеть сокровищем любви, чтобы отпереть заветную дверцу, нужно, чтобы два ключика – мужской и женский – совпали, оказались ни в коем случае не одинаковыми, но – парными. Все наши ухаживания, вздохи, долгие разговоры ни о чем – это бережное прикладыва-



ние двух ключиков друг к другу, пробы, примерка. Зарождающаяся любовь не говорит ничего другого кроме: «Кажется, у нее – у него – ключик, парный к моему». Тоска и страхи любви: «А вдруг она – он – не согласится и я останусь перед запертой дверью?» Горе утраты любимого: «С кем же я буду отпирать заветную дверь? Сокровище любви стало для меня недоступным!»

В палату вошли три медсестры в зеленых халатах. Улыбнулись приветливо, взялись переключать пациента на кровать-каталку.

– Ты поняла суть? Запишешь? Не забудешь? Все дело в том, что сокровище не друг в друге, а снаружи. Но заполучить его можно только вдвоем, если совпадут ключики.

Я некоторое время шла по коридору рядом с кроватью, держа его за руку.

– Притча чудесная... Но только вы сами сумеете записать ее так сжато, в несколько строк. Я непременно растяну, начну разжевывать... Когда будете поправляться, я приду с блокнотом, и вы мне продиктуете – хорошо?

Кровать исчезла за дверью операционной. Сержант Дорелик бережно и старомодно взял меня под локоть, повел прочь.

Потом мы сидели в круглосуточной забегаловке, грели пальцы на кружках с кофе.

– Он пришел ко мне неделю назад, – рассказывал Доре-

лик. – Представился, объяснил, что он ваш старинный друг. Хотел бы помочь в вашей беде. Вот, он уже собрал кое-какие материалы. Решил караулить у вашего дома, как настоящий детектив. Арендовал машину и затаился в ней на улице, с фотоаппаратом. Он же по профессии оператор, умеет обращаться со всякими дальнобойными объективами. Показал фотографию, на которой видно, как загонщик Глеб пытается заглянуть в окно, выходящее в боковой проезд. Другая – очень темная, но все же можно разобрать фигуру у вашего крыльца со свертком или пакетом в руках. Это в ту ночь, когда он подбросил дохлого енота. Еще есть видеопленка: загонщик выходит из автомобиля, идет, озираясь, по вашей улице.

– И все это он проделывал, не сказав мне ни слова, не предупредив!

– Он знал, что вы станете отговаривать его, может быть, даже запретите. Я сказал ему, что добычу его можно подшить к делу, но вообще-то – негусто. Он спросил: «А сколько могут дать осужденному загонщику?» Я сказал, что год. От силы – два. Чаще – условно. И тогда он изложил мне свой план.

Дорелик вдруг вспомнил про свой сэндвич, аккуратно развернул фольгу, убрал свисавшие лохмотья помидора. Вцепился пластмассовыми зубами в теплую булочку.

– Извините – не было времени поесть сегодня по-человечески. Так вот – его план. Он звонит загонщику и пред-

ставляется частным детективом, которого вы якобы наняли для слежки за ним. И он якобы набрал уже гору материала. Посылает пару фотографий как образцы. Но заявляет, что у вас с ним вышли споры из-за платы. И не захочет ли загонщик купить у него все эти видеоленты и фотографии, скажем, всего лишь за три тысячи долларов? Чтобы не пропал зря его труд. В доказательство того, что материал – первый сорт, описывает – с ваших слов – все его проделки, указывает даты. Уверяет, что почти все они засняты на пленку. И вот для него, для детектива Пахомыча, лучше хоть что-то получить за свои труды, чем даром отдавать полицейским.

– Глеба не удалось бы так легко провести. Даже если бы и поверил, первым делом спросил бы: «Где гарантия, что, получив с меня деньги, вы не понесете оставленные копии в полицию?»»

– Частные детективы дорожат своей репутацией, им невыгодно оглашать размолвки с клиентами. Кроме того, загонщики часто ведут себя непредсказуемо. Предвидеть их реакцию невозможно. И они очень, очень не любят, когда роли меняются и они сами вдруг становятся объектами слежки. Делаются осторожнее, пыл у них ослабевает. Вам это могло бы принести облегчение, дать необходимую передышку. Поэтому я подумал-подумал и согласился на план мистера Пахомыча.

– Не сообщая мне, не спросив моего разрешения?

– Видите ли, я не был уверен, что вы – в вашем нынеш-

нем состоянии – сумеете сохранить секрет. Ловушка состояла в том, что, если бы этот ваш Глеб согласился заплатить деньги, это было бы важным подтверждением – признанием – его вины. Раз платит шантажисту, значит, понимает, что действовал противозаконно.

Скусающая ночная кассирша-официантка подошла к нашему столику, убрала подносы, спросила, не надо ли нам чего-нибудь еще.

– А знаете – согрейте еще сэндвич с курятиной, – сказал Дорелик. – Не рассчитал. И кофе – погорячее... Да, так вот – наш план. Все зависело от того, согласится ли загонщик Глеб на встречу. И представьте себе – согласился. Уж не знаю, какими театральными приемами мистер Пахомыч украсил свою роль. Но сработало. Они договорились о встрече в укромном месте, на автомобильной стоянке у кинотеатра. После последнего сеанса там остается мало машин. Ночные уборщики, сторожа. Ну и наш фургончик, со всей аппаратурой, легко было пристроить заранее. У мистера Пахомыча был спрятанный микрофончик, так что все, что ему Глеб скажет, можно было бы использовать на суде. А мы бы тем временем снимали их встречу в красивых инфракрасных лучах.

Небо за окном начинало светлеть. Все как у Блока – «и на желтой заре – фонари». Длинный, похожий на белую щуку лимузин прокатил по пустынной улице. Неужели и владельцам белых лимузинов приходится иногда вставать в такую

рань? Или, наоборот, в это время они возвращаются после ночного загула?

– Все у нас было продумано основательно, кроме одного: не учли погоды. К полуночи пошел сильный дождь. Видимо, мистеру Пахомычу надоело ждать снаружи, и он сел обратно в свой арендованный автомобиль. И как раз в это время появилась машина загонщика, серый «додж». Он стал кружить по стоянке между припаркованными машинами. А Пахомыч почему-то не выходил. Из-за дождя нам было плохо видно. Но мы все равно начали снимать. Загонщик, похоже, досадовал, что не может найти, нервничал. Потом, видимо, решил уезжать, стал набирать скорость. И тут в лучах фар мелькнула фигура. Мы услышали громкий удар. И звон разбитого стекла. «Додж» вильнул и врезался в автомобиль Пахомыча. Нарочно или случайно – не могу сказать.

– Конечно нарочно! Но как вы могли согласиться на такой план?! Вы сами, сами учили меня, что так нельзя. Нельзя открыто провоцировать загонщика. Он легко впадает в бешенство и способен на любые безрассудства.

– В общем, мы могли разглядеть, что загонщик выскочил из своего «доджа» и склонился над лежащим. Попытался поднять, но не смог. Потом вернулся, сел за руль, дал задний ход. Тут уж нам ничего не оставалось делать, как врубить сирену и погнаться за ним. Он сразу остановился, дал арестовать себя. Заявил, что вовсе не собирался скрыться с места происшествия, а поехал на поиски телефона, чтобы вызвать

«скорую помощь». Прокурору будет нелегко доказать обратное.

– Боже мой, боже мой! Как вы могли подставить под удар невинного человека?! Старого, больного, с четырьмя байпасами в сердце.

– Не забывайте, что это он обратился ко мне с предложением помощи – не я к нему. И кроме того... Пока ничего нельзя сказать с уверенностью. Утром наш транспортный отдел начнет изучать место аварии, повреждения обеих машин, наши пленки... Но у меня создалось впечатление... Повторяю: дождь, темнота, мокрое стекло... Но все же мне показалось, что ваш Пахомыч намеренно вышел наперерез «доджу». Могло такое случиться?

– Какой вздор! Вы просто хотите снять с себя ответственность за случившееся. Операция провалилась, кого обвинить? Конечно, жертву!

Перед глазами у меня плыла забинтованная голова, печальный одинокий глаз, рука, с трудом приподнимающая простыню. Вернутся ли к ней когда-нибудь силы удержать – повернуть – ключик любви?

В кармане Дорелика негромко пробили куранты. Он извлек мобильный телефон, прижал к уху:

– Да... Когда?.. А наркоз?.. Ну, слава богу. – Повернулся ко мне, сияя: – Операция прошла успешно. Костяной осколок извлекли, дыру законопатили. Где-то к полудню должен прийти в себя. Так что давайте я вас пока отправлю домой в

патрульной машине. Нам обоим хорошо бы доспать остаток ночи. А потом нужно будет сесть и все-все спокойно обсудить. Как бы ни обернулось расследование и суд, надеюсь, ваш загонщик не скоро сможет доставить вам новые беспокойства. Теперь у меня есть основания держать его за решеткой: наезд автомобилем, нанесение увечий, попытка скрыться. Как только проснетесь, приезжайте ко мне в отделение. Устроим военный совет.

## 16. РЫЦАРЬ БЕЗОРУЖНЫЙ

Электрическая бритва с урчанием ползла по щеке Дорелика, сжирала ночную щетину. Он вгляделся последний раз в зеркальце, висевшее на стене кабинета, прыснул одеколоном, дал себе несколько нежных пощечин.

– Давайте рассмотрим оба варианта. – На стол лег чистый лист бумаги, жирная черта пересекла его сверху донизу. – Взвесим все «за» и «против». Первый вариант: мистера Пахомыча вылечат, он выздоравливает, выходит из больницы. Какие обвинения я должен предъявить загонщику Глебу? Случайный наезд или попытка убийства? Разница огромная. Но, как вы сами понимаете, для второго обвинения нужны мотивы. Нам придется выложить на стол всю историю преследований и запугивания, которому он вас подвергал. Все дело всплывет на поверхность, ваш муж, конечно, узнает. Готовы вы на это?

– Да, готова. Я уже решила во всем сознаться. Пусть будет что будет. Пока Глеб мучил одну меня, я еще могла терпеть. Но Павла Пахомовича я ему не прощу.

– Ну а что если экспертиза, просмотрев нашу пленку, исследовав место происшествия, докажет, что мистер Пахомыч сам неосторожно выбежал под колеса?

Адвокат загонщика использует это и станет доказывать, что наезд произошел не по вине водителя. Я еще не сказал



вам, что при аресте у загонщика Глеба были обнаружены три тысячи долларов. Если он решил покончить с мистером Пахомычем, зачем ему было являться на место встречи с наличными?

– А вот именно для этого: иметь доказательство, что он ничего худого не замышлял, хотел только выкупить компрометирующие его снимки и пленки.

– Возможно, возможно. Теперь рассмотрим второй вариант: Пахомыч – не допусти Господь – умирает. Тогда моя задача была бы намного проще. Даже за непреднамеренное убийство загонщика можно отправить в тюрьму на изрядный срок. Вы получили бы столь необходимую для вас передышку. Но и здесь остается одна серьезная опасность, о которой я хочу – считаю своим долгом! – вас предупредить.

– Что еще он может мне сделать? Нанять убийц, сидя за решеткой?

– Дело не столько даже в нем, сколько в вас. Как бы это объяснить поделикатнее... Мне кажется, что вообще-то вы женщина твердая, умеющая владеть собой и своими эмоциями. Но есть одна брешь, через которую на вас можно воздействовать довольно сильно. Называется: сострадание. Мне показалось, что это чувство загорается в вас очень легко. А загонщики умеют играть на нем – уж поверьте моему долгому опыту. Ведь он не оставит вас в покое, даже сидя в тюремной камере. Будет писать проникновенные письма, звонить. И вы постепенно станете смотреть на него не как на

преступника, а как на жертву злой судьбы. Обвинять себя в его несчастье... Проникаться все больше и больше чувством вины... Снова и снова хочу предупредить вас: нужно бороться с собой. Не поддаваться. Стокгольмский синдром – сильная вещь, но ведь на сегодняшний день – хотя бы на время – все заложники – вы и ваша семья – в безопасности.

– Я запомню ваш совет. Но пока... Мне нужно время, чтобы все обдумать...

– Хорошо. Сейчас главное решить, сохраняете ли вы обвинение в преследовании. Я, конечно, не смогу скрыть от прокурора тот факт, что оно имело место. Но без вашего подтверждения судья может отказаться приобщить его к делу. Хотел бы получить ваше решение не позже завтрашнего утра. Чтобы знать, с чем мне идти к судье.

Провожая меня к дверям кабинета, он крепко держал мой локоть, громко стучал подошвами, решительно мотал головой. Твердость! Уверенность в своей правоте! Никаких колебаний и состраданий!

Я только послушно кивала.

По дороге в больницу заскочила в цветочный магазин. Розы или тюльпаны? Нет, Павел Пахомыч – вспомнила! – очень любит ирисы. Говорил про них свое вечное «как Он это все умеет». Купить еще каких-нибудь деликатесов? Черной икры для выздоравливающих? Хотя после операции ему вряд ли позволят, будут, наверное, кормить только протертым пюре.

ре.

Что я ему скажу? Что благодарна за помощь и защиту? Но прошу, умоляю, требую – больше не рисковать собой? Впрочем, опасность ведь отступила, Глеб за решеткой. Ох, надолго ли? Американская Фемида любит грозно размахивать своим мечом – но сколько раз на поверку он оказывался картонным. Сколько раз выпускали на свободу даже заведомых убийц.

Нет, лучше я расскажу ему, на какой пикник мы поедем, когда его выпишут. Туда мы с ним еще не доезжали. Это такой секретный пляж на берегу реки. Каким-то чудом его еще не превратили в концентрационный парк с загоном для купающихся и спасательной охраной на вышках. По обоим берегам – горы, почти как на Кавказе. Иногда вдали, у самой воды, проползет игрушечный поезд, но река такая широкая, что его еле слышно. Мало кто приезжает туда на машинах, больше приплывают на моторках и яхтах. Их разноцветный праздничный хоровод окружает бухточку, пестрит флажками, купальниками, надувными матрасами. Песок мягкий и желтый, как в детстве. Через две недели станет совсем тепло, можно будет окунуться. И уж я постараюсь, наполню кулер гастрономическими сюрпризами, которые почему-то особенно вкусны в тени прибрежных ив и дубов.

При дневном свете больничные коридоры утратили свою зловещую пустынность. Визитеры бродили по ним взад-вперед, вслух прочитывая номера на дверях палат. Медсестра

за стойкой улыбнулась, похвалила мои ирисы, переспросила фамилию. Проверила свои списки и слегка нахмурилась.

– Да-да, его оперировали ночью... Хирург еще не ушел... Он хотел с вами поговорить... Сейчас я его вызову... А вы пока посидите там в углу, на диванчике.

Помню, я в этот момент подумала: «Почему на диванчике? Почему не у постели больного? Или он еще не пришел в себя? Все же операция на мозге, наверное, нужен глубокий наркоз...»

Вдруг какая-то тоска накатила на меня, какое-то черное предчувствие. Двое врачей рассматривали рентгеновский снимок грудной клетки на светящемся табло, тихо переговаривались. Наша прозрачность, наша хрупкость, уязвимость – лучше не знать этого. Не видеть, не помнить...

Хирург появился неожиданно, поспешно стер оживление с румяного молодого лица. Присел рядом со мной, назвал себя. Спросил, кем я прихожусь пациенту. Не дочь? Просто давнишняя знакомая? А близкие родственники у него есть? Только сыновья в России. А в Америке никого? Могли бы вы связаться с сыновьями? Сообщить им печальную новость?

Сердце у меня начало скользить вниз, вниз, набирая скорость, как лыжник на трамплине.

– Почему печальную? Нам позвонили ночью, сказали, что операция прошла успешно...

Хирург посмотрел на меня, на мои цветы.

– А-а, вам еще не сообщили. Все перекладывают на нас.

Взял за руку, сочувственно покачал головой:

– Косточку из мозга мы извлекли благополучно – это верно. Ваш друг предупредил меня, что принимает лекарство, разжижающее кровь. Сердечникам оно необходимо после операции, чтобы не образовались новые тромбы. Так что мы были готовы к обильному кровотечению и приняли меры. Использовали...

Он стал сыпать названиями препаратов и медицинскими терминами, которых я не знала, не понимала. Но простой и страшный смысл случившегося дошел до меня как-то помимо слов – через его торопливый тон, через похлопывание пальцев по моей ладони, через черно-серые джунгли рентгеновских снимков, которые он подносил к моим глазам.

– Да, это вот здесь – видите? Треснувшее ребро поранило селезенку. Кровь начала вытекать в грудную полость. Очень жидкая, не сворачивалась. Мы спасали голову, это было первоочередным, не могли отвлечься ни на что другое. Но даже если бы заметили, сделать было ничего нельзя. Проводить полостную операцию при таком состоянии крови невозможно.

– Когда все это случилось? – вдруг спросила я.

– Что именно? – не понял он.

– Ну, это... Конец...

Слово «смерть» не шло у меня с языка.

– Часов в восемь утра.

«Я еще спала, – подумала я. – Проспала моего Павла Па-

ХОМЫЧА».

– Он умер, не приходя в сознание. Под наркозом, ничего не чувствовал. Сердце стало вдруг замедляться, дыхание слабеть – и все. Только после повторного рентгена мы поняли, что произошло. Вам нехорошо? Хотите воды?

– Нет, ничего. Сейчас пройдет.

– Так вы сообщите сыновьям? Может быть, они захотят прилететь на похороны. Или хотя бы принять участие в расходах. Места на кладбище так вздорожали. Оставьте свой телефон администратору, он сообщит вам, что нужно делать. И примите мои соболезнования. Всегда тяжело терять пациента. В этом месяце у меня – первый случай. Но поверьте, сделать было ничего нельзя.

– Можно мне взглянуть на него?

– Лучше не надо. Пусть похоронщики сначала сделают свое дело. Подрумянят печальную действительность.

В метро я вдруг поняла, что думаю о себе в третьем лице. Как Марик в детстве – все переделываю в сказку. Только очень печальную.

«Эта женщина всегда любила своего мужа. Но кроме мужа она любила еще двоих: старого и молодого. И молодой хотел заполучить эту женщину для себя одного. Он грозил покончить со всяким, кто встанет на его пути. Женщина очень боялась за мужа, хотела сознаться ему, предупредить об опасности. А тут молодой возлюбленный взял и непредсказуемо

убил старого. Его посадили в тюрьму. Было у женщины двое возлюбленных, и вдруг не стало ни одного. Зато муж остался невредим. И ей нужно было решить, как жить дальше. Но все, что было дальше, сделалось вдруг сказочно непредсказуемым. И не было никакого веселья на ее горизонте».

Дом Павла Пахомыча стоял спиной к каменистому склону, поросшему деревьями-скалолазами. Первые листочки на свесившихся ветках осторожно пробовали горячее железо крыши.

Я поднялась по лестнице, открыла дверь своим ключом. Только тут заметила цветы в руках, стала искать вазочку. Сколько недель я не была здесь? Накопившаяся пыль смягчала очертания предметов, сглаживала цвета. Я машинально взяла тряпку, стала вытирать. Потом спохватилась – зачем?

Присела к столу.

Знакомые вещи вдруг приобрели какой-то важный вид. Теперь это было не просто старье, купленное на дворовых распродажах, подобранное на улицах. Это было *имущество покойного*. Он жил, жил, а теперь умер. Умер мой одинокий мудрец, мой просветленный отшельник. Умер за меня, из-за меня. Но почему я не чувствую себя виноватой? Потому что любила? Дала ему умереть влюбленным? Любила, любила, а потом погубила?

Пишущая машинка поблескивала истертыми клавишами. Рядом с ней лежала стопка листов – видимо, последние вињетки. И папка с надписью: «Разрешено к печати». Сколько

там? На взгляд, листов сто— сто двадцать. Наверное, я должна взять это на себя. Больше некому. Пусть будет память сыновьям и внукам – тоненькая книжка премудрости.

Но он же просил меня что-то дописать? Да, последнюю сказку-притчу. Про золотые ключики, которыми мужчина и женщина открывают ящик с сокровищем любви. Сумею ли я? Ведь меня сразу потянет переделать по-своему. Ах, дорогой, любимый Павел Пахомыч! Может быть, ваш ключик и правда был из чистого золота. А у остальных, у меня – чаще всего – из прозрачной золотой карамели. Которую мы жадно начинаем сосать, как петушка на палочке. И даем пососать друг другу. Во рту сладко-сладко, а бородачка ключа размывается. И перестает открывать волшебный ящик.

Я начала читать последние листки.

– Душа моя скорбит смертельно, – сказал Христос апостолам. – Побудьте здесь и бодрствуйте со мною.

– Нет, – сказали апостолы. – Ты просто болен. Болезнь называется депрессия. Мы достанем тебе прозак.

И пошли спать.

Мы не владеем поместьями, замками, заводами. Зато мы владеем СЛОВОМ. Так как эту собственность нельзя отнять-конфисковать, новым революционерам не останется ничего другого, как ставить нас к стенке.



Изобретательно и талантливо не любил каждого встречного. Искал и находил для каждого свою особую неповторимую нелюбовь.

Художники должны были тысячу лет рисовать страдания святых, прежде чем они сами достигли статуса святости. Сегодня отрезанное ухо Ван Гога окружено таким же ореолом, как стигматы Франциска Ассизского. И все же интересно: что именно хотел объяснить своим ухом Ван Гог Гогену, для чего не нашлось слов в богатом французском языке?

Они не раздружились – просто исчерпали непредсказуемость друг друга.

К браку мы предъявляем такие же требования, как к дому: хотим, чтобы он был прочным, теплым, надежным, уютным. И лишь одно свойство хорошего дома кажется нам недопустимым в браке: наличие двери, через которую можно выйти погулять и потом вернуться.

Наука способна изучать только повторяющиеся явления. Все неповторимое остается уделом искусства и веры.

Все любят зазывать в гости друзей. А как насчет идеи собрать в гости врагов? И дать им высказать тебе в лицо все-все, а потом передаться между собой из-за

разницы обвинений в твой адрес?

Мы будем защищать права человека независимо от того, хочет он этого или нет. Мы жизни не пожалеем на это благородное дело! Своей жизни! А уж его жизни – тем более. Пусть хотя бы умрет в ореоле своих прав!

Любить – самое опасное дело на свете. Именно поэтому миллионы людей довольствуются любой подменой: жалеть, помогать, защищать, поклоняться, опекать, завоевывать, поучать.

Женская память ничуть не слабее мужской. Но она так забита обидами на мужчин, что на исторические, математические или географические сведения уже не остается места. Женщина-историк – большая редкость, а женщина-философ, кажется, еще не рождалась.

Я смотрю на собственную ладонь, на петляние кровеносных сосудов, на подрагивание сухожилий, на движение суставов и думаю: «Ради какой же великой задачи было создано это хитроумнейшее устройство руки и всего остального тела? Разве могут у меня найтись силы, чтобы справиться с подобной задачей?»

Чем бескорыстнее действуют защитники добра, тем они опаснее. Их невозможно распознать как источник зла и страданий. Они мучают людей в угоду своим идеалам, воображая, что бескорыстно спасают их.

Подвенечная клятва «пока смерть не разлучит нас» возникла в те времена, когда средняя продолжительность жизни человека была 35 лет. Но продлите ее до семидесяти – и вы получите ту бесконечную череду разводов и даже внутрисемейных убийств, которую мы видим сегодня.

Он мечтал как-то увернуться от отчаяния и даже сильно преуспел в этом. Но окружающие не могли с этим смириться и поднесли ему отчаяние на блюдечке укоризненной любви.

Охотничий сокол находится в полной власти своего хозяина. Он прикован цепочкой к его перчатке, на голове у него – колпачок, глаза всматриваются в мрак и пустоту. Но изредка наступает момент, когда колпачок снимают, цепочку отстегивают, и в свободном и яростном полете сокол устремляется за пернатой добычей.

Точно так же и мы проводим большую часть жизни во мраке, в полной власти Хозяина, пославшего нас в этот мир. И точно так же бывают редкие моменты, когда мы нужны нашему Хозяину свободными. Мы взлетаем, мы яростно машем крыльями, мы радостно устремляемся в небесную высоту. Но где же наша добыча? Не эта ли вспышка счастья, которая сопровождает каждое наше свободное свершение?

- Помоги, Господи! – вопим мы.
- Помоги Господу! – слышим в ответ.

Из-под последнего листка высунулся угол конверта. Вместо адреса одно слово: «Светлане».

Золотая моя, не сердись на меня. Раз ты читаешь это письмо, значит, все произошло, как я задумал. После разговоров с сержантом я понял, что не будет тебе избавления от этой напасти. Они умеют охранять нас только от тех преступников, которым можно чем-то пригрозить, которым дорога жизнь. А против отчаянных – отчаявшихся – одержимых – бессильны. Чем таких можно запугать? Ничем.

А я пожил свое, и пожил неплохо. И уж последние семнадцать лет – сплошной праздник, твоя негаснущая свечка. Все как мечтал поэт: «И может быть, на мой закат печальный...» Да, блеснула любовь – и какая! Но после операции почувствовал, что пора. Впереди только больницы, иглы, капельницы, инвалидный дом, старческий дом. Все это не для меня.

В правом верхнем ящике – страховка на твое имя. Не очень много, но хватит на похороны, на издание книжки и тебе на каникулы. Обязательно поезжай куда-нибудь одна – тебе так нужно передохнуть.

Может быть, навестить отца с матерью? Они были бы счастливы.

Прощай, счастье мое, береги себя, свой ключик, свою свечку, не забывай любившего тебя, любящего П. П.

«Ну вот – вот и прояснилось, – мелькнуло у меня. – Значит, Глеб не виноват. Павел Пахомыч вышел на бой с ним и победил в поединке, как настоящий рыцарь. Рыцарь без доспехов, рыцарь без меча».

Боль в груди стала стихать, голова прояснялась. Да, надо жить дальше. И продолжать свое опасное дело – любить. Любить мужа, сына, его шведку, их будущих детей.

Завтра с утра позвоню Дорелику и скажу, что снимаю обвинения против Глеба. Почему? Потому что сама во всем виновата? Или, по крайней мере, не меньше его? Нет, это не слабость, не брешь сострадания, подмеченная опытным полицейским взором. Просто – так надо.

Письмо Додику? Нет, не хочу. Порву, сожгу, проглочу с манной кашей. Иначе моя жизнь будет разбита и смерть П. П. окажется напрасной. Ведь сама учила мужа, что есть вещи, которые нельзя выпускать на свет из подвала памяти, из потемок души. Поеду встречать его в аэропорт и буду приветливой, нежной, спокойной. У меня сейчас в сердце столько любви к нему – он не сможет этого не почувствовать. А сигнализация на дверях и окнах? Да, дорогой, так вдруг стало одиноко и страшно без тебя, что не выдержала. Прости за внезапный расход, мы как-нибудь сэкономим, заделаем дыру.

Всё. Вставай, живи. Нужно ехать домой, все прибрать к возвращению любимого. Мы прожили вместе двадцать пять лет и не разлюбили друг друга. Неужели не проживем еще

столько же?

«Она убрала в сумку посмертную папку, вложила в нее последние листочки. Туда же – страховой полис. Оглядела комнатенку, в которой столько раз ловила, урывала свое неправильное, незаконное счастье. Пошла к дверям».

Нет, еще одно. Это можно сделать прямо сейчас. Нет смысла откладывать. Я подошла к телефону, набрала номер.

– Галина?.. Здравствуйте. Да, это Светлана... Ради бога, не бросайте трубку... Вы уже всё знаете?.. И конечно, считаете меня виноватой... Я не стану оправдываться... Я только очень хочу как-то помочь вам... Не один раз, а вообще – помогать... Я могу оставаться с детьми... Хоть сегодня... Вам ведь придется искать адвоката, ехать в полицейский участок... Наверное, они дадут свидание... Если надо, я могу поехать с вами в продовольственный, за продуктами... Ведь ваш автомобиль разбит, неизвестно, когда его вернут вам, когда починят... И дальше, в будущем... Если кто из детей заболеет, пожалуйста, позвоните... Я могу посоветовать хороших врачей, отвезти-привезти... А хотите, я буду заниматься с ними русским языком?.. Мало кому из эмигрантов удалось сохранить родной язык у детей, но у меня большой опыт, своя метода... И главное: я теперь точно знаю, что Глеб не виноват... Это был просто несчастный случай, непреднамеренный наезд... Готова подтвердить на суде... Хороший адвокат может добиться даже оправдания... Или хотя бы условного срока... Он вернется к вам, к детям, вернется на

службу... Вам случалось когда-нибудь заблудиться в лесу?.. Я однажды заблудилась, все радовались, когда я нашлась, но прозвали в семье заблудница... Это может случиться с каждым... Все мы на этом свете немножко «заблудники»... И тут одно спасение: чтобы кто-то умел ждать и обрадовался бы, когда вернемся... Одно спасение...